

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

М ОЛОДОЙ
Л ЕНИНГРАД



©

**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ
МОЛОДЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ**

МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД
'77

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

1977

Главный редактор

П. Капица

Редакционная коллегия:

С. Давыдов

Арк. Минчковский

Н. Пантелеймонов (составитель)

Ю. Ростовцев

А. Шевелев

© Издательство «Советский писатель», 1977 г.

Николай Шумаков

ЖАРКОЕ ЛЕТО

ПОВЕСТЬ

1

С высокого берега хорошо был виден мост, тремя освещенными пролетами висевший в темноте. Синими дрожащими отблесками вспыхивала электросварка, сыпались огненные брызги и гасли, не долетая до воды. Изредка доносились металлические звуки, ослабленные расстоянием.

Игорь Голубев сидел возле чахлого деревца, смотрел на мост, на протоки реки, которые смутно угадывались в неверном свете звезд.

Днем было торжественное открытие строительного сезона. На площадке соседнего лагеря построились четыре отряда. Были приветствия, речи, студентов снимали фотокорреспонденты и телеоператоры. Потом — купание в реке, соревнования и просто ничегонеделание. Впервые за десять дней Игорь отдохнул и успокоился. А то от зари до зари бегодня — достань и привези доски, гвозди, десятки других мелочей, подскажи то, разберись в этом. Сам-то Игорь не больше других понимает, однако должность обязывала, и он хорошо ли, плохо, но справился. Теперь будет легче — впереди только работа и никаких бытовых неурядиц.

Внизу, на лужку, разом вспыхнуло несколько костров. Погасли звезды, не видны стали огни моста, но красным пламенем высветился берег, луг и ближняя протока. Вдруг обнаружилось, что внизу и на берегу скопилась масса народу. Игорю даже стало чуть жутковато: такое движение началось, будто костры потревожили гигантский муравейник. Студенты роились вокруг нескольких точек, где раздавали угощение.

Голубев поднялся: пора было присоединиться к коллективу, неудобно долго быть на отшибе. Он пошел берегом. Когда он увидел веселые лица, освещенные пляшущими бликами, ему самому стало радостно и весело. Вдруг сладко кольнуло в сердце — он еще не разглядел, не узнал, но понял, что перед ним Надя Ивина. Невысокая, в обычном зеленом стройотрядовском костюме, она резко выделялась из всех. С радостным волнением он подошел к ней.

— Добрый вечер, Надя Ивина! — сказал, улыбаясь.

Ему нравилось произносить ее нежную, ласковую фамилию. Надя подняла голову.

— А, это ты, Игорь, — сказала. — Здесь красиво, правда?

Голубеву показалось, что у нее по-особому заблестели глаза, а скорее всего это отражалось пламя костров. Вряд ли Надя обращает на него больше внимания, чем на других. Он и разговаривал с ней всего несколько раз — все некогда, а в институте не были знакомы, о чем Игорь теперь очень сожалел. Столько времени потеряно напрасно!

— Принести тебе кофе и конфет?

— Не стоит пока, народу много. Подождем.

Игорь, улыбаясь, поглядывал на ее круглое лицо. Ему нравилась Надина привычка чуть приоткрывать рот, будто она смотрела на все с детским вниманием, стараясь запомнить на долго.

— Ты похожа на маленького медвежонка.

— Да? Это хорошо или плохо?

— Конечно, хорошо. Пойдем сядем, — предложил Голубев, опасаясь, что появится кто-нибудь из их отряда и ему не удастся побыть с Надей наедине.

Они расположились на траве. Внизу по-прежнему сновали ребята. Костры ярко рдели раскаленными бревнами, жар чувствовался даже наверху.

Игорь старательно занимал Надю, шутил, острил, и, наверное, удачно: Надя смеялась.

— А, вот вы где уединились! — Игорь с неудовольствием услышал голос командира отряда Володи Алешина. — Как вам нравится это зрелище?

— Немного не по себе, — сказал Игорь.

— Соскучились ребята по сладкому, — объяснил Володя. — Ну, ладно, не буду вам мешать.

Надя попросила:

— Посиди, Володя, с нами, расскажи что-нибудь.

Игоря задела ее слова: неужели ей все равно — он ее развлекает или кто-нибудь другой?

Володя присел и начал рассказывать, как ехали в «газике» зимней степью и как просидели двое суток в сугробах.

Тем временем пламя костров угасло, на малиновые угли упали недогоревшие черные остатки бревен. Стало сумрачно и невесело.

— Пойдем возьмем свою долю угощения, — предложил Игорь, когда Володя окончил повествование. — А ты, Надя, посиди, пожалуйста, здесь. Я быстро.

Минут через десять вернулся с пакетами и двумя чашками кофе.

— Какой ты милый, Игорь! — проворковала Надя.

Довольный пустяковой похвалой, Голубев промолчал.

Со стороны лагеря послышались тягучие стонущие звуки. Чудилось, будто беспомощные механические существа жалуются на свою подневольную судьбу. Это небольшой оркестрик настраивал инструменты.

— Скоро танцы начнутся, — мечтательно сказала Надя.

— Знаешь, Надя, пойдем лучше побродим. Какой интерес толкаться в толпе? Смотри, какая хорошая ночь.

— Нет, я хочу танцевать. Может быть, потом?

— А как я тебя найду?

— Ну, Игорь, это же просто! Я никуда не собираюсь уходить.

Звуки из динамиков били по ушам. Человек сто пятьдесят усиленно топтали землю, будто давили ненавистных насекомых. Над площадкой висела густая пыль. Сперва Игорь не мог разглядеть отдельных людей — перед ним была сплошная танцующая масса. Присмотревшись, стал узнавать своих ребят, различать лица, которые выражали беспредельное упоение. Иногда взвизывался пронзительный вопль.

Надя, как только пришли в лагерь, исчезла, растворилась в толпе, сказав на прощание: «Я к девочкам. Если нужно будет, найдешь». Тщетно Игорь пытался ее высмотреть, хорошо еще хоть Володю Алешина да Колю Разина нашел. Они стояли в стороне, наблюдая за танцующими, переглядывались, посмеивались. Рядом с Колей Разиным Володя казался подростком.

— Что не танцуете? — спросил Игорь.

— Если я топну ногой, земля провалится, — ответил Разин, распрямляясь. — Во мне центнер весу.

Володя улыбнулся:

— Мы в старички записались. Коля человек семейный, а мне возраст не позволяет. Смотрите, смотрите, что Паша делает!

Длинный худой парень, изгибаясь телом и работая ногами, в исступлении вытянул руки к небу и вопил, прорезая воинственным кличем музыку.

— Это я не люблю, — задумчиво сказал Коля. — Я человек солидный, отсталый... Ты мне лучше вот что, мастер, скажи — заработаем мы здесь что-нибудь или нет?

Игорь поморщился: не время и не место для прозаического разговора о деньгах.

— Давай, Коля, потом как-нибудь...

Разин возмутился:

— Я не скрываю, что приехал на БАМ денег заработать, и ничего в этом не вижу плохого. Я руками зарабатываю, а не ворую! Почему я не должен знать?

Игорь неохотно ответил:

— Трудно сказать, ведь кроме нас еще три отряда. А мы вроде незваных гостей. Правда, бетонирование кое-чего стоит.

— Да, бетонирование выгодная работа. Если хорошо пойдет, должны деньги получить...

Чтобы отвлечь Разина от меркантильных мыслей, Игорь сказал:

— А я знаю твою жену. Хочешь, скажу, в каком она была платье, когда ты улетал?

— Откуда ты знаешь? — поразился Коля. — Не верю. А ну-ка, скажи, скажи, какое на ней платье было?

— Пестрое такое, зеленого больше.

— Верно! Как же ты угадал?

— Да очень просто! — засмеялся Игорь. — Я видел, как она тебя провожала.

Коля разочарованно протянул «а-а», как будто ожидал чего-то необыкновенного. Ссутулился, шумно вздохнул:

— Да-а, она всю ночь плакала — не уезжай да не уезжай. А как тут не уедешь, если деньги нужны. Раз женился, надо, чтобы все было: холодильник, телевизор, мебель, одежда.

Игорь еще в аэропорту хорошо запомнил Колю, и потому, что тот был на голову выше остальных, и потому, что трогательно прощался с женой. Она прильнула к нему, гладила ру-

ками лицо. А Коля стоял понурившись и, кроме нее, никого вокруг не замечал.

— Не понимаю, зачем из-за всего этого мучиться? — сказал Игорь. — Есть самое необходимое, и достаточно. Разве жена не соображает, что ты студент, что тебе неоткуда денег взять?

— Я просто не могу, чтобы она себе в чем-нибудь отказывала. Мне же неудобно. Ирина зарплату получает, а я бездельничаю. Правда, зиму на кондитерской фабрике работал... Ну ладно, постою еще с вами и пойду письмо Ирине писать.

— Уже десятое? — подмигнул Володя.

Разин серьезно ответил:

— Нет, шестое. Мы договорились через день писать.

— Ничего себе! О чем же?

— Если любишь, если жена самый близкий человек, то есть о чем.

Игорю захотелось, чтобы его тоже кто-то ждал, тоскуя и считая дни. Он посмотрел на танцующих, разыскивая Надю. На несколько секунд она показалась в толпе, потом ее заслонили дергающиеся спины.

— Теряешься, Игорь! — шутливо сказал Володя.

Игорь смутился и не нашелся что ответить, но решил, как только заиграют танго, разыскать Надю и пригласить танцевать. Ждать пришлось долго. Игорь определил, где примерно должна находиться Надя, и, как только динамики перестали буйствовать и выдали томную музыку, бросился туда, расталкивая ребят и наступая на ноги.

Надя с готовностью положила ему руки на плечи. Игорь говорил какой-то вздор, чтобы только не молчать. Вдруг Надя сказала:

— А у тебя руки дрожат.

— Рядом с тобой я не могу быть спокойным, — вымучил Игорь банальную фразу, взволновался так, что губы задергались, и надолго замолчал, терзаясь беспомощностью.

Наконец выпалил:

— А все-таки, Надя, пойдём побродим. Не надоело дышать пылью?

С отчаянием подумал: «Не согласится — никогда и близко не подойду».

— Хорошо, — согласилась Надя после недолгого раздумья. — Жди меня через полчаса на дороге возле нашего лагерь.

— Надя! Зачем это? Пойдем вместе.

— Нет, так нельзя, неудобно.

— Ты боишься кого-нибудь? — ревниво спросил Игорь.

— Кого мне бояться? Если будешь допытываться, я вообще не пойду.

— Я буду ждать, — обиженно сказал Игорь и больше не произнес ни слова.

Он отправился в назначенное место, сел возле дороги на поваленную березку, жалея, что так униженно выпросил свидание. «Что за тайны? Как будто меня стесняется. Или у нее уже с кем-нибудь... роман? Или просто капризничает? Встану сейчас и уйду! Пусть тогда... Нет, нехорошо, невежливо. Она появится, а я скажу, что меня на мост вызывают. Вот пусть тогда пожалеет. Да ведь я, наверное, ей совсем безразличен, если так сказала! А вдруг наоборот — стесняется, потому что... неравнодушна?»

Иногда по дороге, шепчась, двигались парочки, слышался приглушенный смех. Видя одинокую фигуру, Игорь до рези в глазах всматривался в темноту, но всякий раз это была не Надя. Уже прошло минут сорок.

Набегал легкий ветерок, невнятно шумел листьями берез. Казалось, будто дышит небо, шелестят звезды. Взорвись сейчас галактика, погибни десяток высокоразвитых цивилизаций — все эти катастрофы не так бы задели Игоря, как Надин обман. Уже не на что было надеяться. Он встал, придумывая для нее оправдания. Словно издеваясь, застонало танго. «Вот и все, — бессмысленно шептал Игорь. — Вот и все...»

Но уйти у него не хватало решимости. «Мало ли что могло случиться. Ногу подвернула или еще что... Подожду еще пятнадцать минут, и тогда все...»

По дороге бесшумно двигалась маленькая фигурка. Игорь заторопился навстречу, не сомневаясь, что это Надя.

— Извини, я немного задержалась. Куда пойдешь?

— Да все равно. Пойдем по дороге, — искоса поглядывая на нее, сказал Игорь.

Скрылись за деревьями электрические огни, потом и отсветы их растворились в темноте. Постепенно затихли механические звуки цивилизованной жизни. На черном небе влажно блестя крупные звезды, ищем расстилался Млечный Путь. В траве голубовато мерцали светлячки.

— Смотри, сколько их! — восхитилась Надя. — Поймай мне одного.

Игорь подцепил одного листком — он погас. Еще одного — то же самое. Все же изловчился, положил Наде на ладошку. И наклонился, касаясь щекой ее волос.

— А все-таки они противные, — сказала Надя и выбросила червячка на обочину. — Красивые только издалека.

Игорь почувствовал легкое раздражение оттого, что она так беззаботно обошлась с его добычей, и немножко стало жаль живое существо, погибшее из-за мимолетной прихоти.

Какое-то время молча шли между двумя колеями. Пространство было узкое, и Игорь сошел в пыльную колею, чтобы Наде было удобно.

— А здесь совсем настоящая тайга! — сказала Надя. — Даже лиственницы есть.

— Какая же это тайга! — снисходительно заметил Игорь. — Кругом дороги, поселок рядом. Вот на том берегу совсем другое дело. Наверное, лучше сохранилась.

— Уже больше десяти дней здесь, а я так ничего и не видела. Только песок да бетон. Ну и немного от лагеря отходила.

Игорь воодушевился:

— Знаешь, Надя, давай в следующий выходной съездим на тот берег, посмотрим. Туда катер иногда ходит.

— Правда? А ты не забудешь?

— Ну как можно о тебе забыть! — воскликнул Игорь и покосился на Надю.

Комплимент она приняла равнодушно или просто не заметила.

— Я нигде не была, — с сожалением сказала Надя. — Только в Ленинградской области с отрядом и в Крым с мамой ездила.

— А я кое-где побывал! — похвастался Игорь. — Отец у меня военный, так что все время с места на место переезжали.

— Завидую тебе. Мне очень хочется мир посмотреть. Расскажи, где ты был.

Игорь, сперва неохотно, потом увлекшись, начал рассказывать, как в детстве участвовал в походе по Южному Уралу, как поднимались на вершину горы Таганай, где дул холодный пронизывающий ветер и где сплошь расстилался сизый ковер низкорослой голубики. Вспомнил озеро Тургояк, вода которого настолько прозрачна, что на пятиметровой глубине просматривается каждая песчинка.

— Как интересно! — изредка восклицала Надя, и польщенный вниманием Игорь вспоминал все новые и новые подробности, пока не рассудил, что уж слишком разговорился.

— Заболтался я, — сказал виновато. — Расскажи лучше о себе.

— Что рассказывать? Окончила школу, поступила в институт, вот и все. В отряд вот едва упросила взять. Девочек вообще не брали, а со второго курса и подавно. А мне так хотелось БАМ посмотреть! Я бы даже поварихой согласилась. Хорошо, что грамота за прошлое лето была и в комитете комсомола меня знали. . . Как тебе наши ребята нравятся?

— Хорошие ребята, работать могут.

— Мне Илья Брегов не нравится. Грубый такой, мрачный, слова по-хорошему не скажет. Я его даже боюсь.

— Да, парень он мрачноватый, — согласился Игорь. — То ли в самом деле с ним что-то случилось, то ли напустил на себя. А вообще-то оригинальный человек. После первого курса зачем-то в армию ушел. . .

И они принялись вспоминать ребят из своего отряда. Игорю все равно было, о чем говорит Надя. Все ее слова представлялись интересными и значительными.

— У меня такое чувство, как будто я с тобой давным-давно знаком, — вырвалось у Игоря. — И кажется, все, что скажу тебе, ты поймешь!

— Но мы совсем не знаем друг друга, — возразила Надя.

Было прохладно. Заметно переместились созвездия. Впереди, в низине, смутно темнел лесок, как ватой укутанный поднимающимся густым туманом.

— Пора возвращаться, — тихо сказала Надя. — Я-то во вторую смену, а тебе тяжело будет работать.

Растроганный Игорь осторожно коснулся ее плеча.

Назад они дошли быстро. Неподалеку от своей палатки Надя остановилась.

— Ты доволен сегодняшним вечером?

— Конечно, — приглушенным голосом сказал Игорь.

— Я тоже. — Она подала теплую руку. — Теперь до свидания. Не надо меня провожать.

Надя неслышными шагами пошла к палатке. Игорь постоял, глядя ей вслед, но не заметил даже, как она откинула входной полог. Глубоко вздохнув, направился в штабной вагончик, где жил вместе с командиром, комиссаром и завхозом.

Все уже спали. Игорь осторожно разделся, забрался на

верхние нары. Не спалось. Взбудораженный, он перебирал в памяти прошедший день, который казался очень длинным, вспоминал Надю, ее лицо, улыбку, слова. Хотелось сделать что-то особенное, думать о чем-то значительном.

Решив, что теперь долго не уснет, Игорь включил приделанную у изголовья лампочку, достал из-под подушки толстую книгу. В Ленинграде выпросил у приятеля том Платона. Западала ему в голову мысль, что все человеческие истины давным-давно открыты, а мы или не обращаем на них внимания, считая слишком простыми для нашего сложного времени, или же основательно забыли. Игорю казалось, что чем древнее истина, тем она свежее и глубже.

Игорь открыл книгу, стал читать, но то и дело отвлекался, вспоминая Надю. Скорее бы следующее воскресенье, чтобы можно было съездить в тайгу! Он воображал, как они сойдут с катера, поднимутся на сопку, какое будет у нее выражение лица. Себя видел в мечтах ловким, остроумным, находчивым. «Надя, Надя, думаешь ли ты сейчас обо мне?»

2

Игорь поднялся на железнодорожное полотно и, присев на горячие рельсы, закурил. Солнце жгло немилосердно, удушливо пахло креозотом, над шпалами струился перегретый воздух. Внизу рыбьей чешуей блестела протока, влево от нее за деревьями проглядывало крохотное озерко. Искупаться бы сейчас. Да неудобно: ребята по двенадцать часов вкалывают в этом пекле и не жалуются. Им-то и на десять минут нельзя оторваться от работы. Особенно бетонщикам. Сверху видно было, как по откосу бегали с лопатами ребята, обнаженные по пояс. Нарушение инструкции, но разве повернется язык приказать надеть рубахи? Лучше уж выговор получить.

Игорь посидел еще немного, прикидывая, что должен сделать до вечера, и направился в самый конец откоса, где работала бригада Ильи Брегова, которую окрестили бригадой ломовиков. Ребята срезали на откосе песок до определенного уровня, набрасывали гравий, таскали и укладывали плиты. Грубая, черная работа, но совершенно необходимая.

— Здравствуйте, ударники! — нарочито бодро крикнул Игорь.

Кто ответил, не отрываясь от дела, кто промолчал. Чувствуя себя очень неловко, Игорь спросил:

— Как дела, Илья?

Брегов приостановился, опершись на лопату, мрачно посмотрел на Игоря и недовольно ответил:

— Вот будет перекур, тогда и поговорим о деле. — Взглянул на часы. — Через час пять минут отдых.

И начал бросать песок, не обращая внимания на Игоря.

Не позволяя себе обидеться, Голубев как ни в чем не бывало сказал:

— Поработаю я с вами. Что у вас тут самое трудное?

— Саша Панин, иди побросай песочек, пусть мастер таскает плиты. Ему полезно размяться.

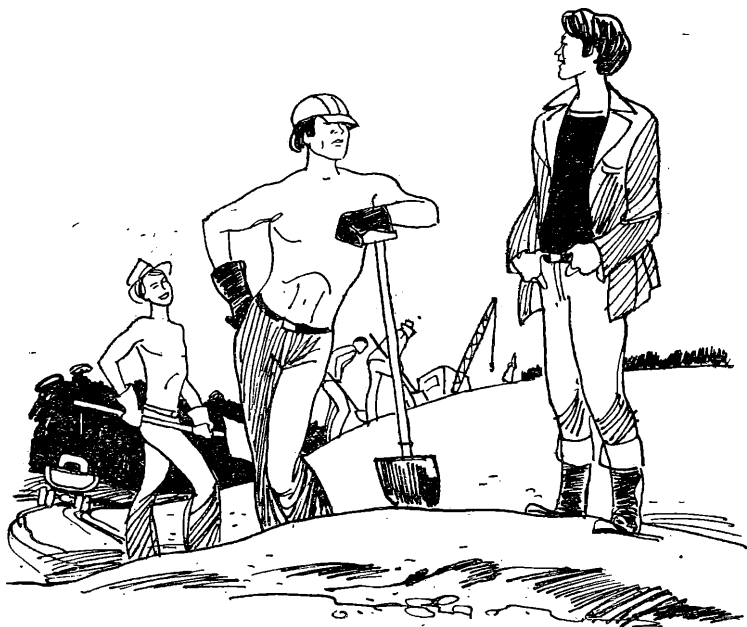
Плиту цепляли толстыми прутьями и вчетвером несли наверх. Тяжело было шагать по гравию, по песку. Но Игорь быстро приспособился и даже почувствовал удовольствие от физической нагрузки. К чему другому, а к работе за два строительных сезона он привык, так что напрасно ехидничал Брегов насчет разминки.

Он понимал, почему Илья относится к нему неприязненно. Брегов до института работал на стройке, два года был в армии. Конечно, ему неприятно подчиняться неопытному юнцу, у которого за плечами всего-навсего три курса института. Да и нрав у Ильи тяжеловатый, властолюбивый. Своих ребят так вышколил, что без его разрешения никто и на минутку не мог остановиться. Может быть, при такой работе иначе нельзя. . . Хотя вряд ли. Строгость строгостью, но доброе слово всегда лучше помогает. Сам был в прошлом году бригадиром, знает.

И еще Илья мог коситься на него из-за одного случая. Когда в первый раз вышли на откос, Игорь объяснил, что нужно делать, — разбрасывать гравий и укладывать плиты. Но предупредил, что геодезисты обещали определить уровень, да так и не сделали.

— Нужно было раньше смотреть, — недовольно сказал тогда Илья. — На стройке нельзя верить словам, тебе начальство, пока не добьешься. А работать мы начнем, нельзя расхолаживать ребят.

И, конечно, пришлось переделывать — два дня работали впустую. Но это было в самом начале, когда никто ничего толком не знал, да и Брегов был виноват в не меньшей степени, чем Игорь.



«Я тебе со временем все-таки докажу, что я мастер, а не пустое место!» — упрямо думал Голубев, таская плиты.

Эти железобетонные прокладки нужно было подогнать так, чтобы уровни первой — в начале откоса — и последней — в конце — разнились всего на несколько сантиметров. А откос длинной около километра.

Специалистом по укладке был Валерка Бодров — его Игорь знал по институту, но здесь как бы увидел другими глазами. Важным стал человеком, покрикивал на ребят, считал себя полномочным представителем бригадира.

Прильнув к плите, командовал:

— Выше! Чуть влево! Выгребите гравий! Игорь, что рот разинул, приказа не слышал? Здесь ты для меня не начальник, а подчиненный.

И снова сосредоточенно шурился и с удовольствием подавал команды.

— Послушай, Валера, — не выдержал Голубев. — Здесь аптекарская точность не нужна. Сверху ляжет арматура, затем бетон. Вы напрасно тратите время.

— Мы халтурить не будем, — важно сказал Валерка, явно подражая бригадиру, и весело рассмеялся. — Бригада имени Брегова работает только со знаком качества.

«Поговорить надо с Ильей, — решил Голубев. — Зачем они напрасную работу делают?»

Вскоре Илья поднял над головой скрещенные руки. Сразу ребят как ветром сдуло — побросали лопаты, ломы и устремились к воде.

— Перекур двадцать минут, — известил Брегов. — Пять минут добавляется в честь мастера. Редко он нас балует посещениями.

— Да понимаешь, Илья, я бы рад с вами поработать, да беготня заела, — начал оправдываться Игорь.

— Я просто так, — прервал его Брегов. — Мы сами знаем, что и как делать, нас учить не надо.

— Конечно, не надо, — согласился Игорь. — И все же я хочу сказать, что вы напрасно так тщательно подгоняете плиты и разравниваете квадраты. Ведь лишнюю работу делаете.

— Разве мы не справляемся? — высокомерно спросил Брегов. — Кого-нибудь задерживаем? Нет. Будем делать как следует! Халтуру я гнать не привык.

Голубев пожал плечами:

— Дело ваше, только ни к чему все это.

«Эх, мне бы такую уверенность! Уж он-то, наверное, нигде и никогда не растеряется», — невольно позавидовал он.

Вроде и сидел Брегов не так, как другие, — плотно, основательно, как статуя. На смуглом цыганском лице с резкими чертами ни тени улыбки. Мышцы туловища словно выточены из темного дерева — каждая четко выделяется.

— Почувствовал, Игорек, как нам достается? — спросил Валерка Бодров. — У нас самая трудная работа в отряде.

— За час не очень-то почувствуешь, — улыбнулся Голубев. — Да я и так знаю, что трудная. У бетонщиков, пожалуй, не легче.

— Нет, у нас самая трудная, — упорствовал Валерка. — Смотри, весь откос в порядок привели.

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Игорь. — Молодцы!

— Ну то-то, — удовлетворенно заключил Валерка. — Вот увидишь, все у нас будет «хоккей»! Потому что я везучий. Мне всю жизнь везет. Предки у меня хорошие, не вмешиваются по пустякам. «Жигули» купили, осенью пойду на курсы, получу

права, пользуйтесь тогда моей добротой, приглашайте любую девушку. Ни одна перед машиной не устоит! А то, что сюда бесплатно приехал, — разве не везение? Другой за всю жизнь ни разу на Дальнем Востоке не побывает, а я, студяга, уже здесь. Лет через десять буду говорить зеленой молодежи: «Я БАМ строил!» Почет мне и уважение! Вот, Игорек, какой я везучий. О разных пустяках уж и не говорю.

Веселыми, шальными глазами уставился на Голубева, словно требуя подтверждения своей удачливости. Вскочил, побежал к воде, облился по пояс, вернулся назад.

— А ведь дождик, наверное, будет. Надоел Ташкент.

Над горизонтом застыли тяжелые лиловые облака, обещающая прохладу. Надоели однообразное чистое небо и сухая жара.

Из-за дальней полоски леса раздался мощный рев, властно сотрясавший воздух. Достиг пронзительной силы и оборвался. Словно выброшенный гигантской тетивой, серебристый истребитель со скошенными крыльями в несколько мгновений пересек полнеба. За первым по очереди взлетали другие самолеты, резко заваливались набок и круто снижались, выравниваясь у самой земли. Полет был дерзок и красив.

Брегов со странным выражением следил за истребителями. Потом резко опустил голову, выругался.

— Эх, мне бы сейчас в кресле-катапульте лежать, а не в земле ковыряться!

Удивленные внезапной печалью бригадира, ребята промолчали.

— Да ладно, чего там! — Лицо Брегова приняло обычное суровое выражение. — Поговорим о наших делах. А дела наши, уважаемый мастер, вот такие. Дня через три бригада будет простаивать. Так что немедленно договаривайся, чтобы склад дали строить или еще один откос бетонировать.

— Не хотят давать, пока не закончим хоть один этап, — объяснил Игорь.

— Ты мастер, должен добиваться!

Игорь не стал спорить попусту.

— Скоро должен приехать начальник мостоотряда, тогда, думаю, добьюсь. Мужик он, говорят, замечательный.

Валерка обрадовался:

— Дави на него, Игорь! Пусть выгодную работу дает. А мы-то уж сделаем, если денег побольше подкинёт.

— Все ты, Валерка, на деньги переводишь! — поморщился Игорь.

— А что? — удивился Валерка. — Деньги же всеобщий эквивалент. Начальник-то твой, наверное, на юге отдыхал, пока мы здесь вкалывали?

— Нет, он в Штатах лекции читал, — с гордостью сообщил Игорь, как будто сам причастен был к этой поездке.

— Ишь ты! — восхитился Валерка. — Как же из тайги в Америку попал?

— Делился опытом строительства вот этого моста. Крупный специалист. Придумал такое, что в мире никто не делал. Большое начальство в Москве не соглашалось. Пока там разбирались, он на свой страх и риск начал строительство. Пришел запрет, а здесь уже три опоры стоят. Не поспоришь. А по плану только готовиться должны были к строительству. Говорят, поседел немного, но своего добился.

— Вот бы мне на его место! — размечтался Бодров. — Уж я бы воспользовался возможностью! Сумел человек одним ходом славы и денег добиться!

Игорю обидно стало, что Валерка незаурядный образ низводит до своего мелкого понимания.

— Из-за корыстных соображений вряд ли он стал бы бороться за свою идею. Карьеру не так делают. Ты уж очень примитивно судишь.

— Я-то все правильно понимаю, — с загадочным видом произнес Валерка и без видимой причины резко сказал: — Ты вот Гончарову не скажешь, что он лентяй. Не хочешь, значит, рисковать?

— При чем здесь Гончаров? — удивился Игорь.

— А при том... Юрка на кафедре ассистентом пристроился, может тебе на экзамене навредить.

Голубев возмутился:

— Ты, Валерка, совсем заговариваешься! И почему это Юра лентяй?

— А потому, что или с кинокамерой бродит, или просто так прохлаждается.

— Поставил бригадира белоручку! — презрительно подал голос Брегов. — Тунеядцев разводишь! Вон видишь — на рельсах кто-то отдыхает? Наверняка Гончаров.

Смущенный Игорь промолчал — в чем-то, пожалуй, ребята правы, слишком уж Юра увлекся кинокамерой. А Игорь действительно настоял, чтобы Гончарова поставили бригадиром.

Парень с пятого курса, без пяти минут инженер — казалось, лучше человека не подобрать. Но Юра не совсем правильно понял свои обязанности. Надо было раньше с ним поговорить, да как-то повода не находилось и неудобно было.

Брегов взглянул на часы:

— Кончай трепаться. Пора.

Ребята встали и не торопясь потащились к откосу. Впрочем, Игорь заметил, что ни один не пошел позади Брегова.

Попрощавшись с Ильей, Голубев направился к бетонщикам. Подъемный кран как раз подал очередную «галошу» бетона, и ребята таскали его лопатами в верхнюю часть квадрата.

Помявшись, Игорь тихонько сказал Гончарову:

— Пойдем, Юра, надо поговорить.

Остановились в сторонке. Гончаров невозмутимо смотрел на Игоря прозрачными голубыми глазами. Он вообще держался спокойно, степенно. Только кудрявые русые волосы как-то не вязались с его солидностью. Юру легко было представить деревенским хватом-гармонистом. На голове кепчонка, из-под которой выбивается чуб, на ногах сапоги, в руках гармошка. И девушки вокруг вздыхают, а он не желает их осчастливить даже взглядом. «Какая чепуха лезет в голову, — подумал Игорь. — Он и в деревне-то вряд ли был...»

Испытывая страшную неловкость, начал:

— Знаешь, Юра, ребята обижаются... Ты слишком увлекся съемками, а бригадир должен работать наравне со всеми... Ты уж как-нибудь веди себя по-другому...

Юра спокойно смотрел голубыми глазами. Ни смущения, ни стыда Игорь на его лице не заметил. Стыдно было скорее Игорю.

«Что я мямлю, как будто оправдываюсь, как будто я в чем-нибудь виноват. При чем здесь ребята, от себя надо говорить!»

— Я, в отличие от тебя, дешевый авторитет не зарабатываю, — невозмутимо сказал Юра. — Какой толк от того, что ты час или два потаскал плиты? Никакого. К ребятам подмазываешься. А ведь ты организатор! Ты должен придумать, чтобы не было этой дикости — за пятнадцать метров таскать бетон лопатами. Это в век научно-технической революции! Ты же вместо дела занимаешься ерундой.

— Постой, постой! — запротестовал Игорь. — Я же о тебе начал говорить! Ну хорошо, объясню. Я не могу слоняться, когда люди работают. У меня есть свободное время — пойду пли-

ты или бетон потаскаю. Никому от этого плохо не будет. Ни за каким авторитетом не гонюсь, тем более что таким способом его не зарабатываешь. Но ты совершенно напрасно сторожишься ребят.

— Со мной все ясно, — лениво сказал Гончаров. — Я работаю, хотя считаю, что это не работа, а издевательство. Мудрить здесь нечего — нужно поставить кран с длинной стрелой, и вся любовь! Кинокамера моя никому не мешает, сами потом будете довольны. Бригада с работой справляется, в какой-то степени это и моя заслуга. А что с ребятами не так много общаюсь, как им хотелось бы, это мое личное дело. Мне с ними не о чем говорить, у них другой уровень развития.

Игорь начал горячиться:

— Другого крана нет! Раз нет, надо обходиться лопатами. Не рассуждать о механизации, а работать!

— Все мы работаем, я тоже! — решительно заявил Юра. — Так что нам нечего обсуждать. Ты отнимаешь у меня время, а потом будешь по-дурацки упрекать. Всего тебе наилучшего!

«Ну и денек, — сокрушался Голубев, поднимаясь по песчаному откосу. — Какой я бестолковый, совсем не умею разговаривать с людьми. И зачем согласился поехать мастером! Никто меня не слушается. Конечно, у всех у них больше опыта, но можно ведь все решить спокойно, без столкновений и ссор!»

Игорь потому и согласился поехать мастером, что хотел хоть немного научиться руководить людьми. Характер у него, как он считал, мягкий, стеснительный, малоподходящий для жесткой современной жизни. А ведь он будущий инженер, в подчинение, возможно, попадут десятки людей, значит, нужны твердость, решительность, умение принять верное решение. В прошлом году, будучи бригадиром, наблюдал за своим мастером, и работа его показалась вполне посильной. Конфликтов никаких не было, знай себе думай, как студентов лучше распределить по местам. А сейчас еще раз убедился, что со стороны все кажется проще. Отступать теперь некуда, даже если бы он публично покаялся в своей непригодности — все равно его вряд ли кем-нибудь заменили.

По рельсам, предостерегающе гудя, катила мотодрезина.

Игорь посмотрел ей вслед. Вдалеке, где рельсы сливались в одну блестящую нитку, горбатилась ферма моста, на кото-

рой, едва различимые, копошились черные фигурки. Подумал: «Ссоримся мы или нет, а дело движется. Гончаров не прав, значит, со мной более или менее все в порядке».

И вприпрыжку побежал с откоса.

3

Молоденькая секретарша Верочка, сидя за машинкой, почтительно говорила тихим голосом:

— Владимир Николаевич только сегодня утром прилетел. Вещи завез домой и сразу сюда. Подождите немного, он вас примет сразу, как освободится. Владимир Николаевич никогда не заставляет ждать напрасно.

Игорь умилился: надо же, всего несколько часов назад прилетел, а уже вызвал командиров и мастеров студенческих отрядов! Значит, считает их серьезными работниками.

Контора мостоотряда помещалась в бараке. По обе стороны длинного коридора двери с фанерными табличками. Стены голые — ни плакатов, ни лозунгов. Единственное, на чем мог остановиться взгляд, — накрытый белой марлей бачок с водой. Было душно. С потолка, лениво жужжа, снимались мухи и тут же утихомиривались. Тишина и сонливость, как где-нибудь в глухом колхозе. О БАМе напоминало лишь непрерывное урчание самосвалов, которые носились к мосту и обратно. Если кто-нибудь открывал дверь, урчание превращалось в рев и в коридор набивалась только что поднятая пыль.

Обитая черным дерматином дверь открылась. Оживленно переговариваясь, вышло несколько человек. Студентов тотчас же пригласили. У входа их встретил начальник, каждому пожал руку.

— Рад вас видеть. Проходите, садитесь, где удобнее. Мебель у нас не министерская. Построим мост, двинемся дальше. Хорошую жалко было бы бросать.

Когда все расположились за длинным столом и чинно положили перед собой одинаковые черные палочки, Марков спросил:

— Значит, из Москвы, Ленинграда и Днепропетровска? Давайте познакомимся. Я — Марков Владимир Николаевич.

Студенты называли себя, вставая. Марков внимательно всматривался, делал какие-то пометки в блокноте.

— Ну вот и познакомились. Прежде чем говорить о делах,

я хочу узнать, рассказали вам, что это за мост и для чего вы в такую жару бетонизируете откосы?

Студенты нестройно загудели:

— Знаем, догадываемся!

Марков встал, добродушно улыбнулся:

— Конечно, и ребенку ясно: мост существует для того, чтобы по нему поезда ходили. Я хочу сказать о местных условиях. Так вот, течение у реки коварное, много водоворотов, в паводки огромный напор воды. Прежде чем добраться до скальных пород, нужно убрать сотни кубометров песка, глины, щебня. А сделать это весьма и весьма непросто. Мы применили небольшое новшество... Впрочем, новшеством это вряд ли можно назвать. Метод использовался при строительстве мостов на небольших реках, а мы решили здесь...

Пока он говорил, Игорь исподтишка его разглядывал. Ничего особенного во внешности нет. Простоватое, невыразительное лицо, стрижка под «бокс», коренастая фигура. Поношенная безрукавка — голубая с белой полоской. Встретил бы на объекте, и не только крупного руководителя в нем не признал бы, но и не подумал бы, что этот человек причастен к умственной работе.

— Я хочу подчеркнуть, что вы делаете очень важное дело, — продолжал Марков. — Ваша работа отнюдь не из второстепенных. Достаточно сказать, что в иные годы вода поднимается метров на восемь — десять. Представляете, что осталось бы от полотна, если его не забетонировать? Вы своими руками, так сказать, защищаете участок железной дороги от паводков. Это уже немало, по-моему. Но вы еще вот что учтите. Вы освобождаете квалифицированных бетонщиков, которые сейчас работают непосредственно на мосту. Значит, до зимы мы можем поставить все опоры. Надеюсь, вы не обиделись, что студентов я не отношу к разряду высококвалифицированных бетонщиков?

— Нет! Какие обиды!

— Правильно, но цену себе все-таки знайте, — улыбнулся Марков. Смешно почесал лоб карандашом. — Газеты называют наш мост важнейшим объектом БАМа. Не думаю, что его построить сложнее, чем проложить рельсы через тайгу или пробить туннели. Здесь все объекты важнейшие, но пусть вам будет приятно, что так считают. А работа? Что ж, работа везде работа. Правда, здесь местные условия... Спасибо, что при-

ехали, извините за проповедь. Теперь прошу коротко рассказать, что сделано, какие претензии к администрации.

Пока говорили другие, Володя и Игорь шепотом препирались. Володя: «Докладывай! Ты лучше знаешь». Игорь: «А ты командир!» Подошел их черед. Володя толкнул Игоря в спину, и тому ничего не оставалось делать, как встать. Он стоял, сильно сутулясь. Казалось, если выпрямится, станет слишком высоким и беззащитным. От волнения начал было заикаться, но оправился, отбарабанил, сколько забетонировано, сколько подготовлено, какие работы еще сделаны.

— Что ж, потрудились неплохо, — подвел итог Марков. — А теперь выкладывайте претензии. Они у вас непременно должны быть.

Стали жаловаться — то вовремя доски не подвезли, то машина для резки арматуры сломалась и три дня не могли починить, то кран на другое место не перегнали. Марков согласно кивал головой, записывал в блокнот.

И Голубев заставил себя вставить слово:

— О самом главном забыли. Плохо подается бетон. У нас бригада часами простаивает. Вот на это, Владимир Николаевич, надо обратить самое серьезное внимание.

Не по себе стало: кого вздумал поучать!

Но Марков принял его слова как должное.

— Вы совершенно правы. Бетон — наша беда. Особенно сейчас, когда он нужен во все стороны. Проектировщики виноваты или еще кто-нибудь — сейчас это неважно. Сейчас виноваты мы. Но будем делать все, чтобы выпускать больше бетона. А это значит — не терять время на пересменке, быстрее ремонтировать бетономешалки. Они, к сожалению, часто выходят из строя, и надежды на безотказную работу нет. Что касается других недостатков, виновные будут наказаны. И еще хочу сказать, ребята. Не надейтесь на легкую жизнь. Научно-техническая революция — все это так. Но трудности есть и всегда будут. Всего вам хорошего. Как говорится, успехов в труде и счастья в личной жизни. Обращайтесь ко мне в любое время.

Ребята еще только выходили из кабинета, а Марков уже разговаривал с кем-то по телефону.

Вышли на солнцепек.

— Очень легко с ним будет работать! Замечательный человек! — восхитился Игорь.

— Это еще неизвестно, — осторожно сказал мастер днепро-

петровцев, великовозрастный парень. — Мягко стелет... А потом, глядишь, наряды будет срезать.

Голубев огорчился, и стало ему немного жаль осторожного человека. Побила его, наверное, жизнь, раз относится так недоверчиво. И вид у него какой-то замордованный — студенческая роба мешком висит, выражение лица постное, на лбу морщины, у рта скорбные складки. Не стал Игорь возражать, заговорил о другом.

Постояли немного, поболтали о производственных делах и разошлись. Игорь остался с Володей.

— А все-таки Марков незаурядный человек. Я чувствую.

— Посмотрим, — сказал Володя. — Ничего особенного он не пообещал. Есть недостатки, будем исправлять. Начальник как начальник. Таких много.

— Мне кажется, что он прежде всего думает о людях. Не смотрит на рабочих как на механических исполнителей. Добивается, чтобы каждый видел смысл своей работы.

— Ну-ну, не буду спорить. Может, ты и прав. Что, пойдем договариваться насчет нового откоса?

— Пойдем. Хорошо бы заполучить вот этот, прямо от дороги. Подъемный кран здесь не нужен. Подкатил самосвал, поднял кузов — и, пожалуйста, разбрасывай.

Начальник производственного отдела Тулин сидел в тесном кабинетике. Рубаха расстегнута. Отдуваясь, вытирал платком потное лицо.

— Здорово, орлы! Опять по мою душу пришли? Что на этот раз надо?

— Давайте работу, Александр Иванович, — решительно заявил Игорь. — Нашей бригаде скоро делать нечего будет. Мы бы взялись бетонировать откос от дороги до лесопилки.

— Вам не справиться.

— Александр Иванович, вы знаете, как мы работаем! — внушительно сказал Игорь. — Ни москвичам, ни днепропетровцам с нами не сравниться! Не только сделаем, а еще что-нибудь попросим. Этот откос для нас игрушка. Ширина всего два квадрата, а на том — пять.

— Ну, раз такие шустрые, берите, — легко согласился Тулин. — Оформляйте аккорд и все такое. Берите чертежи, договаривайтесь с геодезистами. Только учтите: пока не сделаете, домой не поедете.

— Александр Иванович! — не удержался Игорь от упре-

ка. — Ведь неделю назад еще можно было договориться! За-чем время теряли?

— Ишь какой быстрый! Значит, нельзя раньше было. По-смотрели, что работать вы умеете, ну и берите, не жалко.

Когда вышли из кабинета, Володя усомнился:

— А не слишком ли много взяли? Это же получается два наших плана?

— Мы же с тобой прикидывали, должны справиться. Глав-ное — чтобы бетон шел. А это уж от нас не зависит.

— Взяли так взяли. В крайнем случае человек десять оста-нутся доделывать.

— Пойдем геодезистов теребить, чтобы завтра же начали разметку. Да, вот еще о чем надо поговорить. Недовольны ребята Гончаровым. И от работы отлынивает, и свысока смо-трит. Вряд ли они правы на сто процентов, но в отношениях что-то не ладится. Зря я, наверное, настаивал, чтобы его на-значили.

— Юра не привык к тяжелой работе, — добродушно ска-зал Володя. — А ты здесь ни при чем, все утверждали. Ничего, притрется.

— Знаешь что? — предложил Игорь. — Поработаю вторую смену, посмотрю, что и как. Когда вместе вкалываешь, сразу видно, кто чего стоит.

— Ну, давай разомнись. А завтра поспишь до обеда, по-том будем наряды составлять.

4

Когда Игорь пришел на откос, ребята сидели на досках, курили. Девушки — Надя и две Тани, Белая и Черная, — за-глаживали мастерками бетон.

Игорь спросил:

— Где же Гончаров?

— Пошел узнавать насчет бетона.

— Давно бетона нет?

— Да уж час сидим.

— А что же девушкам не поможете?

— Как же, помогали, а теперь они заканчивают. Потом долго будут отдыхать.

— Эх, ребята, — с сожалением сказал Игорь. — Хорошо бы с вами посидеть, да надо идти бетон выбивать.

Он смотрел на Надю, которая и головы не подняла, будто

не заметила, как он пришел. «Странно ведет себя, — отметил Игорь. — Могла бы хоть улыбнуться. . .»

— Возьми меня с собой, — предложил Коля Разин. — Смотри, у меня кулаки с кувалду. Я их там напугаю, сразу две машины дадут, — и крикнул вслед напутствие: — Ты с ними поостроже, а мы тебя поддержим.

Игорь бегом поднялся на полотно. Чувствовал он себя бодро и легко. Казалось, сейчас может добиться чего угодно.

На бетонном заводе — как гордо именовалось сооружение из двух бетономешалок — горели прожекторы, хотя было еще светло. Под бункером стояла машина, две ожидали очереди. Игорь подошел к шоферам.

— Бетономешалки сломались?

— Да, ремонтировали.

Игорь присел на бревно. Ни Гончарова не видно, ни закрепленной за бригадой машины. Чудеса какие-то! Не на прогулку же Юра укатил!

Машина появилась минут через десять. Игорь вскочил на подножку.

— Витя! Куда ты пропал?

Длинноволосый парень в ковбойке, зевая, ответил:

— А меня к днепропетровцам направили.

— Как! — возмутился Голубев. — Не выйдет! Поедем к нам!

— Мне Федорченко сказал. . .

— Плевать! Я отвечаю! Скажешь, что ножом тебе угрожал. Сделаем рейс, найду Федорченко.

— Да мне все равно, — согласился Виктор. — К вам еще удобнее.

Игорь сел в кабину. Подошла их очередь. В кузов свалилась тяжелая масса — машина осела. Еще одна доза, и самосвал выехал из-под бункера.

— Гони, Виктор! — возбужденно закричал Игорь. — Ребята ждут!

Вцепиться бы сейчас в руль, выжать газ до отказа и бешено нестись по воздуху.

Свет фар отбрасывал темноту. Игорь и не заметил, как стемнело. Над черными сопками ярко догорал красный закат.

Машина задним ходом осторожно подползла к «галоше» — длинному металлическому ящику.

— Ура! — завопили ребята. — Даешь БАМ! Пять — в четыре! Четыре — в три! Три — в два! Два — в один!

Коля Разин с кувалдой подбежал к самосвалу, яростно бил по кузову, выколачивая остатки бетона.

— Не появился Гончаров? — спросил Игорь, когда Разин отбросил кувалду в сторону.

— Нет, гуляет, — ответил Коля, тяжело дыша.

«Не случилось ли с ним чего-нибудь?» — обеспокоенно подумал Игорь. Порожняком шофер гнал вовсю, не тормозя на рытвинах и ухабах.

Пока ждали своей очереди, появился мастер участка Федорченко. Вскидывая голову, набросился:

— Тебе кто разрешил самоуправничать! Ты зачем нашу машину угнал?

Игорь тоже повысил голос:

— Вы угнали, а не я! Самосвал наш! Я сейчас пойду жаловаться Маркову. Он как раз полчаса назад интересовался, почему бригада простаивает. Вот я ему и скажу почему. Он обещал выделить две машины, а вы последнюю угнали.

Наверное, у Игоря был такой разъяренный и решительный вид, что Федорченко сбавил тон:

— Ну, ну, какой эршистый! Где я тебе вторую машину возьму? Одной хватит.

— А приказ Маркова для вас ничего не значит? — напирал Игорь. — Вот я сейчас записку покажу. — И полез в карман. — Ах, черт, потерял! Да завтра сами у него можете узнать.

— К москвичам два самосвала бегают, — задумчиво произнес Федорченко. — Они, правду сказать, не очень шустрят...

Игорь, чувствуя угрызения совести, уцепился за эти слова:

— Вот и прекрасно! Нам только на сегодняшнюю ночь. Мы бы как раз доделали этап, а послезавтра сдали бы.

— Ладно, — согласился Федорченко. — Берите.

Неловко Игорю стало, что накричал на него, обманул. Перед ним был сутулый человек с усталым лицом и сединой в волосах. Должно быть, у него большая семья, образования нет, и поэтому дорожит незавидной должностью. И все же Игорь был доволен своей находчивостью. «Оказывается, если заведушь, могу кое-чего добиться», — подумал весело.

— Большое спасибо вам, — сказал мягко. — Всего хорошего.

Теперь не нужно было сторожить машину, и Игорь, не ожидая, пока подойдет их очередь, пешком отправился к бетонщикам.

Юра Гончаров был уже там. Игорь спросил:

— Где, Юра, пропадал? Я уж беспокоиться начал.

— Сперва узнавал насчет машины, потом воды пошел попить. Нельзя, что ли?

— Да ничего я не имею против, только поинтересовался. — И крикнул: — Ребята, на нас будут работать две машины. Так что держитесь.

— Даешь рекорд! — крикнул кто-то.

Игорь схватил лопату.

5

— Давай, давай! — кричал Коля Разин хриплым голосом, подбадривая себя и других. — Шевелись!

Бетон шел непрерывно. Когда подходил самосвал, Коля колотил по кузову, потом направлял тросом многотонную «галошу» в нужное место и снова выбивал кувалдой остатки бетона. А ребята тем временем минуту-другую перекуривали. Ему предлагали смениться — он стряхивал пот с лица, сердито хрипел:

— Я некурящий, а вам посмолить надо. Не бойтесь, выдержу!

Все набрасывались на бетон — и он хватал лопату. Вытянутые во всю ширину откоса, метались переплетенные тени. Гигантским комаром зудел вибратор. Слышались громкие шлепки, будто охотились за вьедливым насекомым. Это с размаху били лопатами по бетону, чтобы ни ямки не осталось, ни горбика. А девушки мастерками заглаживали поверхность.

Игорь на бегу поглядывал на Надю, несколько раз она устало улыбнулась ему. Видно было, что ей очень тяжело. Игорь сам бы работал за нее или хотя бы рядом, но водить мастерком считалось самым легким делом на бетоне.

Размылся край неба, тени побледнели, а вскоре прожекторы стали ненужны. Но выключить их догадались не сразу. До смены было еще больше четырех часов, однако, несмотря на безостановочную беготню, ребята повеселели: сделали уже больше чем когда-либо, а времени еще достаточно. Шуточки начались, немудрящие, но отвлекающие от монотонного движения.

«Какие отличные ребята! — восхищался Игорь. — А Коля-то Разин! Герой!»

Пока Коля Разин подает «галошу», отдыхаешь немного. Потом снова вонзаешь остроконечную лопату в плотную массу, подцепляешь небольшую на вид кучку — она к земле тянет, будто гирию несешь. Руки сохнут в запястьях, и пальцы сводит. Тысячи лопат нужно перебросать. Подумаешь — ужаснешься, покажется, что это свыше человеческих сил. А если ни о чем не думать — бегаешь, как будто это занятие и есть обычная форма твоего существования.

«Здорово мы сегодня поработали! — подстегивал себя Игорь. — Есть моя заслуга! Выбил машину!»

Вспомнил растерянного Федорченко, на которого чудотворное действие оказала фамилия Маркова, и снова стало жаль его. Жаль потому, что не может он испытать такого чувства общности с товарищами, какое сейчас испытывает Игорь. Хотелось громко крикнуть всем, какие они замечательные и как рад он с ними работать.

— Юра! Гончаров! — раздался звучный голос Коли Разина. — Гончаров! Кончай в бирюльки играть! Иди работать, разве не видишь — мы зашиваемся!

Юра часа полтора назад присоединился к девушкам, выравнивал мастерком бетон. Не такое это легкое занятие. Если бетон жидкий, более или менее сносно, а чуть погуще — бьешься, бьешься, чтобы камешки не выпирали на поверхность, а бетон все жестче и жестче. Попробуй загладить бугорки и ямки! Все тело ломит, ноги немеют, но часами, как приклеенный, сидишь на четвереньках, и нельзя переменить положение. Это — если стараешься. А Коля высмотрел-таки: взял Гончаров себе участок шириной с ленту и елозит мастерком, будто на пляже развлекается. А до этого все командовал, словно без него не знают, куда бетон бросать.

На Колин окрик Гончаров и головы не поднял.

Игорь огорчился грубой выходкой Разина.

— Зачем ты так? — сказал укоризненно.

— А пусть, ему полезно. Здесь не богадельня, некогда нянчиться!

Сейчас не до психологических тонкостей. Может быть, Коля прав.

И снова — лопату в бетон; вверх бежишь напрягаясь, вниз — отдыхая. Все в стороне — мысли, переживания, огорчения. Стойко держится ощущение: ты сильнее бетона, сильнее времени, сильнее себя.

К восьми часам было готово шестнадцать квадратов, вдвое

больше, чем обычно удавалось сделать. Измотанные, осунувшиеся бетонщики то и дело поглядывали на насыпь — не покажется ли смена?

Избавители появились в половине девятого. Их будто не замечали, продолжали работать. Новоприбывшие постояли, маясь своей бесполезностью, и начали силой отбирать лопаты.

Раздались шуточки:

— Научил вас мастер работать!

— Бойтесь начальства!

— Может, вторую смену отработаете?

Игорь, весело улыбаясь, отшучивался, а сам поглядывал, куда направляется Надя. Увидел, что она держится рядом с Гончаровым, и хотя понимал: Надя может общаться с кем угодно и это ничего не значит, но было неприятно, что она разговаривает с Юрой, а не с кем-нибудь другим.

Пока машина ездил за арматурой, ребята ждали на рельсах. Надя сидела с Гончаровым поодаль. «Вот и кончились наши прогулки...» — подумал Игорь. Радостное возбуждение улеглось, нахлынуло чувство опустошенности и тупой грусти. Ничего не хотелось, даже спать.

— Интересно, когда вы собираетесь снимать Гончарова? — поинтересовался Разин.

— Опять ты пристал! — разозлился Игорь. — Больше тебе думать не о чем? Никто не собирается!

— Это почему же?

— Нет оснований.

Разин вкрадчиво вел дальше:

— А то, что он плохо работает, не основание? А на коллектив плюет, нас серой массой считает — ему за это грамоту? — Коля возвысил голос: — Бригадир должен быть в первых рядах, а он где?

— Ты же комсорг бригады! Вот и обсудите на собрании. Я смотрю, один ты возмущаешься! Может быть, есть у человека недостатки — так это вовсе не значит, что его надо выгонять.

— Я один возмущаюсь! — от гнева Коля начал пришепетывать. — Народ у нас смирный, всего боятся! Вот у Сережи Петрушина спроси, ему-то поверишь? Скажи, Сережа!

Петрушин смущенно сказал:

— Мне все равно, работает он или нет. Без него справимся.

Просто он как-то не прижился, всегда в стороне. Не сошлись характерами, что тут поделаешь? Начальника изображает — пусть, а вот не сошлись характерами...

— Вот-вот! Начальником хочет быть! — подхватил Разин. — Уже в ассистенты на кафедре пробрался. Такие белоручки и лезут вверх, чтобы ничего не делать, а получать побольше. Кто не работает, а деньги берет, занимается воровством. Или у товарищей ворует, или у государства. Я вам скажу — если воров повыгонять, много миллионов можно сэкономить.

— Ты это говоришь, потому что сам не при кормушке.

Коля взвился:

— У меня есть стыд и совесть! У меня не голубая кровь. Я человек трудовой и не рвусь к должностям!

Он огляделся вокруг, как бы выбирая, на кого еще наброситься.

— Послушай, Коля, ты же говорил, что ни во что не будешь вмешиваться, — уводя разговор в сторону, сказал Игорь. — Как тебя понимать?

Разин во весь рот ухмыльнулся:

— Это смотря во что! Тут нельзя не вмешиваться.

— Значит, можно, если безопасно?

— Да нет, я совсем не про это, — смешался Коля. — Если уж явная несправедливость, так я полезу, не побоюсь ничего. Я говорил про то, что буду в семье, как в крепости. Выскочу оттуда, побью кого надо и назад. Там мне спокойно, там меня не достать, хоть всех благ лиши. Я про другое говорил. Семья для меня остров. Ну вот, всякие брожения сейчас, сексуальная революция, техническая. Всемирным потоком грозятся или оледенением. Или там среда загрязняется, дышать, дескать, скоро нечем будет. Люди расстраиваются. А мне на мировые потрясения наплевать, я в семье спрячусь. От ненужных мыслей.

— Никуда от них не денешься, — возразил Игорь.

Разин рассмеялся.

— Спрячусь! Глаза завяжу и уши заткну, ничего не буду читать, кроме книг по программе... А вон и машина за нами. Эх и поспим же сейчас!

Бегом спустились с насыпи, за несколько секунд расселись по скамейкам.

Игорь подождал Надю.

— Устала?

— Нет, ничего, — неохотно ответила она.

— Садись в кабину, отдохни.

— Я лучше в кузове.

Она села на переднюю скамейку рядом с Гончаровым.

6

Только что к усилителям подключили магнитофон. В столовую потянулись любители поп-музыки. Многие принесли свои записи и всячески их расхваливали. Разгорелся спор, что слушать в первую очередь. Битлзов отвергли за старомодность. Холлидея тоже сочли устаревшим. Победу одержал Пол Маккартни. Валерка Бодров уже кассету достал из кармана, но тут вклинился худой неоформившийся подросток Саша Панин, молчаливо переживавший спор. От волнения визгливо закричал:

— Стойте! Стойте! У меня есть, что надо! Христос-суперзвезда, поп-опера! С американской пластинки переписана.

Валерка пренебрежительно бросил:

— Иди ты со своей оперой! Не мешай! — И толкнул легонько Панина.

Но тихий Саша остервенел, заслонил магнитофон своим телом, с горящими глазами кричал о серьезности сюжета и первоклассных исполнителях.

Ребята для потехи кричали:

— Давай Маккартни!

Другие заводили Сашу:

— Не хотим Маккартни, давай Христа! Держись, Панин!

— Ничего вы не понимаете! — горячо бормотал Саша. — Это шедевр, последний крик Бродвея!

— Твоему крику сколько уже лет? — напирал Бодров, но тщетно: Саша воспользовался заминкой и поставил кассету.

— Ну молодежь настырная пошла! — Валерка театрально развел руками. — Ни к чему не подпускают!

— Как дети, — заметил Коля Разин, сидевший с Голубевым и Алешиным за длинным столом. — Не все ли равно, что слушать? Лишь бы шум был.

Началась музыка. Ребята, заинтересованные названием, на несколько минут притихли, потом стали переговариваться, рассказывать анекдоты. Популярная музыка не требовала внимания — все было знакомым: мелодии, инструментовка, ритм.

Один лишь Виктор Кухарев впал в транс. Глаза помутнели. Он подрыгивал ногами и раскачивался всем телом. Ребята пересмеивались, глядя на него, подталкивали друг друга:

— Смотрите, Витька кайф поймал!

А Кухарев голову на грудь опустил, рот безвольно открыл.

— Вот как может человек забыться, — с некоторой завистью сказал Игорь. Ему бы тоже сейчас отвлечься, чтобы не думать о Наде.

Коля Разин, перекрывая музыку, рывкнул:

— Хмелеуборочная машина!

Кухарев встрепенулся, посмотрел по сторонам, бессмысленно улыбнулся и вновь поник, пронизанный волнами бигбита, великого ритма.

Игорь пытался уловить смысл песни. Но английский язык знал в пределах институтской программы и не понял ни слова. Кто-то пел грубым голосом. То ли папаша радуется, что у него чудесным образом родился смысленный ребенок, то ли взрослый Христос учит жить, а может быть, Иуда торжествует, получив за донос деньги и прописку в Иерусалиме.

Слушать стало скучно, Игорь перестал обращать на музыку внимание.

— А знаете, ребята, — сказал он, повернувшись к Разину и Алешину. — Опять мы втроем, как тогда, помните, на танцах...

— Ну, ты тогда недолго с нами был, — лукаво улыбнулся Володя. — Сегодня, наверное, тоже исчезнешь?

Игорь смутился.

— Куда мне исчезать? Дел никаких нет.

— Игорек у нас молодой, но серьезный, — поддел Коля Разин. — Интересуется только производственными делами.

Тем временем на фоне машинно-бесстрастной музыки о Христе шли приготовления к развлекательному вечеру — закрепляли занавес, расставляли круглые табуретки, сделанные из бревен. За стойкой важно стоял одетый в белую куртку бородатый Николай Киселев. В его обязанности входило выдавать кофе, печенье, конфеты и шуточки.

Игорь поднялся:

— Пойду воды полью.

Нацедил из бачка полкружки воды, через силу выпил и остался у входа в столовую. Нужно было улучшить момент и сказать несколько слов Наде.

Вскоре она появилась на тропинке. Игорь едва разглядел ее в темноте. Догнал, будто бы случайно. Тихо окликнул:

— Это ты, Надя?

Надя остановилась, молча выжидая.

— Как же насчет завтрашнего дня? — спросил Игорь. — Я уже обо всем договорился. Катер на тот берег идет в десять утра, возвращается в семь вечера. Времени у нас будет достаточно.

— Извини, я не поеду, — сказала Надя.

Ни огорчения, ни сожаления в ее голосе Игорь не уловил.

— Да ты что? — искренне удивился. — Больше такой возможности не будет. Желających много. Может быть, передумаешь?

— Нет.

— Странно. Я старался, старался. А что за причина, если не секрет?

— Никакого секрета нет, — почему-то недовольно ответила Надя. — Меня пригласили на рыбалку.

Понимая, что лучше бы сейчас же прекратить унижительный разговор, Игорь упрасивал:

— Да ты откажись! Я серьезно говорю, больше такой возможности не будет!

— Нет, не могу.

— Тогда всего хорошего, — с горечью произнес Игорь и медленно пошел к столовой, все еще надеясь, что она передумает, окликнет.

Остановился у входа, прислонился к шершавому столбу.

«Вот все и кончилось! Никогда к ней не подойду. Да кто она для меня? Случайный человек, встретились, поговорили и разошлись. Что я, жить без нее не могу? Что она, самая умная, самая красивая, добрая?»

Ведущий объявил шутовским голосом:

— А сейчас вы увидите знаменитого фокусника Ага-Угуб-ибн-Сина!

Из-за марлевой занавески выскочил Юра Гончаров. Голова обмотана полотенцем, лицо разрисовано краской. Широким шагом походил туда-сюда, наклонился, пристально рассматривал щель в полу. Ближайшие зрители, тесня друг друга, спрашивали: «Что там? Что видите?» — но ничего не обнаружили.

Довольный эффектом, Гончаров возвестил:

— Сейчас я покажу захватывающий фокус. Женщин и нервных прошу отвернуться!

«Да он компанейский парень, — подумал Игорь. — Почему же с бригадой не ладится?» Игорю хотелось бы сейчас заняться каким-нибудь захватывающим делом, но ничего, кроме составления нарядов да отчетной ведомости, не мог придумать.

Без всякого интереса смотрел, как, напрягаясь всем телом, покраснев, Юра принялся доставать белые шарики из рукавов, из воздуха, изо рта. Фокус всем понравился. Гончарову долго хлопали.

«Не Юра ли ее пригласил на рыбалку? Да какая разница! И почему она не может делать все, что хочет? Ну, увел ее с танцев, поговорили, показалась привлекательной девушкой... Да и что особенного — на рыбалку сходить? А все-таки здесь что-то не так, не то...»

— Игорек, иди сюда, мы твое место держим! — закричал Коля Разин, воспользовавшись короткой паузой.

Игорь пробрался к нему и безучастно просидел весь вечер, чувствуя только одно: Нади нет рядом.

7

В тени конторского барака Игорь и Володя ожидали начальника производственного отдела. Хотелось пить, но сколько ни глуши теплую воду из бачка — жажду не утолишь.

— Не грусти, Игорь, — понимающе сказал Володя. — У тебя все впереди.

— А с чего мне грустить! — не принимая сочувствия, ответил Игорь. — План мы выполняем, все более или менее благополучно. Ребят вот только жаль. В такой бы день купаться и загорать. Нам здесь жарко, а на откосе какво! Хоть останавливай работу.

— Можно бы и в лагерь отпустить. Но такая жара будет до конца сезона. Ребята сами же будут недовольны, что потеряли день. Да, я разрешил Брегову взять двух ребят и порыбачить денек. Надо же попробовать местной рыбы. Да и пусть немного отвлекутся, заслужили. Извини, что с тобой не посоветовался.

— Да нет, я ничего. Пусть ловят. Еще из-за таких пустяков спорить! Боюсь только, что без Ильи работать не будут. К послушанию он их приучил, а к самостоятельности нет. Ну ладно, в случае чего вернем на руководящее место. Не проблема.

Когда Игорь подошел к береговской бригаде, Илья перестал бросать песок. «Однако Илья хоть немного начал со мной считаться, — насмешливо подумал Игорь. — Раньше, бывало, и от лопаты не оторвется. Все-таки каждый человек любит власть, хоть маленькую. Нравится командовать, приятно, когда тебя слушаются...»

— Как дела? — спросил, хотя надобности в вопросе не было.

— У нас всегда нормально. Посмотрим, как вы с бумагами справитесь, закроете наряды.

— Ну, это не от нас зависит. — Игорь помолчал. — Нужно выделить двух-трех человек сбросить с плит песок.

— Не вижу необходимости. Пойдет дождь, его водой сметет. Соображать надо.

Игорь ожесточился:

— Соображать надо, что дождь не предвидится, что никакая вода не поможет. А пока плиты не очистим, работу у нас принимать не будут!

— Пошлю завтра, — лениво сказал Брегов. — Доволен?

— Разве это лично мне нужно?

— Ладно, замели, — примирительно произнес Илья. — А я рыбалку организую. Приходи помогать.

— Приду, конечно. А чем думаешь ловить? Сетью? Надо бы разрешение спросить...

Илья туманно ответил:

— По-разному. Во всяком случае, отряд рыбой накормим. Завтра увидишь.

— Что ж, всяких тебе благ! Пойду к бетонщикам.

«Вот и наладились отношения, — довольно думал Игорь. — Ну что нам было делить! Право, теперь мне легче будет. Странный парень, обращается с ребятами жестко, а они его слушаются и после работы даже. А вот Гончарова не любят, хоть и не покрикивает, не заставляет... Попробуй разберись, что людям надо!»

Игорь с изумлением смотрел на странное занятие: Валерка Бодров и Борис Лашевский долбили ломами иссохшую землю. Дородный, обычно неповоротливый Борис сейчас не жалел себя, молотил с яростью и азартом. На Голубева оба не обратили ни малейшего внимания, пока он не спросил:

— Что вы здесь делаете?

Валерка оторвался от своего занятия и снисходительно начал растолковывать:

— Видишь озерко? А в нем что? Рыба. Осетры, может быть. — Сбился с наставительного тона, мечтательно продолжал: — Наберем полное ведро икры, попробуем буржуйской пицци! Уху сварим, эх, век будешь вспоминать! Я же говорил, что я везучий!

Игорь недоумевал:

— Да вы-то что делаете?

Валерка снова впал в назидательность:

— Должно быть и ежу понятно. Между этой лужей и протокой разница в уровнях два метра. Мы делаем канаву, пускаем воду, ставим сети — и готовь мешки!

Игоря затрясло, он начал заикаться:

— Да вы... вы понимаете, что делаете? Это же преступление!

— Чего ты боишься? — удивился Валерка. — Не трусь, в случае чего скажем, что ты не знал. Да никто и не заметит. Мало ли для чего понадобилось воду выпускать. Здесь стройка, а не курорт.

— Разве в этом дело! Озеро ведь погибнет!

Валерка спокойно заметил:

— Подумаешь, озеро. Лужа какая-то. Тебе что, купаться там?

— При чем здесь купаться! При чем здесь мне? — закричал Игорь. — Ты подумал, что на этом месте останется сплошная грязь? Нельзя из-за дурной прихоти уничтожать природу!

— Ерунду говоришь, — снисходительно возразил Бодров. — О людях надо заботиться. Всем осточертела каша, с нее много не наработаешь. А подкормимся рыбкой, горы свернем, три плана выполним!

— О людях заботитесь! — с горечью произнес Игорь. — Из-за таких, как вы, дышать скоро нечем будет.

Массивный и волосатый Борис Лашевский, опершись на лом, прислушивался к спору и загадочно улыбался, будто доступно было ему иное, глубокое и верное, а эти мелкие распри для маленьких ребят.

— Вот Илья идет, — ехидно сказал Валерка. — Он тебе сейчас вправит мозги.

Подошел Брегов. Ноги по колено в грязи, тело исцарапано кустарниками. Но возбужден, доволен.

— Все правильно, ребята! Разница в уровнях полтора-два метра.

— Я запрещаю уничтожать озеро! — взорвался Игорь. — Прекращайте дурацкую рыбалку и возвращайтесь на откос! Берегов с изумлением посмотрел на него:

— Ты что? На солнце перегрелся?

— Я не перегрелся! Это преступление — уничтожать природу!

Илья пожал плечами:

— Какая природа? Да ты или не выпался, или еще что... И вообще это тебя не касается. Насчет производства я, может быть, и послушался бы. Может быть! Конечно, если бы ты не нес такую чушь. А всем остальным распоряжается командир, и незачем тебе лезть не в свое дело. Покомандовать захотелось? Власть показать? Так нет у тебя никакой власти, запомни это раз навсегда!

— За такие дела тебя надо под суд! Пойду в милицию, раз не понимаешь человеческого языка!

— Попробуй только! — с холодной яростью процедил Брегов. — Посмотрю, что от тебя останется! Здесь милиции нет, и ты просто дурак!

— Я последний раз приказываю! Прекратите это свинство!

Илья презрительно усмехнулся:

— Очень рад, что последний. Не будешь больше надоедать. Я тоже последний раз заявляю: тебе не подчиняюсь, рыбалку буду продолжать!

Игорь потерянно стоял, опустив голову.

— В самом деле, Игорь, — сочувственно сказал Валерка Бодров. — Ты же не из рыбнадзора, зачем себе нервы портишь?

— Я, Валерка, просто как человек не имею права не вмешаться. Должность тут совершенно ни при чем. Я сейчас еду в лагерь за Володей. Его-то вы обязаны послушаться.

— Езжай, езжай, — пробормотал Брегов, повернувшись спиной, — кончился базар, давайте-ка долбить.

Игорь бегом побежал на дорогу. Попутной машины долго не было. Стоять на месте он не мог и в нетерпении зашагал, поминутно оглядываясь. «Не успеют же они за час-полтора прорыть канаву... Не должны успеть. Какой я дурак! Милицией грозил! В истерику впал. Надо было сразу ехать за Володей. Или прямо к Маркову обратиться? Нет, нельзя, некрасиво... Черт, когда же машина будет?»

Только минут через тридцать его догнал многотонный «Уралец». Игорь забрался в кузов. Уверенно и ровно гудел мотор, машина своим мощным ходом как бы сглаживала выбоины дороги — ни толчка, ни тряски, как будто и нет движения, только встречный ветер прохладой овеивает лицо да набегают и отскакивают придорожные деревья. Казалось, будь необходимость, эта машина, так же равнодушно урча, ринется сквозь лес, круша деревья, как спички. Ехать на ней было приятно, не то что на отрядовской трехтонке, которую основательно встряхивало на каждой колдобине.

Пока ехал, немного успокоился. «А может, я зря горячку порю? Все дела бросил, в лагерь Володе жаловаться помчался... Плюнуть надо было — подумаешь, большое дело! Сметься будут... Нет, раз считаю, что они не правы, надо вмешаться. Эх, Брегов, как мальчишку меня высек! Нельзя мне было выходить из себя».

— Что случилось? — сразу спросил Володя, как только Голубев появился на пороге штабного вагончика.

Игорь плюхнулся на топчан.

— Ты знал, каким способом собирается Брегов ловить рыбу?

Володя удивленно посмотрел на Голубева:

— Конечно, знал. В общих чертах. Собираются канаву рыть, сетку ставить. Вряд ли получится, а вдруг?

— Как же ты мог это допустить?

— Да ничего страшного, Игорек, три человека потеряют день-другой, обойдемся.

Игорь застонал от Володиной непонятливости.

— Я же совсем о другом!

И сбивчиво повторил то, что говорил Брегову и Бодрову. Придумал, что могут быть неприятности от начальства. Настаивал, чтобы сейчас же ехать и запретить Брегову рыть канаву.

Володя, глядя на Голубева как на больного, мягко сказал:

— Успокойся, Игорек, ничего страшного не случится. Все равно эту лужицу со временем уничтожат. Неужели ты думаешь, что я бы стал рисковать, навлекать на отряд неприятности? Я уже знал, что к чему. Там собираются что-то строить. Мы даже полезное дело сделаем, дно высушим.

— Когда строить-то будут! Может, через десять лет?

— Может, и через десять.

— Значит, не прикажешь Брегову прекратить это безобразие?

— Нет, — твердо ответил Володя.

Игорь вскочил и заходил по короткому вагончику — два шага вперед, два назад. Получалось, что с разумной точки зрения он не прав. Доказать ничего невозможно, а эмоциям никто не верит. . . Оставалось надеяться, что не удастся прорыть канаву и озерко сохранится.

— Знаешь, Игорек, мне кажется, ты устал. Жара, беготня, нервотрепка. Давай-ка возьми двух-трех ребят, и езжайте в воскресенье на тот берег. Тайгу посмотрите. . .

Алешин не успел договорить — Игорь опрометью выскочил из вагончика.

Канаву все-таки прорыли. На дне по узенькой бороздке удалось пустить ручеек. Все бреговские ребята сбежались посмотреть на чудо рук человеческих. Но куда не произошло — вода едва сочилась. Большинство потеряло надежду на вкусную, настоящую еду. Лишь немногочисленные оптимисты рассуждали о том, куда девать огромное количество рыбы.

— Отвезем в поселок и по рублю за килограмм продадим! — решительно заявил Валерка Бодров.

— Неудобно торговлей заниматься. Сами съедим. Семьдесят человек все-таки.

Кто предлагал посолить сазанов или завялить, кто хотел угостить рабочих мостоотряда.

Но разочарованный Брегов отослал всех на работу, а сам с двумя местными мальчишками принялся таскать по мелководью гнилой бредень, который на глазах расплзался и не захватывал ничего, кроме травы и мусора. Отчаявшись, он оставил бредень на мальчишек и забрасывал удочки то в одном, то в другом месте. Илья был мрачен и зол.

А тем временем ручеек набухал, ширился, набирал силу. Когда Илья пошел взглянуть на канаву, по дну неся, подымая берега, пенистый поток. Илья, царапая голое тело о кусты, бросился к откосу.

— Ребята! Сюда! Скорее!

Его подчиненные быстренько сбежали вниз.

— Пошла! Вода пошла! — коротко объяснил он и двинулся назад.

— Ого-го! — кричал Валерка Бодров, исполняя на берегу

руководного ручья дикий танец. — Тащи мешки, тащи сетку! Вся рыба наша!

Разделся и полез в воду.

Бивали в землю колышки, крепили проволокой металлическую сетку, которая вскоре наглухо перекрыла ручей.

Привлеченные необычной суетой, к протоке спускались работавшие на откосе. Полюбуются минут десять — пятнадцать и с неохотой возвращаются к обыденному делу, завидуя береговским ребятам, которые толклись возле ручья и которых Илья, захваченный строительством рыбьей ловушки, не прогонял. Лишь бетонщики были словно привязаны к машине, старались не смотреть по сторонам, чтобы не расхолаживаться, не чувствовать себя обделенными судьбой. Коля Разин ворчал:

— Нашли время для развлечения! Весь народ взбаламутили.

Когда Игорь Голубев появился у искусственной протоки, там уже шумел поток. С громким всплеском обрушивались берега. Сетку смыло, как соломинку. Печально смотрели береговцы, как уходит на волю богатая добыча. Конечно, ни одной рыбины они не увидели в мутной воде, но предполагали, что она там. Берегов, утешая себя и других, сказал:

— Ничего, останутся лужи, наберем.

Не хотелось Игорю подходить к Берегову, но надо.

— Твой собираются сегодня работать? — спросил он, глядя в сторону.

Илья сухо ответил:

— Не беспокойся, мы все навестаем. — Но вынужден был пресечь явный беспорядок: — А вам что здесь надо? Все идите работать. И чтобы соблюдали график: два часа работы, десять минут перекур.

С сожалением смотрел Игорь, как обрушиваются комки земли, как вода разливается по песчаному берегу протоки широким грязным веером. И безразлично ему было, что люди празднично болтаются. «Надо в самом деле ребятам хоть немного отвлекаться, отдохнуть», — подумал он и пошел по тропинке между запыленными кустами. Студенты, которые попадались навстречу, смущенно отворачивались, завидев мастера, но Игорь мораль не читал, не гнал обратно, а лишь коротко говорил:

— Посмотрите и сразу назад. Нечем там любоваться.

И вдруг он словно на препятствие наткнулся — впереди была Надя. Он уступил дорогу. «Тебя еще сейчас не хватало!» — подумал зло.

— Ты почему со мной не здороваешься? — укоризненно спросила Надя.

Игорь смутился.

— Я здоровался, когда в вашу бригаду приходил.

— Так то со всеми, а не со мной.

Была она уставшая, унылая. На лице застыли капельки бешеного тона. Жалко ее стало, и показалось, будто совершенно к ней равнодушен, и странно было, что когда-то видел в ней что-то особенное.

— Как живешь, Игорь?

— Да так, бегаю туда-сюда. Мастер — должность собачья, все время вертишься, часто без толку.

— Да я не про это. Вообще как?

— Вообще ничего, терпимо.

Надя молча постояла.

— Ну, всего тебе хорошего. Меня девочки отпустили. Пойду посмотрю, как ловят рыбу.

«И что ей от меня нужно? — недоумевал Игорь. — То в тайгу ехать отказалась, в мою сторону не смотрит, а теперь вот сама заговорила. Ничего не понимаю! Может быть, с нею надо по-другому обращаться? Бестолковый я какой-то! Ничего у меня не получается! Платона, пижон, пытаюсь читать, а не могу к девушке подход найти. И мастер из меня никудышный. Делаться-то делается все, и как будто неплохо, но я здесь при чем? Так ничего и не добился в жизни и даже не знаю, чего добиваться надо...»

Игорь поступал в университет на физический факультет, так как считал, что физика дело интересное, современное. И способности кое-какие были, да, видно, стремился маловато. На приемных экзаменах одну задачу не решил и тут же подал документы в другой институт, о котором и узнал-то случайно. Здесь тоже физика и математика, так что можно будет проявить способности, если они есть. Но уже на четвертый курс перешел, а сделал пока еще только одну маленькую работу, которую и научной-то нельзя назвать. Просто взял усидчивостью и вниманием. Правда, обещали напечатать...

В мастера попал не то чтобы случайно, а как-то по инерции. Был членом факультетского бюро комсомола, не раз ездил на стройку, вот и предложили. И Голубев согласился, потому что надо себя воспитывать. Но что-то плохо продвигается самовоспитание, даже не в состоянии остановить сегодняшний разброд, и, что хуже всего, особого желания нет, все стало без-

различно. Скрыться бы сейчас из отряда, не видеть ни грубого Брегова, ни презрительно усмехающегося Гончарова, забыть о бумажках, о бестолковой суете...

По откосу спускались трое ребят. Увидев мастера, повернули назад. Игорь усмехнулся: «Ого, меня, оказывается, побаиваются! Значит, не все еще потеряно».

Он подошел к бригадиру арматурщиков.

— Иван, ты совсем распустил своих ребят! Ну что вы нашли там интересного? Канавы, а по ней вода бежит...

— Они же ненадолго... Сбегают и сразу назад. Честное слово, от этого работа не страдает. Надо же хоть немного развлечься.

Игорь солидно сказал:

— Хорошо, смотрите сами. Вы люди взрослые, должны понимать, что работаете на себя. Я же не могу каждого подгонять, да и не хочу.

— Все будет в порядке, — заверил Иван.

«Все идет не так уж плохо, — убеждал себя Игорь, поднимаясь по насыпи. — Не надо впадать в панику».

Посмотрел он сверху на озерко — как будто ничего не изменилось, блестит вода, садятся на нее речные чайки. Но пройдет несколько часов, и озерка не станет. И он, Игорь Голубев, в этом виноват, потому что не сумел отстоять... Надо было идти к Маркову, даже если бы после этого испортил отношения со всем отрядом.

Всю ночь Игорь составлял наряды. Уже рассвело, а он все накручивал арифмометр, складывал, умножал, вычитал, пока не начал путаться в цифрах. Он немного поспал и решил, что имеет право чуть расслабиться, — сходил искупался, позагорал с полчаса. Еще немного посидел над нарядами и отправился к мосту. Возле бетонного завода встретился Федорченко. Ехидно улыбаясь, он сказал:

— То требовал две машины, а теперь от одной отказались! Не выдержала кишка?

— Кто отказался? Не может этого быть!

— Сейчас только послал ваш самосвал бетон на мост возить.

Игорь бросился на откос — какое несчастье могло случиться? Кран стоял с опущенной стрелой, крановщик лежал в тени. А бетонщиков — ни одного человека.

— Что случилось? — задыхаясь, спросил Игорь.

Крановщик лениво ответил:

— Пошли твои работяги рыбку половить.

Тут только Игорь обратил внимание, что озерка уже нет, а на его месте ровная грязная впадина, по которой бродят, наклонившись, студенты.

«Это же катастрофа! — в отчаянии подумал Игорь. — Все кончено, все! А я вздумал загорать!»

Сперва он старался идти по твердому грунту, потом плюнул на все и зашагал по грязи, подвернув брюки. Кое-где остались лужи, в которых студенты шарили руками; самые отчаянные, должно быть упустив добычу, падали плашмя в воду, азартно вскрикивая.

Игорь увидел Юру Гончарова, который цепко держал за жабры крупного сазана и гордо показывал его ребятам. Вид у Юры был счастливый. Когда он увидел Игоря, то повернулся к нему и, радостно улыбаясь, сказал:

— Вот, впервые в жизни поймал голыми руками!

Игорь едва удержался, чтобы не вырвать у него рыбину и не отхлестать его по лицу.

— Ты что наделал! — прошипел он сквозь зубы. — Где бригада? Почему бросили работу?

Юра перестал улыбаться, нарочито спокойно ответил:

— Там же, где и другие. Разве не видишь?

— Ты на других не ссылайся. Другие с машиной не связаны! Ты зачем отослал самосвал?

— Я отослал? — удивился Юра. — Впервые слышу. Ты лучше у своего дружка крикуна Разина спроси, чья это работа.

— Но ты бригадир и отвечаешь за работу!

Вместо ответа Гончаров громко закричал:

— Разин! Иди сюда, ты мастеру нужен.

Ребята потихоньку удалились.

От группки студентов, стоявших на сухом месте, отделился Разин и босиком зашлепал по грязи. Подошел с виноватым видом, поздоровался и опустил голову.

— Объясни, Коля, в чем дело?

Разин тяжело вздохнул:

— Что уж тут объяснять? Виноваты.

— Нет, ты уж объясни, пожалуйста. Ты в конце концов комсорг бригады.

Юра, устав держать сазана, положил его на землю. Сазан

широко открывал рот, изредка бил хвостом по земле, пытаясь уползти.

Коля Разин, еще раз тяжело вздохнув, начал бормотать:

— Понимаешь, вкальваем, вкальваем, а весь народ с откоса как корова языком слизнула. По этой проклятой луже ползают. Мы держимся. Куда от бетона убежишь? А тут наш дорогой бригадир слинял. Не выдержала рыбацкая душа. Час его ждем, второй. Ну, я и выиграл. Хватит, говорю, ребята, мы тоже люди. Бригадир нас бросил, ребята по лужам развлекаются, пойдемте и мы. Одни возражают, другие соглашаются. Короче, я сказал шоферу: поработай, парень, часок на других. Вот и все.

— Да-а, — протянул Игорь. — Хороши. Особенно ты, Коля. Уж тебе это так просто не сойдет. Это дело командира, конечно, но думаю, что он отправит тебя домой.

— Домой? Меня нельзя домой, — растерялся Коля. — Я без отряда не могу.

— Это уж командир решит, — страдая за него, сказал Игорь. — Ну, а ты, Юра? Неужели не мог подождать до конца смены?

— Не мог, — коротко ответил Гончаров и снова взял в руки сазана. — Гоните меня из бригадиров, я не напрашивался. Зато вот какую рыбину голыми руками взял! А вообще это несправедливо. Другие бригады здесь второй день слоняются, а все шишки на нас.

— Других тоже по головке не погладим, — неловко сказал Игорь. — А теперь, Юра, собирай свою бригаду, бери самосвал и работайте.

— Хорошо.

Многие ребята без напоминаний потянулись к откосу. Другим Игорь коротко говорил: «Работать надо», и они уходили, с сожалением поглядывая на завлекательные лужи. Упорнее всех держались ребята из бригады Ильи Брегова. Делают вид, что послушались, а сами поблизости выжидают, надеясь, что бригадир их не отпустит. Игорю даже смешно стало: будто заблудших овец гоняет.

Наконец он добрался до Ильи Брегова. Три человека по его указаниям обследовали большую лужу. Возле Ильи стояло ведро, наполненное мелюзгой.

— Не рассчитали, — сказал он, криво усмехаясь. — Думали, вода будет медленно течь и мы всю рыбу прямо в мешок...

Зря время потеряли. Но ты не беспокойся: упущенное мы наверстаем. Все, что можно, из ребят выжму.

— Вот сейчас и начинайте наверстывать.

Илья с хмурым видом попросил:

— Разреши двух человек оставить. Здесь еще рыба есть.

— Хорошо, двух человек оставь, а сам иди организуй работу. За эти два дня народ разболтался.

Брегов не стал спорить.

Грязная, мокрая плешь опустела. Праздник покорения природы окончился. Лишь два человека азартно обшаривали лужи.

8

— Что ж, ребята, — сказал Марков. — Сейчас у меня есть немного времени. Пойдемте посмотрим, как ваши работают. Давно собирался, да все некогда.

Втроем вышли из конторки. Марков подставил лицо солнцу.

— Хорошо! Прокалишься солнцем — никакая простуда зимой не возьмет. У нас здесь солнца больше, чем на юге.

— Как ездило, Владимир Николаевич, по Америке? — спросил Володя.

— Впечатлений, конечно, много. В двух словах не расскажешь. Разное встречалось — и хорошее, и плохое. Кое-что у них нам кажется диким. Ну да об этом вы прочтете в любой газете. Любопытно вот что: когда рассказывал о нашей магистрали, удивлялись, некоторые даже не верили, что мы на такое способны. А ведь они тоже не лыком шиты, знают, что такое размах. И наш бескесонный метод произвел хорошее впечатление. Конечно, ничего нового в нем нет. Но на такой большой реке никогда не применялся. А вообще-то, ребята, хотите верьте, хотите нет, здорово тянуло сюда, временами прямо-таки тосковал.

— А давно вы здесь?

Марков улыбнулся:

— С самого начала, конечно. Вы тогда еще и не слышали, что такое БАМ. Тогда здесь был сплошной бурелом, а сейчас видите — и пенька нет. Со временем снесут эти бараки, новые деревья посадят.

Поднялись на откос. Марков предложил:

— Пойдемте-ка вдоль вашего участка.

Игорю сразу бросились в глаза многочисленные трещинки

на бетоне. И хотя работа давным-давно была принята, он боялся, что Марков все забракует. Марков стал неразговорчив, нахмурился, как бы нехотя смотрел на бетонные квадраты. Рядом с коренастым уверенным начальником Игорь почувствовал себя излишне долговязым, каким-то легковесным. «Вот сейчас разгон даст и за бетон, и за озерко!» Но Марков взглянул в ту сторону и ничего не сказал. И трещин как будто не замечал.

Подошли к бетонщикам. Марков внимательно смотрел, как бегают ребята, и такое у него было лицо, словно он заметил что-то интересное. Новоиспеченный бригадир Виктор Рындин не обращал внимания на высокое начальство. «Не знает ещё обхождения, — усмехнулся Игорь. — Должен бы подойти и давать объяснения, если потребуется».

После рыбной эпопеи провели заседание штаба, на котором здорово досталось всем бригадирам, а в первой бригаде — собрание. Все чувствовали себя виноватыми, и никто даже слова не сказал против Гончарова, да и не было в этом необходимости: понимали, что бригадиром ему нельзя оставаться. Зачем же угнетать его еще и осуждающими словами? Но когда Володя предложил отправить Колю Разина домой, бригада взбунтовалась, на что, собственно, и рассчитывал командир. Начали кричать, что он лучше всех работает, что такими кадрами разбрасываться нельзя. Решили записать ему два нерабочих дня.

После собрания счастливый Коля признался Игорю:

— Я же ведь не только из-за денег сюда приехал. В Питере мог бы неплохо заработать. Привык к отряду. А жене это не скажешь: обидится. Да и сам я толком не знал.

В конце концов неудачная рыбалка пошла на пользу Игорю: его слушались, с ним не пререкался даже Илья Брегов, дисциплина в отряде стала идеальной.

— Четко работают, — сказал Марков. — Будь я лет на пятнадцать моложе, сам бы взял лопату...

— Владимир Николаевич! — решительно обратился к нему Игорь. — Приходится делать много лишней работы. Стрела не может подать бетон на самый верх. Время теряется и силы. Сами видите, сколько делается вручную.

— Ты мне уже об этом говорил! — недовольно сказал Марков. — Лишняя работа? Да, лишняя! Ее будет достаточно, идеального порядка мы не скоро добьемся, а делать надо. Ребята молодые, им полезно для развития мускулатуры. Побегают вот так, а когда станут инженерами, будут думать о том, чтобы

другие зря усилия не тратили. Вот так-то, — без улыбки заключил Марков. — Другой край мы не можем выделиться. А ты этот факт отрази в нарядах. Пограмотней так. . .

Довольный своей хитростью, Игорь сказал:

— Я отразил, но нам срезали подноску бетона вручную. Дескать, это липа — при кране работаете. А какая же это липа? Сами видите. . .

— Хорошо, разберемся, — прервал его Марков. — Что ж, пора идти. Молодцы, неплохо работаете. Успеха вам!

Игорь и Володя двинулись за ним.

— Не надо меня провожать, я не министр. А впрочем, знаете что? Отвезу-ка я вас на мост! Посмотрите, что это такое.

Оба уже побывали на мосту, но не посмели отказаться: о мосте Марков говорил так, будто хотел показать любимого сына.

«Вот какое у меня положение! — с тщеславной гордостью подумал Игорь. — Куда хочу, туда иду, и не надо ни у кого отпрашиваться». И неловко было, что в это время ребята будут выкладываться на бетоне, что им некогда передохнуть. Так же неловко было, когда Юру Гончарова снимали с бригадиров. В то время как Гончаров, нарушая дисциплину, рыбачил по лужам, Игорь загорал. Но никому бы и в голову не пришло упрекнуть его за это. . .

Наверху Марков сказал:

— Посидим, ребята, покурим. Я с четырех утра на ногах.

Сели на рельсы, закурили. И Володя за компанию взял сигарету.

— Владимир Николаевич, а трудно было настоять, чтобы строить мост по новому способу? — решил использовать подходящий момент Игорь.

— Жить вообще трудно, — ушел от ответа Марков. — Ничто легко не достается.

— Ведь вы, Владимир Николаевич, многим рисковали. . . Могло же и не получиться.

Марков нахмурился:

— Вот, вот. . . Риск, рисковали. Это многие серьезные люди говорят и пишут. Как будто мы авантюристы, а не инженеры. Все было рассчитано и взвешено. Не на удачу надежда была, а на расчет. И сейчас еще кое-кто рассуждает, что нам просто повезло, а победителей, дескать, не судят. . .

— Но ведь вас могли снять с работы, — продолжал настаивать Игорь. — Ради чего вы все это затеяли? Без разрешения взять и начать строить. . .

Марков засмеялся:

— Вот прицепился, как репей. Во-первых, не я один придумал, нас было много. И не так это на самом деле было: дескать, Марков махнул рукой — валяй, ребята, строй. И согласовывали, и увязывали, и сомневались. В очень даже высоких сферах беседовали. Какой же толковый инженер откажется от заманчивой идеи — сроки строительства сократить раза в полтора и уменьшить трудоемкость? Вот и стучались. А насчет должности — как видишь, не сняли. А сняли бы, так безработным не остался бы. . . Вот так, брат Игорь, за должность не гонись, она сама тебя найдет. Или даже вернее: если не будешь за ней гнаться, быстрее найдет. С должностью, как с женщиной. . .

Послышался слабый жалобный свисток.

— Владимир Николаевич, — сказал Алешин. — Дрезина. Может, на ней и доберемся к мосту?

— Нет, на ней людей запрещено перевозить. Справедливо скажут: почему это Маркову можно прокатиться, а Иванову нельзя? У нас правила для всех одинаковые. Поедьте на «газике». Или у вас срочные дела? Нет? Ну, тогда не пожалеете, что потеряете время.

Спустились к конторе, сели в запыленную машину. Марков шоферил сам. Володя и Игорь устроились на заднем сиденье. Начальник уверенно вел «газик», не сбавляя скорости перед встречными самосвалами, хотя пыль прямо сыпалась с ветрового стекла.

— Я здесь сотни раз ездил, с закрытыми глазами могу, — по-мальчишески похвастался Марков.

«Все-таки это удивительный человек, — подумал Игорь. — Далеко не каждый решится пойти наперекор общепринятому».

Сам он за всю свою жизнь один-единственный раз проявил самостоятельность, в десятом классе, когда нужно было писать сочинение «За что я люблю Маяковского». Игорь, обозлившись, что кто-то ему навязывает свою точку зрения, взял да и написал: «За что я не люблю Маяковского». Поднялся шум, Игоря вызвали к директору, который назвал его хулиганом. Целую неделю Игорь ходил гордый, а потом сочинение все-таки переписал: стало жаль пожилую учительницу литературы.

«Вот так и приходится на каждом шагу поступать своим, пусть неправильным, мнением. Все мы мудрые: знаем, что

положено делать, а что нельзя. А Марков, должно быть, и в мелочах не такой...» — с завистью думал Игорь.

Машина остановилась на берегу реки возле дощатого сарая. Круто вверх поднималась насыпь, и люди наверху казались крошечными. Мирно и незаметно текла мимо широкая река, и только по тому, как возле опор возникали водовороты, чувствовалась мощь и несокрушимая сила. Снизу мост представлялся громадой, и казалось чудом, что сравнительно тонкие опоры выдерживают эту чудовищную тяжесть. Половина четвертого пролета повисла над водой, не дойдя до следующей опоры. И тоже казалось чудом, что эта половина не отламывается.

— Вот, ребята, наш мост, — с гордостью сказал Марков. — Все трудное позади, все опоры стоят. Теперь, как говорится, обычные трудовые будни. Впрочем, всякое случается, не всегда спокойно спишь. Сейчас я вас передам Матвею Петровичу. Он вас проводит вон туда, на самый верх фермы. Не были там? — Не были.

— А сегодня будете, — и весело рассмеялся.

Матвей Петрович, высокий худощавый мужчина, молча принес две оранжевые каски и первым начал подниматься к мосту по деревянной лестнице. Пока добрались до верха, Игорь запыхался. Остановились отдышаться.

— И каждый раз нужно так взбираться? — поинтересовался Игорь.

— Мы-то что, — неохотно ответил Матвей Петрович. — А Марков раз по пять-шесть в день бегаёт. Как спортсмен. Ну что, полезли на ферму? Без моего разрешения никуда ни шагу.

Теперь он поднимался последним.

Сперва Игорь поглядывал вниз — на рельсы, на воду, но начала кружиться голова, и он стал смотреть только вверх, на ступеньки ржавой металлической лесенки.

Наконец добрались до ровной дощатой дорожки. Матвей Петрович сказал:

— Дальше ходить незачем, и отсюда все видно.

Остановились у металлического ограждения, осмотрелись. Отсюда все казалось незнакомым. Темными букашками виднелись на откосе люди, сгладился безобразный вид барачных и производственных строений — отсюда они казались серыми, чуждыми кубиками среди небольших водоемов и деревьев. Зато тайга и река словно стали ближе. Рельсы на левом бе-



регу блестящей нитью уходили в темнеющий лесок и там пропадали, и только до самого горизонта угадывалась просека. На реке под тонким слоем воды гигантскими рыбинами просматривались песчаные отмели.

Многочисленные протоки слепили глаза отраженным светом.

— А вон смотри, где наш лагерь! — Володя показал рукой в сторону березовой рощицы.

Палатки были едва различимы. Дальше, за березовой рощицей, река делала изгиб и терялась среди тайги. Куда-то туда они ездили на сенокос.

Несколько дней назад Игорю приказали выделить двадцать человек для шефской помощи колхозу. Он попытался использовать старый прием: пригрозил, что пожалуется Маркову. «Он-то и приказал студентов отправить», — осадили его. Пришлось подчиниться. Игорь решил дать возможность бетонщикам отдохнуть. Снял полбригады, на их место поставил других ребят. И сам поехал, поскольку не было срочного дела, а хотелось посмотреть новые места.

Обратно возвращались вечером. Ребята вначале спорили, как всегда, о чем придется, а как стемнело, притихли — кто задремал, кто задумался. Игорь стоял на носу катера, смотрел на одинокие огоньки, печально мигавшие на сопках, слушал, как хлупает вода. Ему было хорошо и грустно. Весь день он старательно не замечал Надю, но внутренне вздрагивал, когда она смеялась чьей-нибудь шутке, и обижался, что ей весело без него. «Красиво, правда?» — вдруг услышал ее голос. У Игоря дыхание перехватило от счастья. Снова Надя стала дорогой и близкой. «Сама подошла, умница», — подумал растроганно. Они тихонько разговаривали, а катер все шел и шел против течения, и казалось, что никого сейчас в мире нет, кроме его и Нади да воды, слабо отражавшей свет гаснущего неба. А до моста было еще часа два ходу, и все это время принадлежало Игорю. Но подошел какой-то пожилой мужчина в форме речника, сказал: «Надя, хватит тебе мерзнуть, я тебя в каюту устрою». Пока Игорь размышлял — отшить его или промолчать, Надя поблагодарила и, не прощаясь, пошла. «Что это такое! — чуть не закричал Игорь. — Какое-то издевательство!» Бежать бы прочь с этого катера, скорее бы добраться до моста, но неповоротливая посудина двигалась еле-еле. . . Игорь то бегал по палубе, то ненадолго присаживался и снова вскакивал. Подул пронизывающий ветер, от холода начало трясти.

Он спрятался возле стеклянной рубки. Окончательно стемнело, не было видно даже воды, но небо еще не погасло, багровел над черными сопками поздний закатный свет, тяжело действовавший почему-то на Игоря.

Настроение было — хоть в воду бросайся... В стекло постучали. Игорь обернулся и увидел улыбающееся лицо Нади. Она знаками показала, что заперта. Игорь снова ожил, мысленно отругал себя за психованность. Они стояли, разделенные стеклом, пытались разговаривать, но ничего не было слышно. Игорь пальцем показывал то на небо, то на воду, сообщая, что звезды отражаются в реке. Надя согласно закивала головой. Игорь недоумевал: если хотела с ним быть, зачем пошла в каюту? Но не отходил. Чтобы не стоять истуканом, улыбался так, что вскоре начало сводить скулы. За поворотом сразу открылся освещенный мост, отраженные огни которого протянулись, казалось, до самого катера. Надя заулыбалась, махнула рукой на дверь: дескать, скоро выйду... В машине она села рядом...

— Хватит, насмотрелись, — сказал Матвей Петрович. — Пора спускаться.

— Надо сюда экскурсию организовать, — предложил Игорь. — А то ребята так ничего и не увидят.

Он представил, как они с Надей будут здесь стоять и любоваться рекой. Жизнь была прекрасна — казалось, прыгни сейчас с моста, и начнешь парить в воздухе.

— Организуем, — согласился Володя. — Я поговорю с Марковым.

9

Бригаде Ильи Брегова досталось нудное и, по-видимому, безнадежное дело. Нужно было на новом откосе снять грунт сантиметров на сорок — пятьдесят, а в иных местах и побольше. Попробуй-ка тройной переброской избавиться от сотен тонн песка! Бились два дня, подготовили участок длиной метров в пять, а впереди немногим меньше полукилометра.

Игорь прикинул — при такой скорости и до конца сезона не справиться. А нужно еще плиты уложить, разбросать гравий, закрепить арматуру, а потом уже бетонировать. Перестарались те, кто намывал на полотно речной песок. Возможно, и проектировщики немного ошиблись. Во всяком случае, положение трудное: на старом откосе бетонируются последние метры, ар-

матурщикам по своей специальности делать нечего, бросают песок. Нужно искать выход, но какой?

Чтобы легче думалось, решил взяться за лопату. На откос пришел во время перекура.

— Не получается? — участливо спросил.

Брегов зло ответил:

— Побросай сам этот проклятый песок — узнаешь, что это такое!

— Я за этим и пришел, — кротко ответил Игорь.

— А я придумал, что надо делать! — воскликнул сосредоточенно молчавший Валерка Бодров. — Сколотить салазки, положить через ров доску и таскать. Не надо будет три раза перебрасывать песок с места на место. Выделяй, Игорь, премию из фонда мастера!

Илья подумал и согласился:

— Даю четыре часа сроку, действуй. В помощники возьми... да вот Сашу Панина.

Валерка, не дожидаясь конца перекура, побежал искать инструмент.

— Будем выкладываться полностью! — приказал Илья. — Работаем до темноты. Если кто после смены будет держаться на ногах, тот лентяй! За лопаты! Два с половиной часа работы — десять минут перекур.

«Нет, это не способ, — думал Игорь, бросая песок. — Люди измотаются, а толку никакого. Что же придумать? Бульдозер здесь не поможет... Пока единственная надежда на Валеркину тележку. Надо что-то придумать!»

Ничего важнее песка сейчас не было. Если решит проблему — значит, чего-то стоит как мастер.

Игорь работал с удовольствием. Приятно чувствовать, что у тебя хорошее здоровье, крепкие мышцы. Вонзаешь острую лопату в плотный песок, слегка замахваешься, и вот срывается с лопаты песок в виде символического сердца, теряет первоначальные очертания и бесформенной россыпью падает за канавой. Чисто физическая работа, не требующая никаких умственных усилий. Неплохая работка для отдыха головы. Неплохая, если бы не была досадной помехой, созданной по чьей-то небрежности. Бросаешь, бросаешь, как хорошо отлаженная машина, а следов работы не видно. Вязнут усилия в песке.

Часа через два Игорь устал, начал поглядывать на Брегова — не объявит ли перекур. Но Илья невозмутимо кидал пе-

сок и еще успевал следить, как кто работает. Особенно часто подгонял он гиганта Бориса Лашевского. Игоря тоже раздражал этот медлительный парень. Разворачивался он неторопливо, как экскаватор. Успевал за ухом почесать, пот с лица стряхнуть. Он любил работу большую, выигрышную — взвалить на плечо бревно, поднять на пари тяжелую плиту или подтолкнуть застрявший грузовик. А на мелочи ленился себя растрачивать.

— Борис! — сердито крикнул Брегов. — Ты вкалывай, рекорды будешь дома ставить.

Лашевский нехотя поднял голову, скривился, будто комар в губу укусил, потом уж взглянул на бригадира.

— Я за тобой пять минут слежу. Ты за минуту бросаешь четырнадцать лопат, другие по двадцать три.

— А-а, — меланхолически протянул Борис. — А что?

— Шевелиться, говорю, надо! Скипидаром тебя намазать, что ли? Даже мастер лучше тебя работает!

«Ничего себе комплимент!» — подумал Игорь, нисколько, впрочем, не обидевшись.

Он уже устал, так и подмывало подойти к Валерке Бодрову, на правах мастера поинтересоваться, как дела с салазками. Но знал, что ни за что этого не сделает. Нужно втянуться в работу, не думать о времени, о песке, пусть руки действуют как бы сами собой. «Физический труд оздоравливает психику, — подумал с усмешкой. — Вот так бы и жить здоровой, простой жизнью. Так нет же, тянет еще к чему-то!»

— Бригадир, а бригадир! — закричал Валерка Бодров. — Общественный контроль докладывает: перекурить пора!

Илья взглянул на часы, поднял над головой скрещенные руки. Расположились кто на брезентовых куртках, кто на дощечках, кто прямо на песке. Сразу же начали обсуждать, что делать с песком. Выдвигались самые фантастические предложения. Илья не препятствовал, но предупредил: «Перекур — личное время каждого! Делайте что хотите. Можете меня ругать, если не боитесь. Но во время работы никаких споров, разговоров и тому подобного».

Борис Лашевский начал бубнить, что, дескать, так работать нельзя, что времена египетских фараонов, когда все делали вручную, давным-давно прошли. Его одернули:

— Есть мысль?

— Нет, но я...

— Раз нет — помалкивай!

— О чем спор, — лениво вмешался Валерка Бодров. — Головой надо работать! После перекура начнем испытывать нашу механизацию. Учитесь, пока я жив!

Валерка пощипывал старательно выращиваемые усики, весело блеснул глазами и, казалось, радовался даже тому, что с песком никакого сладу нет. Никогда Игорь не видел его грустным, расстроенным, даже просто огорченным. Какой-то у него тупой, животный оптимизм! «Нет, не хотел бы я быть таким, как он», — подумал Игорь.

Ничего особенного Валерка не придумал, сколотил обыкновенный ящик, прибил веревку — вот и все изобретение. Бросили в ящик три лопаты песка, потащили по доске. Еле справились вчетвером. Нарастили борта, по-иному закрепили веревку, доверху набросали, поволокли и застряли на полдороге.

— Все ясно, — сказал Илья. — Бросай механизацию. За лопаты!

— Илья! Подожди! — Валерка вскипел энтузиазмом. — Все получится! Нужно ролики приделать, тогда легко пойдет!

— Ты бы еще самосвал сконструировал!

Валерка вздохнул и поплелся за лопатами.

— Полумерами здесь не обойтись, — задумчиво сказал Игорь. — Есть одна идея. Надо с Марковым посоветоваться.

Маркова в конторе не было. Игорь решил ждать его хоть до ночи. «Он должен понять, помочь! — убеждал себя Игорь. — Он человек смелый! На такое крупное дело решился, а здесь суший пустяк».

Он слонялся по коридору, сидел на крыльце, ходил по дорожке, поминутно оглядываясь, чтобы не пропустить начальника. «Куда же он пропал? Не мог посидеть на месте!»

Наконец Марков появился возле конторы, и его сразу же окружило несколько человек. Игорь подошел поближе. Теперь он Маркова ни за что не отпустит, даже если придется за рукав держать. Но люди не собирались расходиться, а ждать больше не было терпения — решалась судьба отряда. Он протиснулся вплотную к Маркову, отчаянно закричал, оборвав его на полуслове:

— Владимир Николаевич! Вы меня извините! Нужно срочно поговорить! Совершенно неотложное дело.

Марков с удивлением посмотрел на расстроенного, взъерошенного Игоря, развел руками.

— Извините, товарищи, придется заняться молодежью. Молодым, как говорится, у нас дорога. — И обратился к Игорю: — Подожди меня, сейчас я приду к себе. Но учти, на пять минут, не больше. Чтоб все ясно было, четко, коротко.

Игорь остановился у входа в кабинетик Маркова, да так и не сдвинулся с места за те пятнадцать — двадцать минут, что ждал его.

— Пойдем побеседуем, раз такая срочность, — сказал появившийся Марков.

Игорь примостился на краешке стула.

— Владимир Николаевич, дело такое... На откосе надо снимать песок слоем до полуметра. Бригада работает по четырнадцать часов, а подготовлено всего несколько метров.

— Что предлагаешь?

— Единственный выход — сантиметров на двадцать завысить уровень откоса. Иначе мы ничего не сделаем.

— Так, так, — Марков медленно постучал карандашом по столу и насмешливо посмотрел на Игоря. — Предлагаешь, значит, от проекта отступить... Если бы все так делали, легкая бы жизнь настала!

— Владимир Николаевич! — вскричал Игорь. — Зачем делать совершенно ненужную работу? Ну, перестарались гидронамывшики, так за них машины работали. А сейчас их ошибку люди вручную исправляют! Ведь в конечном счете ничего не изменится, если оставить слой песка. Забетонируем как положено. Пустяковое дело!

— Не изменится ничего, говоришь... Пустяковое дело... Так, извини, зачем же ты меня из-за пустяков беспокоишь?

Игорь растерялся.

— Я... мне нужно ваше разрешение.

— Разрешение на нарушение? — Марков лукаво посмотрел на него. — Ты ведь будущий инженер, руководитель... Должен уметь рассчитывать, предвидеть, ну и отвечать в конце концов за свои действия.

— Так что же делать, Владимир Николаевич? — взмолился Игорь.

— Как что? Работать. Во всяком случае, забетонировать откос вы должны строго по проекту.

И пододвинул к себе папку, давая понять, что разговаривать больше не о чем.

Из кабинета начальника Игорь вышел обескураженный и расстроенный.

«Боязливый стал Марков, — думал с обидой. — Вот так всегда: один раз в жизни человек решится на смелый шаг, а потом осторожничает. Такую ерунду не мог разрешить! Теперь мы, конечно, не справимся. Опозорились!»

Не хотелось никуда идти. Как теперь смотреть в глаза ребятам? Никто вроде не виноват, но от этого не легче. Нужно было как-то иначе разговаривать с Марковым, настойчивей, убедительней. Расчеты сделать, чертежи. . . Теперь уже поздно сожалеть. «Эх и растяпа я! — ругал себя Игорь. — А ведь Марков как-то неопределенно себя вел, — вдруг вспомнил он. — Намекал, что важен конечный результат. . . Так разрешил он или нет чуть изменить технологию? «Надо уметь рассчитывать, предвидеть, отвечать. . .» Попробуй пойми, что он этим хотел сказать».

Игорь сел на бревно. Достал блокнот и карандаш, нарисовал профиль откоса, изобразил слой гравия, слой бетона. И так и этак прикидывал — получалось нормально, нужно только чуть передвинуть верхний «зуб» да слегка утопить плиты. Ни ширина дороги не изменится, ни угол откоса. Почему же Марков не поддержал его? Кажется, все ясно. Маленькое усовершенствование, а какая экономия времени, труда! Но не снять тридцать сантиметров песка? Страшно! «Надо зависить первоначальный уровень! — убеждал себя Игорь. — Но ведь если ошибусь, не я один пострадаю, а весь отряд!» Он уже сожалел, что сунулся со своим предложением к Маркову. Шло бы дело само по себе — что смогли бы, то и сделали. И не надо было бы терзаться. . .

Ничего не решив, Игорь пошел на откос, чтобы отвлечься грубой физической работой. До завтрашнего утра есть время посоветоваться и решить.

— Как твоя идея? — поинтересовался Брегов.

— Пока неизвестно. Боюсь, что ничего не получится.

— Никакие идеи не помогут, — с сожалением сказал Илья. — Надо рогами упираться.

— Посмотрим. . . Лопата найдется?

— Решил личный вклад сделать? Давай-давай.

Время тянулось медленно. Росла гора песку вниз, а весь откос был изрыт глубокими траншеями, лишь небольшой клочок радовал глаз ровной поверхностью.

На перекурах ребята уже не шутили, не выдвигали проек-

ты. Ложились или садились прямо на песок, сберегая каждую минуту отдыха. Лишь неугомонный Валерка Бодров трещал без умолку, но потом и он затих.

Уже начало темнеть, зажглись фонари на бетонном заводе, а Брегов все не отпускал ребят. Машина пришла. Бетонщики и арматурщики сидели в кузове, а Илья все так же невозмутимо бросал лопату за лопатой, как будто время для него остановилось. «Оригинальничает, хочет показать, что он жертва! — злился Игорь. — И брюки на коленях продраны, как будто нельзя зашить». Наконец, видя, что Брегов не намеревается снимать бригаду, Игорь крикнул:

— Все! На сегодня хватит! Не будем машину задерживать. Брегов остановился.

— Прячьте лопаты и домой.

Уставшие, молча забирались в машину. Игорю показалось, что все заметно похудели. «Нет, так дело не пойдет! — решительно подумал Игорь. — Ребята окончательно выдохнутся. И я буду виноват. Надо завесить уровень, а там будь что будет!»

Он рассказал Алешину о своем разговоре с Марковым.

— Не знаю, — нерешительно сказал Володя. — Если не разрешает, так, по-моему, не стоит рисковать. . .

— Надо рисковать! — резко произнес Игорь. — Иначе полнейший завал!

— Смотри сам. Ты — мастер.

Игорь вскипел:

— Ты хороший парень, Володя, но любишь спокойную жизнь, боишься ответственности!

— Я боюсь ответственности? — удивился Володя. — Ведь в случае чего мне достанется больше всех. А в этих сантиметрах я не разбираюсь и не считаю нужным разбираться.

— Значит, решено: повышаем уровень на... двадцать пять сантиметров! И давай еще раз как следует просчитаем. . .

Утром Игорь пришел в бригаду Ильи до начала работы, отозвал его в сторонку.

— Прекращайте эту волынку! Поднимем уровень на двадцать пять сантиметров. Вон от того колышка почти ничего не придется снимать. А здесь, где много срезали, побольше гравия насыпайте, и вся любовь!

Илья, глядя в сторону, угрюмо заявил:

— Я не буду гнать халтуру! Как делали, так и будем делать, пока мне официальную бумажку не принесешь.

Игорь с веселым изумлением посмотрел на Брегова.

— Какая халтура! Все нормально и, как говорится, технически обоснованно! Ни о какой бумажке и речи быть не может. Тебе вполне достаточно моего устного распоряжения. А-а, я понимаю, тебе нравится, когда хвалят за тщательность подготовки откоса, другим в пример ставят. . . Так не бойся, ругать не будут. У тебя репутация установилась твердо.

Брегов был изумлен неожиданной развязностью и натиском Игоря, пробормотал: «Ну и ну!», но настаивал на своем:

— Сказал, не буду делать — значит, не буду!

Игорь, ни секунды не сомневаясь, что Брегов ему подчинится, сказал:

— Будешь делать так, как решено! Это приказ, если угодно. Давай-ка прекратим базар, наши пререкания выглядят смешно. И вот еще что. Кончай ты это искусство для искусства — подгонять плиты до миллиметра. Никому не нужна тщательность. Времени потеряно много, и не стоит его тратить на пустую работу. А сейчас пойдем уровень прикинем, ребята пусть пока отдохнут.

Растерянно усмехаясь, Илья спросил:

— Что это ты стал таким шустрим?

— Нужда заставит! — весело сказал Игорь, хотя на душе кошки скребли.

10

Володя Алешин постучал по столу пустой консервной банкой.

— Начинаем собрание. Сегодня нужно обсудить, как оплачивать больным. У штаба есть предложение — три дня оплачивать по пятьдесят процентов, потом — ничего.

Загомонили, заспорили все разом. Из общего шума взвился звонкий голос Валерки Бодрова:

— Жирно будет! Завтра ложусь в лазарет, никто меня не поднимет! Долой штаб!

Володя, улыбаясь, переждал гвалт и, не напрягая голоса, сказал:

— Пошумели, и хватит. Давайте по-деловому обсудим, иначе на сон времени не хватит. Валерка, не надрывай горло, пригодится. Выступайте по порядку.

Но Валерка в восторге вскочил со скамейки, завопил:

— Хороший порядок! Я буду работать, а кто-то пользоваться! Коммунизм раньше времени хотят установить!

— Какое у тебя предложение? — невозмутимо спросил Володя.

— Какое? Это и ежу понятно! Конечно, не оплачивать.

Валерка победоносно огляделся и, довольный, плюхнулся на лавку. Он любил, когда взбаламучиваются общественные страсти, кипят мнения и люди наскакивают друг на друга.

«Да он, оказывается, еще и корыстолюбив! — с неприязнью подумал Игорь. — Потому и всех в этом грехе подозревает». Вспомнил, как Валерка недавно высказывался о Володе Алешине, который сам едва держался на ногах, но ухаживал за больными — лекарство готовил, еду подавал. Валерка и в этом нашел корыстные мотивы: дескать, хочет втереться в доверие к ребятам, чтобы премию получить. И не со зла это Валерка заявил, а просто о других стимулах не ведал.

Несколько голосов подхватили:

— Правильно! Правильно! Ничего не оплачивать!

Володя, рассердившись, застучал консервной банкой, громко закричал:

— Прекратите шум! Закрою собрание!

Затихли: Володю редко видели в гневе.

Вскочила Надя Ивина.

— Это неправильно! Это подло! — Голос сорвался, она закашлялась. — Это же наши товарищи! Разве они виноваты, что заболели! Неужели из-за лишней десятки совесть будем продавать? Больным и здоровым нужно платить одинаково, по-другому нельзя!

— А ты отдай мне эту десятку! — предложил Валерка. — Я за твоё здоровье в кабаке схожу.

Надины слова вызвали ответные реплики, и началась словесная перепалка.

«Молодец Надя!» — растроганно подумал Игорь. На заседании штаба он тоже предложил платить всем одинаково, но вынужден был согласиться с доводами командира. Чувства чувствами, а расчет расчетом. Ребята, которым приходилось работать за двоих, по справедливости должны иметь больше. Так что не о чем спорить, и в конце концов собрание согласится с мнением штаба, а просто все хотят покричать, высказать свое несогласие по пустякам. А до серьезного дойдет — рта не откроют. «Какой все же ерундой занимаемся! — с сожалением подумал Игорь. — Спорим, грыземся из-за ничтожного мате-

риального преимущества. И к несчастью, оно имеет кое-какое значение, для многих даже решающее».

Володя снова призвал собрание к порядку и спокойно убеждал:

— Я должен сказать, что оплачивать полностью — вряд ли реально. Если б это был единичный случай... Надо и о здоровых подумать.

Разговор пошел по организованному руслу. Попросил слова Сережа Петрушин, тихо заговорил:

— Я хочу сказать: кто в первую очередь болеет? Те, кто работают по-настоящему. Они на работе слабеют, организм не сопротивляется. По-моему, больным нужно оплачивать не три дня, а все время, пока болеют. Никто лишнего не пролежит, совесть мы еще не потеряли. А другого я ничего не могу придумать.

«Вот из кого выйдет хороший человек, — подумал Игорь. — Да почему выйдет? Уже есть!»

— Предлагаю больным премию давать! — выкрикнул Валерка.

Игорь не сдержался:

— Бодров! Прекрати балаган! Если ничего не соображаешь, так помолчи!

— Председатель! Мастеру слова не давали. Почему ругается?

— А как считают сами больные? — спросил кто-то.

Володя попросил:

— Зовите их сюда. Тех, кто может ходить.

Наступило затишье. Ребята повернули головы, со странным любопытством уставились на фигуры, вышедшие на свет. Среди больных Игорь увидел Колю Разина, и его кольнуло раскаяние: замотался со своими делами и ни разу Колю не навестил...

— Как жизнь на курорте? — спросили Колю.

— Завтра на работу пойду. Не могу больше лежать, известно.

На него закричали:

— Ты что, с ума сошел? Лежи, ты и пустую лопату не поднимешь! Без тебя справимся.

Коля потерянно улыбнулся, тронутый чуткостью.

— Ну что, болящие, скажете? Как вам оплачивать? — спросил командир.

Толкнули Разина — говори, дескать, ты самый голосистый

и задиристый. Но Коля сказал слабым голосом нерешительные слова:

— Нам неудобно. Разбирайтесь сами. Конечно, всем хочется побольше денег привезти, но надо, чтобы никому не обидно. И вообще пусть только здоровые решают.

— А много ли среди нас тех, кто ни разу не болел? — спохватился Володя. — Поднимите руки.

Оказалось, не так уж много. Неизвестно, кого больше.

— Нет, решать надо всем вместе. Зачем же больных исключать из общества? Кто еще хочет сказать?

Слова попросил Илья Брегов:

— Упустили самое важное. Оплата, оплата... Не подумали, как работать будем. Как ни плати, главное, чтобы человек работал. Если он болеет и на работу ходит, какой от него толк? Он отмечается, а силы нет работать. Мне такие не нужны. Заболел — отдыхай. Значит, больным надо платить. Не полностью, конечно.

— Бригадиры должны выявлять больных и направлять в лагерь.

— Кто там будет разбирать, больной или у него психология...

Поднялся Юра Гончаров.

— Не понимаю, о чем спор? Мы живем при социализме. Как известно, принцип нашего общества — от каждого по способностям, каждому по труду. — Он развел руками, как бы извиняясь, что приходится повторять столь очевидную истину. — Какой же труд, какая польза обществу от тех, кто болеет? Никакой. За что же, спрашивается, платить? У нас, как вы знаете, профсоюза нет. Конечно, жалко ребят. Но почему должны другие страдать? Я, например, не скрываю, что сюда приехал заработать денег, пожертвовал отдыхом, как и любой из нас. Так о чем спорить? Мы все в равном положении. Так что давайте голосовать и будем отдыхать.

Доказательная речь Юры Гончарова произвела хорошее впечатление. Раздались возгласы:

— Правильно! Молодец! Давайте голосовать.

— Итак, будем голосовать, — сказал Алеша. — Поступило три предложения...

— Два, — поправил кто-то.

Несколько минут шумно разбирались, сколько же предложений. Установили, что все-таки три. Большинство проголосовало за оплату трех дней по пятьдесят процентов. «Стоило из-

за этого полтора часа терять, — презрительно подумал Игорь. — Теперь стыдно будет смотреть в глаза друг другу».

Он подождал, пока все разойдутся, и медленно пошел по тропинке, надеясь встретить Надю. В стороне на лавочке, врытой в землю, кто-то сидел.

— А я и не знала, что ты такой... делец! — Игорь узнал Надин голос.

«С кем же она так? — ревниво подумал Игорь. — Снова какие-то тайны...»

— Я делец? Ты меня с кем-то путаешь!

«Гончаров... Значит, она с ним. Этого следовало ожидать. Но зачем она тогда ко мне подходит, разговаривает, улыбается?»

— Не знала, что ты только о деньгах и думаешь!

Не таясь, Юра громко и гневно произнес:

— Во-первых, я добивался справедливости. А во-вторых, что ты можешь понимать, маменькина дочка! Тебя папа с мамой кормят, а моя мать получает сорок рублей пенсии. Тебе это понятно?

«Вон оно что...» — подумал Игорь.

Он опустил голову, смущенный, как будто нарочно подслушал чужую тайну, и поспешно зашагал прочь.

11

Обедали в недостроенном складе. Ни скамеек, ни столов не было. Устраивались кто как — на бетонных плитах, на кирпичах, на подножках автомашин.

Игорь, пришедший позже всех, более или менее удобно примостился на доске. Был он в угнетенном настроении: уже начали бетонировать, а из техотдела так никто и не пришел для проверки. Ему представлялась страшная картина — гремят взрывы, летят во все стороны куски бетона. Остатки ребята скалывают ломami. А бетон крепок, как железо, и не поддается. Ребята проклинаят легкомыслие Игоря... Никакой зарплаты не хватит оплатить брак.

— Игорь, нам не хотят раствор возить!

Над ним стоял, наклонившись, Сережа Петрушин, звеньевой каменщиков, возводивших стены этого склада.

— Сейчас поем и пойду на бетонный завод.

— Да ты не торопись, — просительно сказал Сергей, видимо стесняясь, что вынужден беспокоить человека. —

Нам еще часа на три хватит. Я хотел заранее тебя предупредить.

«Если бы все такими были!» — растроганно подумал Игорь, глядя ему вслед, и нечаянно заметил Надю, сидевшую у противоположной стены. Она глядела на него задумчиво и печально. «Ерунда! Это ко мне не относится». На всякий случай он даже оглянулся — за ним никто не сидел. «Что было, то прошло, — горько подумал он. — Хотя ничего и не было, а все равно прошло. Переживем! Более важные есть заботы. Пойти к Маркову? И так ему разными пустяками надоел. Почему техотдел не проверяет? Спихватятся, да поздно будет! Самому к ним сходить? А что скажу?»

— Можно возле тебя присесть?

Игорь вздрогнул: этого он ожидал меньше всего. Надя выжидающе смотрела. Игорь смутился, поспешно отодвинулся, хотя места было много. Надя села, и тогда он запоздало пробормотал:

— Садись, конечно, садись.

Поставил миску на бетонную плиту. Надя сказала:

— Ты ешь, не обращай на меня внимания.

— Я... не хочу, нет аппетита.

Ему стало невыносимо жарко и показалось, будто все на него смотрят — кто насмешливо, кто сочувственно. «Что она, хочет свою власть проверить? — зло подумал он. — Так нет у нее никакой власти! Нет, и все! Встать и уйти?»

— Ты меня как будто избегаешь, — тихо говорила Надя. — А мне хочется знать, как ты живешь, как себя чувствуешь...

— Ты уже когда-то об этом спрашивала, а я тебе отвечал! И я не совсем понимаю, к чему этот разговор. У тебя свои дела и заботы. Они ко мне не имеют никакого отношения...

— Что ты имеешь в виду?

— Тебе лучше знать, — уклончиво ответил Игорь, страдая от вынужденной грубости. — Извини, мне нужно на бетонный завод.

— Сегодня я там работаю! — как будто обрадовалась Надя. — Пойдем вместе.

Игорь поднялся отнести миску. Неловко выскреб остатки, положил миску в ящик.

— Игорь, а компот пить не будешь? — громко спросила повариха.

Чувствуя, что краснеет, Игорь не своим голосом ответил:

— Я воды напился.

Он подал Наде руку, и они по доске вышли через окно склада — так было ближе.

Некоторое время шли молча.

— Ты на что-то обиделся? — спросила Надя.

— Нет, на что мне обижаться?

— А почему же такой хмурый?

Игорь усмехнулся:

— Что ж, у меня разве неприятностей не может быть?

— Конечно, могут быть, — протянула Надя. — Но... ты просто не в духе сегодня.

Игорь промолчал.

— Помнишь, ты предлагал съездить на тот берег? Так вот... ходят ли еще катера?

— Значит, можешь съездить? — насмешливо спросил Игорь. — Тогда не могла, а теперь можешь? Что же такое случилось?

Надя серьезно ответила:

— Если угодно, у меня был душевный кризис.

— А теперь прошел?

— Теперь прошел.

— Знаешь, это становится интересным. Пойдем немного посидим, еще есть время.

Игорь положил на ржавую трубу дощечку. Сели. Вокруг валялись прутья, мотки толстой проволоки, стояли высокие железобетонные цилиндры. «Подходящее место для объяснений! Представим, что это цветы и деревья, а пыль на дороге — река».

— Ты, наверное, думаешь, что у меня с Юрой Гончаровым что-то такое? .. — внезапно спросила Надя и не нашла слов продолжить.

— Об этом все знают!

Надя возмутилась:

— А почему никто не подумал, что у нас просто дружеские отношения? Разве это невозможно? Ты скажи, разве этого не может быть?

— Конечно, может быть, — неохотно согласился Игорь.

— Все его бросили, а потом эта дурацкая история с рыбалкой... И вообще у меня не только с ним, но и со всеми ребятами хорошие отношения.

— И чтобы отношения не портить, ты со мной как-то... украдкой разговаривала? — съязвил Игорь.



— Игорь! — с обидой воскликнула Надя. — Ты на меня смотришь как на свою собственность!

Игорь растерялся:

— Какая собственность! При чем здесь собственность?

— При том! Как ты со мной разговариваешь?

— Как могу.

— Нет, ты сегодня не в настроении. Проводи меня, перерыв уже кончился.

«Не так я с ней разговаривал, — сокрушался Игорь. — Не в ту сторону занесло. Ведь я никакого права не имею ее упрекать».

С трудом выдавил из себя:

— Извини, если я что-нибудь не так сказал. У меня действительно неприятности. А насчет поездки я узнаю.

— Игорь, пойми меня правильно... — сказала Надя и замялась. — Я хочу сказать... ты подумаешь, что я напраши-

ваюсь. Я бы поехала на тот берег с кем угодно. Если бы пригласили. Но никто не приглашает... А у тебя возможностей больше, чем у других.

— Спасибо, обрадовалась! — упавшим голосом произнес Игорь. — А я думал, ты без всякой корысти...

Надя спохватилась:

— Ты неправильно меня понял, я неточно выразилась. Сейчас мне некогда, надо идти работать, а потом я тебе все-все объясню. Не обижайся, — сказала она просительно. — Я совсем другое имела в виду. До свидания. Мы еще поговорим...

«Загадочное существо! — тоскливо подумал Игорь. — С самого начала не понимал ее поведение, а сейчас тем более ничего не понятно. А, лучше заниматься бетоном. О ней совсем не надо думать. Не надо думать, а вот думаю же! Неужели она от всех хочет выгоду иметь?»

Почетное дело — выравнять гравий в последнем квадрате — случайно выпало Валерке Бодрову. Он действовал лопатой, остальные стояли и смотрели, бросая реплики:

— Внимание! Исторический момент!

— Здесь будет поставлен памятник! В историю войдешь!

— Где кинохроника? Где Гончаров? Пусть увековечит!

— Валера! Как же ты просмотрел? Сгоняй за ним, уговори. Теперь вы ближайшие друзья, оба экономисты, оба хотели на больных в рай въехать.

Валерка остановился. Хоть льстило ему всеобщее внимание, но такого поклепа стерпеть не мог. Неловко ухмыльнулся:

— Я же не для себя старался, для общества. Мне лично ничего не нужно.

— Слыхали? Валерка стал общественником! Альтруист и гуманист!

— Ну ладно, чего прицепились, — смущенно бормотал Бодров. — Шуток не понимаете?

«Всегда так: чем больше человек гребет себе, тем громче кричит об интересах общества», — обобщил Игорь незначительный факт.

Его потянуло на откос, своими глазами посмотреть, что песчаная история закончилась навсегда. Всю неделю он ходил сам не свой. Наконец не выдержал, обратился к Маркову с просьбой устроить самую строгую проверку. Марков сказал: «Ты думаешь, я так и позволил бы нарушать проект? Я давно

уже сам проверил. Извини, что бросил тебя, как щенка в воду. Но, честное слово, нужно вас приучать к самостоятельности. Многие ведь и шаг боятся ступить без согласия начальства. Какие из них работники!» Игорь, конечно, был доволен, что все обошлось благополучно, но особой радости не испытывал. А раньше казалось — если уладится с откосом, будет самым счастливым человеком.

Зрелище надоело. Ребята закричали:

— Кончай икебану наводить! Не танцплощадку строишь!

— Достаточно. Абзац, — сказал Илья и по привычке поднял над головой скрещенные руки. — Большой перекур. Пол-часа. Потом видно будет, что делать. Мастер без работы не оставит.

— Все. Никогда, наверное, в жизни не придется таскать плиты и бросать песок, — сказал Валерка. — Вроде грустно как-то...

— Нашел о чем грустить! Радоваться надо. А если грустно, вон плиты лежат, таскай на здоровье с места на место.

— Бесчувственные вы люди! — сокрушенно вздохнул Валерка.

С востока быстро надвигалась темная туча. Глухо погромыхивало. Запахло свежестью. Побелели электрические провода, ослепительно светился видный с откоса клочок реки, праздничный вид приобрели жалкие производственные строения. Извилистой трещиной дернулась по туче белая молния.

— Вот ударит скоро! Хорошо! Надоела жара.

— Вовремя закончили.

Игорь с томительным восторгом смотрел на тучу, которая уже подбиралась к солнцу, светившему особенно ярко. Гроза всегда вызывала в нем беспокойство, острое желание перемен и в жизни, и в себе самом. Хотелось, чтобы рядом находился все понимающий человек, а этим человеком могла быть только девушка. Способна ли Надя понять такое состояние, когда кажется, что вот-вот откроется загадка природы, жизни, его самого?

Лохматые клубящиеся щупальцы захватили солнце. Вее-ром брызнули по туче белесые лучи, и солнце скрылось. Сразу все вокруг помрачнело, отяжелело. Ударил влажный ветер, закружил мелким песком. Неуклюжими птицами взметнулись клочки бумаги. Первые тяжелые капли зашлепали по иссохшей земле, оставляя темные круглые отметины. А через несколько минут с шипением хлынули косые сплошные струи.

Бригада спряталась в поваленном железобетонном цилиндре. Игорь примостился на дощечке рядом с Бреговым. Илья был грустен, задумчив. Никогда еще Игорь не видел его таким.

— Куда теперь нас пошлешь? — спросил Брегов.

— Там видно будет, — уклончиво ответил Игорь.

Больше Илья не произнес ни слова. Наверное, и ему не хотелось разговаривать. Сидел, уперев руки в подбородок, весь уйдя в себя.

Ветер сбоку хлестал дождем, всем не хватило защищенного места. Ребята удивленно поглядывали на Брегова: почему не указывает, не приказывает? Наконец смекнули сами — притащили железный лист, закрепили с наветренной стороны. Костерок разложили. Не тот вольный костерок, что в лесу, — высушенные доски потеряли лесной запах, отдавали мазутом, креозотом и еще каким-то промышленным зловонием. Но был огонь, и было тепло. Дым и чадное пламя крутило в разные стороны, ребята перемещались в зависимости от обстановки. Лишь Брегов не менял места, не обращая внимания на искры и пламя. Даже лица не отворачивал, как будто не желая поддаваться ни большому, ни малому обстоятельству. «Что это с ним сегодня такое? — удивился Игорь. — Заболел, что ли?»

— Тихо! — дурашливо крикнул Валерка Бодров. — Бригадир думает.

Илья и головы не повернул. Непривычно было, что Брегов отстранился от всех дел. Правда, дел никаких не было, но раньше и во время перекуров, и в лагере всегда находил повод вмешаться в жизнь бригады. . .

Валерке надоело молчание.

— Здорово мы, ребята, откос кинули, а? Хочешь не хочешь, а надо мастера благодарить. Без него мы бы еще и до середины не дошли. Сводил, кого надо, в кабак, а, Игорь?

— Отстань! Ты опять за свое?

— А что? Я жизнь знаю, понимаю, что к чему.

— Ты просто трепло, — беззлобно сказал Игорь. — Прикидываешься худшим, чем есть на самом деле.

Довольный Валерка начал подкручивать усы. Не сиделось ему на месте, надо кого-то задирать, а тут Игорь подвернулся.

— Вот скажи, Игорь, — заговорил он вкрадчиво. — Видел я у тебя философскую книгу. Это ты для пижонства привез, чтобы перед девицами выпендриваться? Или в самом деле читаешь?

Игорь неохотно ответил:

— Немного читал.

— Ну и что вычитал?

— Да разве в двух словах расскажешь...

— Вот я и говорю, — перебил его Валерка. — Ничего интересного не вычитаешь. Незачем ерундой заниматься. Не современный ты человек, не деловой, хотя и помог нам откос сделать. Жить надо просто и весело, не засорять мозги. От абстрактных идей нет никакой пользы. Дело нужно. Понял? Вот железную дорогу построят, повезут лес, руду, уголь. Вот это польза!

— Все это только средство для поддержания биологического существования. Раньше наивно считали, будто техника сама собой все улучшит. А ничего она не изменит, во всяком случае в лучшую сторону. Неважно — передвигается человек на персональной колеснице или на личном самолете. Главное — какой он есть.

— Да ты идеалист! — весело воскликнул Бодров. — Чему тебя в школе учили? Вкальвай изо всех сил, а потом живи на всю катушку и ни о чем не беспокойся. Научно-техническая революция! Понял? За тебя пусть машины думают, а ты живи.

— Нет, я уж лучше сам по себе, — пробормотал Игорь, жалея, что ввязался в напрасный спор: все равно ничего ему не докажешь, ни в чем не переубедишь.

— А знаете, ребята, — заговорил Борис Лашевский, до этого со снисходительной улыбкой слушавший словопрепния. — Белинский часто прогуливался возле железной дороги. Смотрел на паровозы и радовался, думая, что железные дороги всю жизнь изменят. А дорога-то была только до Павловска. Говорил, что никогда в вагонах не повезут дрова, что будут грузить только нечто ценное...

— Ну и что? — спросил Валерка.

— Да так. Умный человек был, а элементарных вещей не мог предвидеть.

Брегов поднял голову:

— Как там? Не кончился дождь? Взгляни-ка, Валерка!

— Льет, — сообщил Бодров, не поленившийся выйти из укрытия. — Домой бы нас, что ли, отпустил? Как, Игорь, смотришь на это дело?

— Я не возражаю, — сказал Игорь. — Отдыхайте в честь праздника.

— Какой еще праздник?

— Откос закончили, дождь пошел...

Брегов взглянул на часы.

— Нет, домой не поедем. Через двадцать минут сменим бетонщиков.

— Дело, конечно, ваше, — согласился Игорь.

— Да им самим делать нечего, — занял Валерка. — Машина редко ходит.

— Они промокли, сушиться пойдут. Все, разговор окончен.

Когда вышли из цилиндра, дождь кончился. Влажно лоснилось железо, на дороге блестели лужи, возле кучи металлолома весело прыгали воробьи.

Брегов и Игорь, поотстав, медленно шли к откосу.

— Вот и кончилось мое бригадирство, — задумчиво сказал Илья.

— Почему кончилось? До конца сезона будешь бригадиром.

— Но уже на чужой работе, — и, криво усмехнувшись, добавил: — Милое дело — песок бросать. Тренировка для тела и для души. А, все равно, чем заниматься! На все здоровья хватит. А вот на самое главное не хватило. Нашли какое-то расширение сердца... Я ведь, Игорь, собирался стать космонавтом. Добился бы, а комиссия даже до училища не допустила... Единственное стоящее дело сейчас — космос осваивать. Остальное — труха.

Игорь промолчал: любые слова здесь неуместны.

— Зря я тебе, наверное, сказал... Да все равно.

— Это останется между нами, — заверил Игорь.

— Все равно. Я не делаю из этого тайны.

«Да я по сравнению с ним просто счастливый человек!» — подумал Игорь, и как-то неловко стало за свое благополучие.

12

Гирлянда электрических лампочек слабо высвечивала небольшое пространство откоса. Но скудость освещения не мешала работать.

Подъезжал самосвал, медленно поднимал кузов, бетон нехотя сползал в металлический желоб. Тяжелая масса чуть продвигалась по нему и замирала. Студенты муравьями набрасывались на бетон, без передышки сновали туда-сюда. Когда желоб на несколько метров продвигали вперед, за ним оставалась ровная, упорядоченная поверхность бетона.

— Игорь, где нам взять лопаты?

Голубев оглянулся, увидел Сережу Петрушина и пятерых его каменщиков. Все они в оранжевых защитных касках, за которые получили прозвище «подосиновики».

— Как вы здесь очутились? — удивился Игорь. — Смена ведь давно кончилась.

— Мы стену доканчивали. Раствор был, кирпичи тоже. Закончили кладку, пришли вам помочь. Все равно домой сейчас не доехать, а пешком неохота.

— Лопаты спросите у бригадира. Молодцы, что пришли!

Подкатил очередной самосвал. Бетон плюхнулся в желоб, да так и не продвинулся ни на метр.

— Так дело не пойдет, — сказал Игорь оказавшемуся рядом Брегову. — Не выношу, когда делают лишнюю работу!

— Что тут придумаешь? Таскать надо. Можно только попросить, чтобы бетон пожиже замешивали.

— Постой-ка, — задумался Игорь. — Вспомнил. Где-то слышал: солярки надо плеснуть. Сейчас попробуем.

Илья усомнился:

— Вряд ли будет толк, да и где солярку найдешь?

— Постараюсь. Все обегаю.

— Давай, давай, рационализатор, — улыбнулся Брегов.

В механическом цехе было темно, дверь заперта. В кузнице тоже пусто. Игорь расстроился. Оставалась слабая надежда, что в гараже кто-нибудь есть.

Возле ворот тускло горели лампочки, освещая темные пятна мазута, расплющенные гусеницами брусья и доски. Угрюмыми животными чернело поодаль скопище тракторов и грузовиков. Как-то не по себе стало Игорю в этом безлюдном царстве уснувших механизмов.

Игорь постоял, прислушиваясь, — ни звука, ни движения. Однако нужно было искать солярку. Он пошел в темноту, споткнулся. Задребезжало пустое ведро. На всякий случай поднял его.

— Кто тут бродит? — раздался слабый стариковский голос. — Что надо?

К Игорю подошел сторож с одностволкой через плечо. Игорь вежливо поздоровался. Сознание, что он может облегчить труд многих людей, прибавило ему уверенности.

— Дедушка, надо срочно ведро солярки! — сказал твердо.

— Это не могу. Для этого начальство есть. Я охраняю. Иди-ка, парень, своей дорогой.

Игорь горячо убеждал, что без ведра солярки никак не

«бойтись, что лично Марков приказал сегодня ночью закончить работу.

— Пойдем, — недовольно сказал старичок. — Покою от них нет. И все колготятся и колготятся.

Он показал пальцем на черную бочку.

— Наливай, а я тебе не помощник.

Игорь обхватил грязную бочку; с напряжением удерживая ее, наполнил ведро.

— Спасибо, дедушка, — сказал Игорь, довольный, что удалось преодолеть сопротивление чужого человека. — А покоя не будет, покой нам только снится.

— С вами выспишься. . . — пробурчал сторож.

«Неужели всегда будет так: чтобы чего-нибудь добиться, надо давить и давить на человека? — думал Игорь, идя к откосу. — Разве нельзя без этого понять друг друга? Все борьба и борьба, даже по пустякам. . .»

Как раз подъехала машина. Игорь плеснул солярки, самосвал поднял кузов, бетон проскользнул до самого основания желоба.

— Соображаешь, — одобрил Брегов.

И снова — беспорядочное движение. Метались по откосу длинные тени, слышался шорох шагов и скрежет лопат по металлу. «Надо не томиться ожиданием, а действовать, действовать», — азартно думал Игорь, таская тяжелую лопату.

— Игорь, — обратился к нему Петрушин. — Если сейчас не уедем, до утра машины не будет.

Игорь удивился:

— Так быстро прошло время?

Вместе с каменщиками он пошел к конторе.

— Хорошо поработали! — сказал он восторженно.

— Да, неплохо, — согласился Петрушин. — Народу много. . .

— Дело не в этом. Главное, что у всех настроение бодрое. Никого погонять не надо!

Расселись на ступеньках крыльца и молчали. Игорь думал, что это оттого, что о пустяках говорить не хочется, а для значительного не находится слов. А может быть, ребята просто устали.

Возбуждение улеглось. Игорь бездумно глядел на черные сопки, горбатившиеся за рекой. Небо над ними странно желтело.

— Ребята, наверное, пожар. Тайга горит! — обеспокоился Игорь.

Все посмотрели в ту сторону, недоумевая: жилья там нет...

— Надо кому-нибудь сообщить. Должно быть, в самом деле пожар!

А через несколько минут высунулся краешек луны, и вскоре она всплыла вся — огромная, мрачная.

Игорю почудилось, что где-то он видел, как такая же луна висела мутно-оранжевым разбухшим апельсином. Но где это было и когда? Вообразился треск цикад, дурманный запах южной ночи. Побережье Черного моря, где Игорь отдыхал несколько лет назад? Похоже. И вдруг почему-то представилось совсем другое время и место. Возле окошка стоит Сократ, в последний раз слушает ночь, смотрит на такую же угрюмую, враждебную луну. Через несколько минут он выпьет чашу с ядом. Он печально усмехнется. Не потому, что скоро умрет, а потому, что знает: через какое-то время люди пожалеют, что умертвили его, станут гневно осуждать тех, кто его не понял, осудил на смерть...

«Найдется ли у меня хоть сотая доля той стойкости? Или буду послушно плыть по течению, не имея ничего за душой?» — подумал Игорь.

Побрякивая незакрепленными бортовыми цепями, подкатила машина.

— Я вас подброшу только до поселка, — сказал шофер, высунувшись из кабины. — А до лагеря пойдете пешком. Там недалеко, прогуляетесь.

Ребята забрались в обширный кузов. Торопясь домой, шофер гнал вовсю, изредка притормаживая перед большими выбоинами. Тогда поднятая пыль настигала машину, застилала бледнеющий диск луны, набивалась в рот и нос. Рывок — и густой пыльный хвост оставался позади.

Мощно рокотал мотор. И казалось: еще небольшое усилие, и машина взлетит и понесется над темным леском, над железнодорожной насыпью и над рекой, которая все сильнее блестела в набирающем силу лунном свете.

Поэль Герман

СТУДЕНЧЕСКАЯ БРИГАДА

Как много света!
Как много ветра!
И только стены
По сантиметрам
Уходят трудно
В большое небо...
А мы как будто
За ними следом
Растем и крепнем
Душой и телом.
И дышим ветром.
И нашим делом.
Еще немного,
Еще чуть выше —
И нет девчонок,
И нет мальчишек.
А просто в горле
Тепло и тесно,
И наша гордость
Взлетает песней.
И кто-то шепчет
Чуть слышно рядом:
«Ведь это черти,
А не бригада».
Смеется солнце,
В зените стоя,
И сердце бьется
Одно — большое.

Сергей Кобысов

В МРАМОРНОМ УЩЕЛЬЕ

Памяти геолога Н. И. Азаровой

Здесь все твое — и скалы, и цветы,
И мрак ночной, и утренняя алость,
И обаянье горной высоты —
Во всем твое бессмертие осталось.
Как много обелисков над тобой,
Ушедших ввысь, к Кадарским перевалам.
Мерещится мне в дымке голубой
Твой силуэт на мраморных оскалах.
Ты выше смерти, по твоим следам
Идут к вершинам парни волевые,
Идут по сланцам, осыпям и льдам,
И в них твои стремления живые.
Твой след в горах паденьем не затмить,
Велик твой зов — дерзать и не сдаваться!
Чем до ста лет лучиною дымить,
Так лучше в тридцать факелом остаться.

СОН БАЙКАЛА

Спит Байкал — разгладились морщины,
Мирно дышит тело старика,
Лебедями в горные лощины
Отдыхать спустились облака.
Дремлют чайки у черты прибора,
С гор струится аромат сосны,

Спит Байкал, и небо голубое
Делит с ним таинственные сны.
Спи, родной, — в твои часы покоя
Все окрест любуется тобой,
Синева небес и дно морское
Связаны единою судьбой.

Владимир Насущенко

ПРИЕЗД НА РОДИНУ

РАССКАЗ

Дом Ивана Жигулина стоял на краю поселка. Дальше простирались тростники, заслоняющие море. Место было открытое, ветер пластал тростниковые поля, гнул к воде. По ночам пронизывающая сырость текла из зарослей, на крышу выпадала обильная роса.

В августе утро наступало поздно. Выспавшиеся куры прыгали с насеста, проникали в огород, где были грядки с поломаным луком и росли кривые горькие огурцы.

Иван вышел на крыльцо, сладко потянулся, треща суставами, и направился к трактору, оставленному на ночь у сарая.

Трактор был запыленный, грязный, дверцы болтались в петлях, сиденье треснуло. Служил он последний сезон, новую технику обещали к Октябрьским.

Жигулин выдернул клоки сена из рулевых тяг, затянул две ослабшие гайки и дернул пусковой трос. Пускач визгливо заверещал. Черный дым повалил из трубы.

Аист Кеха недовольно похлопал крыльями, показывая белые подмышки, и стрельнул с дерева горячим пометом на трактор.

Иван беззлобно ругнулся:

— Черт сухощавый, не нравится, что шумлю, — но сбавил обороты, капот вытер травкой.

Двигатель посапывал нежно, в одну ноздрю.

Хозяин сходил в дом, вынес хлеба с салом и огурцы, какие поплоче, отложенные сестрой в пищу — хорошие она солила

для рынка, — завернул в газету и спрятал в ящик, где хранились дефицитные болты и мелкий инструмент.

К трактору была прицеплена металлическая телега, на которой вывозили заготовленное сено. С сенокосом запоздали — весь июль шли дожди.

Жигулин втиснулся в кабину, поиграл рычагами и покатил к конторе. Стало тихо. В тростнике кричали дикие утки, да щелкали в опрокинутое ведро капли росы с застрехи.

Кирилловское поле было дальше. Трактор исправно пыхтел, ерзая в колее. Иван копчик отбил на тощем сиденье. Когда в семнадцатый раз въехал на весы, не чувствовал рук и ноги дергались в педалях.

Сарай был высокий, как ангар. Усыпанная сеном плита крепко осела под прицепом. Горбатый весовщик Мишка Абакумец послунывил карандаш, отметил в бланке наличные центнеры.

— Ну ты и надымил, братуха, — сказал Абакумец, кашляя от газа.

— Движок разрегулировался, — отозвался Иван, сдернул прицеп с платформы и подумал: «Понюхал бы цельный день, небось вздрогнул бы горбом».

Конечно, несправедливо было так думать: Абакумца в войну немецкий кондуктор сбросил с поезда на ходу.

— Подь в контору, — ласково позвал Михаил.

Иван слез, пошел на весовую, понимая, что приветливая речь всегда просьбой оканчивается.

Абакумец выставил на дощатый стол бутылку мутного сидра, две кружки, достал рыба копченого в жирной бумаге. Иван покосился, проглотил слюнки.

— С устатку, — просто сказал Мишка, налил поровну и подвинул закуску.

Человек он был толковый, десятилетку кончил, на собраниях — первый оратор, с парторгом под ручку ходит.

— Ты, Иван Алексеевич, сто сорок процентов закрыл. Дуся хвастала в обед: «Жигулин у меня лучший работник. Я перед директором вопрос поставлю, чтобы Жигулина за высокие нормы на доску Почета снова повесили. . .»

Иван поддакивал, хотя знал, что выдумывает человек: агрономша еще вчера к депутату уехала. А все равно неправды тут не было. С трактора лето не слезал. Весной было дело,

по своей халатности в аварию попал: на станции три тыщи кирпича опрокинул, побил изрядно. За это и с доски турнули. Сам Мишка голосовал на собрании: «Снять!»

Ивану хоть опять в поле, рыбаца умял с голодухи. Абакумец еле отщипнул. Вышли на травку покурить.

Пастух Еремеев гнал пропыленное стадо, молча посмотрел выгоревшими глазами на приятелей. Тяжелый кнут висел на плече. Коровы несли пять центнеров молока, ноги в раскоряку. Летела паутина.

Мишка вздохнул, почесал большой нос.

— Выручай, Алексеевич, гости пожаловали. Не мыслю, как и встретить. Сабакин машины на мясокомбинат угнал. Худо-бедно завтра придут. Один ты — надежда и оплот, а... Да тебе и самому интересно будет встретить...

Мишка заискивающе хлопнул по плечу, снял мусоринку с кепки, знал, что Иван не откажет, сутки на ногах будет, а поедет. Дело пустяковое, не раз выручал. Дом у Мишки отгрохан большой, всегда полон гостей. Сейчас у Абакумца жила дальняя родственница с маленькой девочкой лет пяти. Распологались они в правом отсеке дома. Родственница была грустная белая женщина в тайном женском возрасте, с увядшими чертами широкого, когда-то смелого лица. Она нигде не работала, только растила дочку, которая хорошо играла на стареньком пианино, привезенном из города специально, чтобы учить ее с раннего возраста.

Ивану нравилась эта женщина, Мишка знал об этом и ухмыльнулся, когда тот поинтересовался, не муж ли Анны Федоровны изволил пожаловать.

— Нет, сам увидишь.

— Ломовацкий, полковник в отставке?

Михаил помотал головой. Иван перечислил с десятков лиц, что ездили на лето, угадать не мог и больше пытаться не стал, раз человек скрывается.

— Ладно, завтра воскресенье. Только бак пустой, заправиться бы не мешало.

Абакумец не поверил насчет бака, но ключ дал и велел больше ведра не трогать, чтобы на совесть.

Сначала Жигулин поспешил на ферму. Бригадир толкся у кормокухни.

— Бабы замытарились, ушли не дождавши, — сообщил он. — Где тебя бесы носили?

— В овраге застрял, — сказал Жигулин, чтобы не травмировать бригадира правдой.

— А мне чудилось, на весах твой трактор бухтел. Думал, вот-вот придет, и жданки кончились. . .

— Почудилось, Сергей Тимофеевич, какой навар врать-то.

Свалить — не накладывать, вдвоем управились. Охалку бурьяна Иван оставил на дне телеги. Бригадиру сказал про езду — мол, есть договоренность с начальством — и заскочил предупредить сестру.

Сестра лежала на тахте с грелкой: прихварывала часто после смерти мужа. Сашка ее утонул прошлой осенью. Ничего не сказала, дала рубль, чтобы баранок или сушек к чаю купил.

Иван щей холодных для отвода глаз хлебнул две ложки. Племянники были при деле — воткнулись в телевизор. Кехаист устроился на ночлег и сверху посмотрел, чего хозяин трактор не глушит. А его и след простыл, на ГСМ покатил.

Когда подъехал к абакумовской усадьбе, солнце уже зашло, по-августовски затемнело разом. Внизу играло пианино. Дом был деревянный, сухой, резонировал громко. Игру прерывал грубый женский голос отсчетом: «Раз, два, три, раз, два, три». Казалось, что там делали зарядку. Окна были отворены, густые акации заслоняли их, и нельзя было разглядеть, что мудрила Мишкина родственница.

Иван постоял на крыльце. Эта простенькая музыка растрогала его, не хотелось идти в дом. Да распаренный Абакумец вылетел из комнат.

— Опаздываем! Не знал, что думать. Ух эта Федоровна надоела со своим ящиком. Брось два рядна в кузов, закрой сено. . .

Михаил чертыхнулся и приволок еще армейский полушубок — видно, гость был важной персоной.

Ехали быстро. Дорога шла вдоль канала. Рукавов у реки много, а каналами по старинке зовут. До войны работы велись, укрепляли тряские берега тесаным камнем, до сих пор кое-где эти камни видать. В высокую воду баржи и мелкие суда в канале ходят. По берегу росли деревья. Иван помнил, как их сажали всей школой. Теперь тополя сцепились наверху кронами, поглядеть — шапка падает. А листвы на них уйма. Осенью лист тек, усыпал дорогу.

Фары выхватывали комли, вымазанные известкой. О перед-

нее стекло разбивалась мошкара, прилипала тонкими крыльшками. Перегретый движок бешено пожирал керосин. Дребезжала подножка.

«Подтянуть надо», — отметил Иван, одной рукой привычно закуривая мятую сигарету. Михаил напыжился в новом костюме, хмурил лоб.

Теплохода береговой линии еще не было, запаздывал из-за шторма. По деревянному настилу дебаркадера фланировали пары, долетал смех. Огни отражались в приливной воде. Место было бойкое: лесопильня, мастерские, рыббаза, универмаг стеклянный, больница, гостиница и буфет, что обслуживал пассажиров до поздней ночи.

Абакумец высадился заранее, побежал на пристань. Иван заглушил трактор у бетонного забора и нерешительно потоптался возле. Поискал в кармане рубль, который дала сестра. Карман напоминал отстойник. В нем оседал всякий тяжелый мусор: болты, гайки, ключи. Деньги, как более легкая субстанция, не держались. Еле нащупал в подкладке. Чтобы время зря не терять, направился в буфетную.

Перед приходом судна в заведении делали уборку, пришлось уговаривать уборщицу.

— Листопадная вас задери, — выругалась старуха, но пустила.

Ни баранок, ни сушек в продаже не было. Иван обрадовался, что отговорка сестре будет честная, купил бутылку «Ленинградского» пива и хотел помедлить по-человечески, да буфетчица заорала:

— Нечего прохлаждаться, уборка не кончена!

Пришлось подчиниться.

— Голос у тебя как у командира части, — съязвил Жигулин и хлопнул дверью.

Теплоход «Алла Ткаченко» уже входил в реку, сияя огнями. Капитан в мегафон вызывал на швартовку команду. Жутко завывала сирена. Два винта взмотали воду за кормой, кранцы отвисли, и судно мягко боднуло дебаркадер.

Иван прошелся у борта, ища Абакумца. С трапа выдавилась шайка туристов: модные девочки в брюках, студенты, переломленные рюкзаками.

Кто-то завопил:

— Матросы, в трюм, на море качка!

Группа заготовала, повалила на берег. Шествие замыкал руководитель в непромокаемом пальто. И в сумерках казалось, что на нем надета засаленная куртка смазчика.

Народ немного успокоился. У касс ожидал Абакумец с гостями. Бледная от шторма женщина закрывала шею высоким воротом, независимо зыркала глазами. Иван тотчас узнал ее, но не подал виду.

Это была Позднякова Настя, Мишкина племянница. Иван дружил с ней в школьные годы, была любовь неразлучная, да не судьба. Пока Жигулин служил в армии, уехала Позднякова в столицу, и ни одного письма. За давностью теперь это не имело значения. Но Жигулин покраснел, неловко сунул руку ее мужу.

— Знакомьтесь, Константин Константиныч, Иван Алексеевич — лучший механизатор нашего отделения, — затараторил Мишка.

Настин супруг поздоровался, не подозревая, с кем имеет дело, поправил черный плащ, на груди блеснули два ромба. Иван подумал, что такой значок у Сабакина, и у Нонны Петровны, и еще у троих, кроме директора, который не носит...

Абакумец хлопал себя по ляжкам, локтем толкал, скаля неремонтированные зубы, бессовестно орал. Люди стали оглядываться.

— Говорил, сеструха, не узнает!

Настя побледнела сильнее, будто ее тошнило от перенесенной качки, протянула руку.

— Я вас с парохода заметила. Вы все такой, не изменились, — сказала она и кротко улыбнулась голубыми губами.

Ивана покорило от ее лжи, он выпустил невесомую ладошку, подхватил вещи. Старался не смотреть на гостей, шел сбоку, немного впереди, неся чемодан с удобным ремнем.

Народ разбрелся. Судовая рация заиграла отвальную музыку. На берег вела деревянная лестница с тремя пролетами, площадочками для отдыха, на коих пошумливали молодежь, визжали девки. Было тяжело подниматься и разговаривать. Остановились отдышаться.

«Алла Ткаченко» разворачивалась, отходила от пирса. На верхней палубе в огромных кепках сидели два грузина, неизвестно как попавшие в эти места. Волна от винтов прошла под привязанными лодками, цепи натянулись, потом обвисли. Иван стоял, как чужой в компании. Михаил егозил, размахивал обезьяньими руками и упрекал племянницу:

— Креста на тебе нет, сеструха, столько лет не виделись...

Пошли далее. Улочка упиралась в мастерские. Там работали в вечернюю смену. Была циркулярная пила, из вентиляционного жерла летели опилки. Мостовая пружинила под ногами от корья и обрезков.

Трактор еще не остыл, в радиаторе булькала ржавая вода. Отертые сеном борта кузова блестели, но под брюхом телеги налипла глина, куски засохшего навоза на ступицах. И Настя поморщилаеь, что-то шепнула мужу. Константин Константиныч засмеялся в ответ раскатисто, сухо, будто в горле у него рвали крепкую материю.

Жигулин потрогал двигатель.

— Не заводи колымагу-то, мы ходим кое за чем, — сказал Михаил и панибратски обнял шурина за талию. Они пошли к буфету, там горел свет.

Ивану было обидно — не взяли его, ничего бы не случилось, если бы пропустил стаканчик, дело свое он знает. Покряхтел и достал ключ завинтить подножку.

Настя оглянулась грустными глазами, вспоминая давно забытые места. Чулки на ее полных коленях туго и приятно поблескивали.

Фонарь на столбе мотало ветром, полоскались тени.

Работать на короточках было неудобно. Хотелось спросить Настю, как жила эти годы, что делала, но язык не поворачивался. Раздражали ее руки, унизанные тонкими кольцами, браслет с кровавым корундом, белые кружевные манжеты.

Ее пугал холодный упорный взгляд снизу. Она отвернулась, скрипнув кожаной лакированной юбкой. По тротуару молча прошли две бабы. Одна была беременная. С моря тянуло штормовой сыростью.

Настя вынула из сумки плед, накинула на плечи.

— У, холодина, у нас в Венгрии намного теплее, — сказала она и зябко скрестила руки. И вдруг заговорила быстро, захлебываясь, что командировка у мужа на два года, работа нервная, он измотался, на курорт не хочет, куда ни приедешь, везде суета, Костя болен, врач советовал тихое место, решила ехать сюда, что у нее никого, кроме Миши, мама умерла в Москве...

Она вздохнула и откинула чистые волосы за спину. Лицо у нее было неестественное, жалкое, словно извинялась за то, что приехала, напомнила, замутила жизнь.

Он покопался в тяжелом кармане, закурил сигарету, ощущая тепло, идущее от машины.

— Я вот служил в Польше. Не нравилось, скучал по дому, — сказал он медленно и замолчал, стараясь не глядеть на ее руки, не сказать, что его чуть не убило на маневрах, когда узнал, что она вышла замуж, он только и думал о ней тогда. Теперь это прошло и уснуло.

Он надвинул кепку с поломанным козырьком на глубокий шрам на лбу, встал с подножки. В мастерских закончили смену, оттуда выходили люди. На водокачке монотонно стучал насос.

— Вас за смертью посылать, — с нескрываемой радостью закричала Настя, увидев подходившего мужа. Абакумец был навеселе, размахивал бутылкой.

— Пчел у меня восемь ульев, снасти рыбацкие, блесны. На острове песок белый, что сахар. Отдохнете, санатория не надо. Уток руками ловим в камышах... — Михаил перевел дух. — Задержка непредвиденная была. Баранова встретили. Хотел нас на своей «Волге» подбросить, да я отговорил, дорога дурная. Да и Константиныч не захотел человека беспокоить.

Настин супруг снял заграничную удобную шляпу. У него уже намечалась солидная лысина, кое-как закиданная остатками волос. Он с иронией оглянулся на телегу, напялил шляпу и зарокотал гулким сухим горлом:

— Баранов, оказывается, учился в МГУ, естественно, вспоминали. Приятный товарищ, так сказать, хозяин района. Говорю, поеду надежным транспортом для интересу...

И в его менторском голосе чувствовалась уверенность, что правильно он сделал, не рвет из-под ног земли, другой бы на лимузине покатыл.

Иван пустил в ход мотор, руки, привыкшие к рычагам, двигались невпопад. Облегченно вздохнул, когда заметил, что Настя села вместе с мужчинами. Захлопнул дрожавшую кабину, решил ехать боковой улицей, чтобы не делать разворота.

Миновали паром. Шторм утихал. Река была синяя от скудных огней. Под берегом крался к заливу браконьер на увертливой лодке. На корме лежал мешок с сетью. Река свернула за холмы. Дорогу перегородили кучи земли, щебня. На обочине стоял потухший бульдозер, уперев железную челюсть в



бугор. Иван не знал, что здесь ремонт, но возвращаться не стал: можно было ехать проселком до шоссе.

Трактор пискнул сухими рессорами, покатился в туманную низину. Впереди бежала длинная черная собака. Лап не было видно, только чисто струилась спина, как лоскут бархата.

«Странно, что собаки делают ночью в лесу?» — подумал Иван, дал сигнал. Пес исчез в кустах. Корни деревьев переплели дорогу.

Заброшенный лесовозный тракт пересекали канавы, заплывшие травой. Глухо стрекотали мосты из мелких бревен.

Мотор вдруг зачихал и стал. Иван спрыгнул в липкую лужу. С ветки снялась громоздкая птица, и было слышно, как воздух свистел в жестком пере.

Абакумец интеллигентно ругнулся, что поехали не там, где добрые люди ездят. Сопя, нащупал замшевыми туфлями колесо и хрупнул ногами в землю.

— На пригорке сухо. Сигайте размяться, Константин Константиныч. . .

Из облака выскользнула сильная луна. Настин муж молодецкато махнул за борт, точно так же хрупнув ногой в перепревший сучок.

Виновато щурясь, Жигулин запалил факел на проволоке. Пламя осветило склон, заросший папоротником и зверобоем. Было неуютно от ночных теней и мощного запаха травы.

— Какой мрачный лес, — с холодным раздражением сказал Константин Константиныч.

— Потерпите, сейчас сделаю, — сурово ответил Иван, чавкая сапогами по грязи.

Настя стояла в телеге, смотрела сверху, уперев руки в лакированные бедра, как актриса на подмостках. Из белого манжета мигал камнями кованый браслет.

Иван спрятал лицо, покопался в моторе. Ему было тяжело. Знал бы, ни за что не поехал. Он мечтал о Насте эти годы и не женился, в бобылях ходит, напрасно ведет несчастную одинокую жизнь. Сегодня сердце томилось, и было тошно. Бездомная собака, лесная дорога вызывали тоску.

«Она забыла, что я живу на свете, поэтому приехала», — подумал он, вдыхая пары соляра.

Факел погас, огненные клочья валились в воду, шипели. Иван вытер руки о папоротник, дернул трос. Машина затрещала.

Опять эта проклятая дворняга появилась на дороге и легко бежала с поднятым хвостом. На повороте села у высохшей вербы, вытянула морду со слезящимися большими глазами. Брюхо у нее было мокрое от ночной росы.

Иван кривил сизый рот, мерещилось, как целовал Настю на этой развилке. В ту осень был гололед. Листья с жестяным гулом гнало по наледи. Настя близила огненное обветренное лицо с закрытыми глазами. Учитель с ребятами кричали у костра. Может, это был сон. . . «Вот и верба та умерла», — подумал Иван.

Дорога петляла среди мокрых полей. Вдали уже белели шиферные крыши коровника. Мерцали редкие ночные огни. Фары осветили мелкие кресты погоста, братскую могилу, ограду которой дети украсили пионерскими галстуками. За лето

шелк выцвел. Узкие клочки тряслись на сквозняке, казалось, что земля вспучивается и горит.

Бугор утонул во тьме. Запахло близким морем. Блеснули серебряные баки с нефтью.

Жигулин затормозил у палисада, откинулся на сиденье. Дачники спустились, скрипя гравием на дорожке, топали на крыльце. Михаил отворил кабину.

— Я думал, ты уснул. Переоденься. Время позднее, но посидим часа два. Радость-то какая. . .

Согнутый под чемоданом, он был совсем маленьким, кособоким.

Трактор устало бежал по спящей деревне, комья глины барабанили по днищу телеги. Скоро шум стих.

Иван Жигулин решил прежде вымыться, канал был рядом. На мостках лежало мыло, завернутое в лопух. Он опустил колени на шершавые доски и долго кланялся молчаливой воде. Тщательно оттирал песком руки, полоскал рот. Вода была жесткая, лицо щипало.

На веранде стянул разбобевшие кирзачи, просеменил в горницу за одеждой. Он никого не беспокоил: племянники спали как убитые, а Надежда была на ночном дежурстве в телятнике.

Оделся в белую холодную сорочку, напялил костюм из лавсана. Сестра по глупости насыпала в карманы нафталин. Пришлось высыпать шарики в помойное ведро, прыскаться одеколоном.

Потом он глянул в зеркало: давно не стриженные волосы падали на глаза, скулы синели щетиной. Вид был, как у хулигана, которого недавно показывали по телевидению на открытом суде.

Жигулин вышел на дорогу, представляя, что будет сидеть за праздничным столом, выпьет и расскажет новый анекдот, слышанный от шофера Зыкова, Настя обязательно рассмеется, и ее муж — тоже. Всем станет весело.

Он шел, срывая придорожные будылья, темный ветер склонял камыши. Было холодно от близкой воды. Жигулин волновался, сердце билось у горла, неравномерно стучало в ушах.

«Зачем иду, для чего?» — подумал он, замедляя шаги.

В Мишкиных окнах пылал свет, мелькали тени. Гулко загудело пианино, и звук его долго дрожал, удаляясь под заповевшие звезды.

Иван положил неотмытые руки на штатетник, ожидая, что сейчас заиграет белая женщина. Но играть передумали. Щелкнула крышка, из окна кто-то выглянул в сад.

— Господи, ничего не узнаю. . . Какая изумительная ночь. Он похолодел от знакомого голоса и стоял мертвый.

Настя вдруг отпрянула от окна, будто ударило ее нестерпимым жаром из сада.

— Ой, меня позвали, или почудилось?

— Опять ты выдумываешь, — ласково отозвался муж и выглянул наружу, заслонив свет темной величественной фигурой. — Прибой шумит, сверчки. Больные фантазии. . .

— Нет, — упрямо проговорила Настя. — Я ясно слышала, как мама кликала в детстве: «Настюшка, моя Настюшка». И мне сейчас грустно, так грустно, хоть беги. . .

Она отвернулась, и плечи ее затряслись.

Жигулин пошел к низкому морю и сел под древней яблоней на скамью, где остывал трактор. Аист скрипел прутьями в гнезде. В траве блестели паданцы.

«Она не могла слышать, ведь я только подумал». — Лицо Ивана горестно озарилось от этой мысли.

Он встал, ежась от сырости земли, и вошел в дом на ночлег.

Анатолий Роцин

САД МОЕГО ДЕТСТВА

РАССКАЗ

Каждый раз, возвращаясь из глухих уголков на Брянщине, пробуждавшей в моем воображении и славянские червленые щиты, и струги, и золотые врата Царьграда, я долго не могу освободиться от образа этой потаенной Руси. Иногда сквозь шум города я слышу настойчивое мычание отбившихся от стада коров, или вдруг мне почудится петушиное пение, а гул электрички заставляет вспоминать, как в осеннем лесу трубят лоси.

И вот в такие минуты передо мной неожиданно встает детство.

На дворе поет петух, чудесный деревенский будильщик. И приветствует он раннее летнее утро, опрокинувшееся, как весла в воду, в чистое с прозеленью небо, мягкие, еще не жаркие и потому медноватые лучи солнца, блистающие из-за липовых куп Панского сада, и выходящую из теплой и темной пуня бабушку, которая, неторопливо шагая по двору, гонит перед собой мычащую корову и шушукающихся в своей кротости серо-белых овец. Бабушка выгоняет их за ворота в проходящее по улице стадо, крича пастуху деду Гылиму, шествующему по улице с важностью пророка:

— Счастливого поля, Гылим.

Ответа Гылима я не слышу. Очевидно, он уже спустился с бугра, и только его длинный кнут, еще извиваясь и вспарывая прибитую росой пыль, бежит за ним, как гусек, по дороге.

Вот так каждое утро под петушиное пение выгоняет бабушка Зорьку, все это — и деревенский будильщик, и Зорька, и

бабушка, и шелест моравского вяза под окном — пока еще смутно пробивается в мой крепкий детский сон.

Когда же я первый раз испугался, бабушка положила руку мне на голову и проговорила, улыбаясь:

— Не бойся, это не гром, это Гылим.

Гылим проходил за окном. Я сидел на дубовой лавке, казавшейся мне такой широкой и такой длинной, что по ней можно бегать взапуски. Лавка была некрашеной, отполированной долгими годами. На ней сидел мой дед, когда был маленьким, и отец, а теперь забирался на нее я. И это было самое радостное, что я пока умел делать в жизни.

За окном гремел гром. Это Гылим гнал коровье стадо. А гром издавал его длинный кнут. Утрами, когда проходили коровы, гром шел из-за нашего дома: он будто таился за застрехой. Теперь я уже не боялся, я знал, что гром — это Гылим, хотя сам Гылим оставался мифическим существом.

Так, когда я первый раз услышал Гром-Гылим, я чувствовал, что рядом была бабушка. Она, подойдя к окну, пыталась попасть ниткой в сверкающее игольное ухо. А на краю стола лежал приготовленный для штопки бабушкин чепец. За высоким дубовым порогом петух старался как можно дольше удержаться на одной ноге, его окружали куры и кудахтали от удивления. Гребень у петуха светился, он был как ягоды, которые вносила бабушка на влажном зеленом листе. На гребне у петуха сидел день с пыльным вишенником и тишиной, которая наступала вслед за Громом.

Вечерами Гром шел из-за деревни вместе с топотом колышающегося стада и поглощался меркнувшими полями, и я мог уже различать за окном идущий на меня лес — это были коровьи рога. Стадо проходило медленно, сыто. За ним шел дед Гылим, высокий, сухой, с пыльным и бородатым лицом. На плече у него покоилось кнотовище, а за спиной тянулся волнистый след.

Глаза Гылима сверкали, как вода в глубоком колодце. Я ничего не мог сказать об их цвете, потому что иногда есть нечто более существенное, чем цвет. Это я угадывал в словах бабушки, когда она матери, больной, в беспамятстве, подавала деревянную кружку и говорила:

— Это чистая вода, Алена, пей.

Глаза Гылима были чистыми. Они несли вечер и прохладу. Значит, наступало для меня время сна до завтрашнего утреннего грома.

— Гылим, — говорила бабушка, когда наступало утро и день только собирался сесть на петушиный гребень. — Хочешь, я позову Гылима?

Но я боялся.

— Чего же его бояться, глупый? Гылим — он добрый, он — коровий пастух.

Я уже знал, что такое пастух. Это слово меня успокаивало. Оно было мягкое, как только что испеченный каравай. Его можно было подержать, теплое, надломить и насытиться.

— Хочешь, я позову Гылима?

Бабушка так настойчиво повторяет свой вопрос, что в конце концов я сдаюсь. Она выходит за избу и становится у ворот. И мне страшно, что голос ее очень слаб, что его заглушит коровий топот, что Гылим не расслышит его.

— Гылим, — говорит бабушка, — зайди к нам, воды испей. День будет жаркий: солнце вчера в карете катилось.

Я впервые слышу голос Гылима, размеренный и глуховатый:

— В пушу оно село, Матрена Агеевна, в пушу. А день жаркий будет. Под капустным листом метля появилась: влагу ищет.

Гылим, очевидно, оставил свой кнут у ворот, потому что в избу с бабушкой он заходит, широко расставив руки, как будто гонит перед собой телят.

— Гылим! — вскрикиваю я.

И старик улыбается. Он видит, что я его несколько не боюсь.

— Так вот ты какой, — говорит Гылим.

— Дай дедушке руку, — просит бабушка.

Я смущаюсь, но протягиваю руку, а Гылим чуть подхватывает ее своей широоченной лопатой.

— Ну, здоров!

Лицо его склоняется к моей крохотной ладони.

— Да, — говорит Гылим, — богатая рука, что твоя озимь у Медвежьего болота. Но как пойдет в колос? Да и стихия не всегда впопад. А так богатая рука.

Гылим улыбается и легонько встряхивает мою руку.

— Нет, какой же я гадалщик, Матрена Агеевна?

Но бабушка вся сияет. Ей нарисовалась уже вся моя счастливая жизнь, и она с восхищением смотрит на Гылима.

Он уходит, а я уже не боюсь грома. Я знаю, что за громом идет Гылим.

Шайдур жил на веселой стороне Лешни, и я всегда его знал. Он и сейчас живет на веселой стороне, хотя и нет его уже в этом мире. Стоит под навесом высокий, в ряднинной рубахе, с узким лицом, покрытым на щеках золотистыми волосами, и вечно у него что-нибудь торчит за ухом: то карандаш, то линейка, то сложенный метр, то бог знает когда свернутая забытая козья ножка. А длинные русые волосы, вьющиеся на висках, откинута назад и низко перевязаны тесемкой.

Я иду по Шибаловке, и это обязательно знойный, испепеляюще знойный день. И вид у меня такой, что вот-де я иду, что, может, в лавку иду, а не то на конюшню проведать нового, подаренного нам кем-то степного жеребца Ворона. И вообще я — занятой человек. Но все это напускная важность. И иду я, изнемогая по этой жаре, потому что не могу не идти, потому что это сверх моих пока еще малых сил, — я иду, потому что у себя под навесом работает Шайдур. И возле него белеет доской и звонкий клен, и струнный ясень, и гулкая, как коробец, береза, и Шайдур стоит у своего высокого длинного столярного станка в окружении деревьев и своих диковинных, ни с чем не сравнимых, таких живых и волшебных инструментов.

Я равняюсь с двором Шайдур, всегда настезь распахнутым, как будто приглашающим каждого войти, заполненным солнцем, и оно, как дождевая завеса, золотой стеной струится с крыши, и за этой стеной работает Шайдур — лешнинский плотник и столяр. И, не поворачивая головы, сохраняя недоступный и независимый вид, я хорошо вижу, как, наклоняясь над станком, с красиво облепленной полотном спиной, выбивающимися из-под тесемки русыми прядями, Шайдур стругает кленовый брус. Из-под фуганка выходят длинные, завивающиеся и золотые, как волосы Шайдур, стружки. За навесом из солнечного золота Шайдур плывет беззвучно в недоступном мне пространстве и мире, и лицо его — лицо мастера, вглядывающегося озаренными глазами во что-то дивное, возникающее под его руками и одному ему ведомое.

И, видя все это, я словно прирастаю к пыльной горячей дороге. Все существо мое рвется туда, под навес, заглянуть и узнать, что это такое таинственно рождается у Шайдур. Глаза обретают удивительную способность видеть сразу два мира. Я вижу с мельчайшими подробностями узорчатую, пушистую пыль на дороге, вижу, как солнечный луч, проходя через нее и наталкиваясь на мелкие грани твердых песчинок, отражается и пыль становится золотистой. И за этой пылью, как бы

паря в воздухе, повисает, млея от зноя, колодезная слега у конюшни, против солнца она кажется черной, хотя на самом деле она серая и тоже слегка золотистая, точно присыпанная знойной пылью. А у колодезного корыта, поросшего тиной, стоят кони и, раздувая ноздри так, что я вижу едва приметный выходящий из них знойный парок, переливающийся, как самые тонкие слюдяные нити, пьют холодную зеленую воду. Они пьют неторопливо, перебирая ногами, и деревянный стук их копыт глухо застывает в зное. И стоят они как будто не на самом солнцепеке, а где-нибудь в пойме под раскидистым навесом ветвей и блаженствуют. Да и что может быть блаженнее, чем вот так стучать копытом о деревянный настил, раздувать от всего своего довольства и естества ноздри и, морщась слегка, тянуть и тянуть зеленую, приносящую удивительное чувство отрады колодезную воду мягкими, пухлыми и смешно оттопыренными губами.

А в другом мире, за солнцепеком, стоит Шайдур и что-то извлекает из неведомых недр сухого, как звон, дерева. Я подхожу к нему и спрашиваю: «Дядька Шайдур, а что это у тебя?» — зная, что услышу один и тот же ответ: «А вот ты погоди маненько, увидишь — узнаешь. А не увидел, как же его узнать?» И его взгляд, брошенный на меня, лукав и весел, как взгляд лешего. Поэтому расспрашивать Шайдур я не смею. Я смотрю, как под его руками на станке воздушно, словно пена, растет стружка, уже путаясь в его волосах, и пытаюсь представить себе, что же может сейчас сделать Шайдур.

В Лешне нет дома, в котором бы не было работы Шайдур. Если увидишь на вильчике веселого конька, который тихо ржет в голубом воздухе и летит, не двигаясь с места, — это дело рук Шайдур. Петушок резной из дерева, украшающий ворота многих домов на веселой стороне, точно так же выпрыгнул из-под навеса и по какому-то тайному слову Шайдур взлетел на тесовые ворота, чтобы так и остаться там и весело петь. Нет ни одного резного наличника, не побывавшего сначала под поветью у Шайдур. И каждая семья, садясь в красный угол обедать, нет-нет да и помянет доброго мастера, потому что никто, наверно, на свете не мог так делать красные углы. Шайдур умел делать все. Его слушалось дерево: оно точно угадывало, чего от него хотел Шайдур.

А я вот никогда не мог угадать, что же это получится из бруса, лежащего на станке. И каждый раз мне приходилось поэтому идти по улице и как бы даже мимо Шайдур, не за-

мечая Шайдура. Но старик всегда замечал, когда я шел мимо его двора, и, на минуту отрываясь от станка, поднимал свою русую голову и, улыбаясь лукаво, говорил:

— Здравствуй, отрок, не хочешь ли посмотреть, что тут у меня делается?

Я не мог произнести ни одного слова в ответ, но упорно отрицательно качал головой и, проходя мимо к благоухающему колодцу и коням, был глубоко несчастлив.

Я лежу в Панском саду, как у нас по-старинному называют колхозный сад, подле мшаника, и слушаю, как кует в кузнице Беляног, чувствуя, как, очевидно, что-то изменилось в мире, если я так спокойно лежу подле мшаника, грузно, всем животом, на шелковой траве, и гляжу на свою детскую мечту. Чтобы попасть сюда, я должен был мало того что перескочить огромные заборы, миновать старую липовую аллею, превратившуюся почти в живую изгородь, поднимавшуюся к церковной колокольне и снизу доверху осыпанную поющими, стучающими и звенящими птицами, миновать — это было самое страшное — будку сторожа Крупени, и только тогда мне открывался мшаник. Сторож Крупеня, дневавший и ночевавший в садовой будке и знавший все проказы и отчаянность мальчишек, выработал особую тактику обороны сада: он не доверял собаке, которую мы легко приручали, и кричал через определенные промежутки времени:

— А, вот вы где! Вижу! Вижу!

Да, очевидно, что-то изменилось в мире, если я могу спокойно и никого не боясь лежать подле мшаника, ходить по неторным тропкам сада, наклонять ветви молодых яблонь и снимать с них зрелые плоды и мне тот же сторож Крупеня, старый, с полуслепыми глазами, предлагает из подола рубахи самые редкие сорта слив.

Кузница, в которой работает Беляног, стоит на Гомелевском шляхе, по которому раньше проезжали чумаки и цыгане. Кажется, с той поры в ней и осел род Белянога. Все здесь: и бурьянная земля, и строения, и вросшие в землю громадные, ржавые лемеха — могучие, старинные. Сколько здесь было сыновей и сколько они поворочали и поковали железа и подков, мне уже не вспомнить, а старики, которые могли бы многое порассказать о Беляноге и его кузне, давно уже сошли в могилу кто от возраста, а кто от войны.

Мое старое место в кузнице — отбитый кусок мельничного

камня возле горна. Я сажусь на камень и смотрю на кузнеца Беляного и пришедших побалакать с ним мужиков. Босоногий помощник Беляного раздувает горн, лица его почти не видно, на него ложатся только отблески огня, и его залатанные штаны и порванная на локтях рубаха горят осенней рябиной. И мне кажется — когда он повернется, я узнаю себя и свои ставшие умелыми и ловкими руки.

И это мне говорит Беляног:

— Ну-ка, подуй в горн.

Я был так мал, что не мог дотянуться до ручки поддувала и вынужден был, поднятый руками кузнеца, хвататься за нее и опускаться на землю. Зато уж и старанию моему не было предела.

— Ну, хватит, — говорил кузнец, — ишь как расстарался, сожжешь мне все железо.

Сделав работу, кузнец любил присесть в кузнице и послушать, как клекочут аисты. Сам Беляног и поселил их в нашей деревне, приспособив для этого громадную липу, возносящуюся к небу над кузницей. Туда же он затащил неизвестно как железное колесо, и моя бабушка при случае говорила: «Не иначе как ему ангелы помогали».

Но самое радостное приходило ко мне тогда, когда к кузнецу приводили ковать племенных жеребцов и я мог по его просьбе поднести нагели или молоток. Рядом с железной дверью кузницы стоял большой дуб, сохранивший на себе следы от рвавшихся и бунтующих коней. Беляног не принимал никакого участия, когда подводили танцующего, запрокидывающего голову жеребца, крепко схватывали арканом его ноги и прикручивали оскаленную морду к мощному стволу дуба. Лишь после этого Беляног поднимался с приступа кузницы и, указав мне на нагель и молоток, направлялся тяжелыми шагами к жеребцу. Он подходил прямо со стороны морды и ухал так, что жеребец сразу приседал на все четыре ноги и спина его выгибалась, как коромысло. Распутав аркан, Беляног освобождал уздечку и, потрепав уже легко и любовно по шее жеребца, нагибался к его копыту и произносил басом: «Н-но-но, леший, ногу. . .» — и прикладывал к ней тускло блестящую подкову. Глядя на работу Беляного, мне казалось, что кони сами протягивали кузнецу копыта и он легко и быстро одевал их подковами, и потом они мерили и обзванивали ими пространство, разнося добрую весть о кузнеце.

Мальчуган бредет по улице — улица широка, безлюдна и пустынна. Не видно ни одной собаки, не доносится хрюканье свиньи из придорожной канавы, только перебежит дорогу курица, оставляя за собой пыльный следок. Во дворах точно вымерло. Люди или в поле, или, забившись в глубокую и чуть продуваемую неведомо откуда берущимся ветерком-гуменником тень, спят в этот послеполуденный час. Ни одного непривычного движения и звука не уловили его ухо и глаз, и мальчуган бредет дальше. На нем выцветшие на коленках штанишки, не достающие до лодыжек. Глаза у него как будто сонные, а волосы светлые, спутанные, выжженные солнцем до такой белизны, что кажутся седыми. Дойдя до Гарпинкиной избы, точно присевшей на солнечном припеке, он некоторое время раздумывает, и меня вдруг охватывает острое ощущение, что этот мальчуган, бредущий по дороге в синей выцветшей рубаше, не кто иной, как я сам.

Подумав, я сворачиваю и иду по жесткой, сожженной придорожной пылью траве за Гарпинкин дом, к взречью, на выгон. На выгоне тихо, солнечно и пустынно: пустынна и как бы отсутствует река, не вынося на свою зеркальную поверхность ни единого мельчайшего звука, пустынны лопухи, пустынен повисший в зное татарник, настороженный и нестерпимо яркий вынесенными на солнце цветами. Из трав исчезло все, что придает им жизнь, движение, — пропали пиликающие звуки невидимых певцов, не проблеснет и не прожужжит тонко-медвяно пчела, не прогудит тяжеловоз-шмель. Нет, глазу поистине не на чем остановиться, скользит он по татарнику, по реке и вдруг натывается на лежащих у реки жеребят-однолеток — все они одной буланой масти и похожи друг на друга, как утята.

Я двигаюсь все так же отрешенно и бездумно, подхожу к дремлющему жеребенку, и меня вдруг охватывает желание вскочить на буланого конька и прокатиться по выгону. Жеребенок лежит, вот он рядом, не шелохнется, и только, чуть насторожившись, скашивается его изумрудно-зеленый и ласково-понимающий глаз. Я делаю еще шаг, и потревоженный жеребенок нехотя встает на передние ноги, потом на крепкие, округлые, мохнатые задние и беззвучно, словно тая в зелено-белом пространстве, отходит в сторону. Вздохнув, я начинаю приближаться к другому жеребенку, стараясь подойти к нему бесшумно и незаметно, не с головы, а с хвоста. И вот я уже почти рядом, и около меня, туго свернувшись, блестя своей гладкой короткой шерстью, с удивительно милой, приятной мордой, ле-

жит жеребенок. «Ну, чуток, — молю я про себя, — подожди еще чуток, не вставай». Мысленно я в один прыжок очутился возле жеребенка, схватил его рукой за короткую мягкую челку и лихо вскочил на покатую и притягивающую к себе, словно магнит, спину. «Ура!» — уже хочу вскрикнуть я, но меня одолевает неуверенность и скрытый где-то в глубине, почти неосознанный страх. Единственное мгновение упущено. Жеребенок замечает надвинувшуюся на него тень, быстрым летучим движением вскакивает сразу на все четыре ноги и, слабо, по-детски всхрапнув и вскинув в воздухе задними ногами, летит, выгнув спину и вытянув шею, по выгону.

Его взлет словно пробуждает меня, и я вдруг вспоминаю, что привело меня сюда, — Миронков сад. Вот он стоит, низко спускаясь к взречью, огороженный легким и высоким дощатым забором, точно деревянный остров среди трав и татарника. И сколько бы его ни обходить, он так и тянется, как будто без углов и без конца. А из-за забора только видны наклоняющиеся на выгон тонкие упругие ветки вишен, посаженные такими полными и красными пучками ягод, что сразу не заметишь листьев. А что там, за этими ветками вишен, и висят ли они в воздухе или тянутся от ствола, и сказать нельзя. «О, если бы можно было заглянуть в Миронков сад!» — думаю я, забыв уже о жеребятах, скрывшихся за околицей.

В Лешне издавна и почти за каждым двором есть сад. Сады тянутся за Лешней у Больших и Дальних мельниц прямо вдоль дорог, где нет ни одной избы, где никто не живет. Я помню, что однажды, возвращаясь с отцом из Залесья, мы ехали незнакомой, но как будто уже когда-то виденной дорогой и на протяжении всей этой дороги стоял сад. Невысокие ветви, сухие и пахучие, как осенние сушеные травы, которые собирала бабушка, наклонились так низко, что, встав на телеге, я мог пригнуть их к себе руками. А на ветвях густо висели крупные яблоки. Они были вытянутые, с поблескивающими, точно восковыми боками и казались ненатуральными. Но это были самые настоящие яблоки. Они пахли и слегка покачивались под ветром. А потом отец вдруг остановил лошадь, сошел с телеги и сказал:

— Благодать-то какая, Алеша... Хочешь, сорву тебе яблоко?

— Нет, я сам, — ответил я и стал рвать, шурша листвой, самые крупные и спелые и класть их за пазуху, где они ложились, холодя тело.

Но ни этот, ни Панский сад и никакой другой не привлекали меня так, как Миронков.

И точно из того же дерева, которое окружало сад, был высечен и сам дед Миронка. Был он невысокий, прямой, с серым и сухим лицом и как будто поседевшими глазами, ни на кого не смотревшими, а погруженными во что-то свое. Странно и нелепо одетый — в портах и глубоких калошах с навернутыми онучами, в черном пиджаке и обносившейся черной шляпе, — он точно не замечал зноя и никогда не чувствовал ни жары, ни холода. Он был для меня смутен и неопределен, хотя казалось, что в нем нельзя было не знать каждой подробности, каждой складки его пиджака, каждого следа от его калош и даже его задумчивой и тоже погруженной во что-то свое, сломленной у порога тени. Я даже не подумал спросить у бабушки, почему он один, были ли у него жена и дети. Я только помню его внучку, называвшуюся Миронковой внучкой, как и его сад. Худенькая, в пестром ситцевом платьице, с черными кудрявыми волосами, с темными, расплывающимися и блестящими от какой-то тайной радости, неожиданно близко посаженными глазами и высоко выпростанной нежной и белой среди черноты волос и глаз трогательной шеей, она выходила вслед за дедом, а иногда отваживалась добежать до Ермакова дома, чтобы встретить возвращавшуюся со стадом дедову рябую корову. И хотя казалось, мрачнее деда Миронки не было никого в Лешне, самым поразительным для нас было то, что девочка его нисколько не боялась и чуть ли даже не командовала им.

Появлялась она только летом, точнее, когда отцветал Миронков сад. Кто привозил ее из города, а потом увозил обратно, я так и не знал, но дед Миронка был тут ни при чем, так как дальше ближайших домов по улице он никогда не отлучался, да и то, если Миронка выходил из своей двери и не останавливался, как всегда погруженный во что-то свое, а неторопливо шагал по улице, это было целое событие. Мало того что бабы высовывались из окон или сбегались по дворам, глядя на шагавшего деда Миронку, или мужики кратко перекидывались словами: «Гляди-ко, дед Мирон куда-то потопал», казалось, даже куры и те, с удивлением уставившись на Миронку, забывали кудахтать.

И вот самое тайное желание, что иногда посещает детскую душу, было не залезать воровски в Миронков сад, а проходить перед его домом и ждать, что вот Миронка заметит, поймет и, взяв за руку, молча через заветную дверь поведет в сад.

Отчего рождались эти мысли, я не мог бы сказать. Может быть, несмотря на мрачность Миронки, детское сердце угадывало незлобивый характер и его тайную, глубоко спрятанную грусть. О саде деда Миронки рассказывали чудеса: и яблоки там не яблоки, и дули не дули, и огурцы растут высоко, как помидоры, и тыквы не тыквы. Но так только говорили, а знать толком никто не знал. Мне же хотелось увидеть все самому, а может, и потрогать, а главное, убедиться, есть ли там на огороде тыква, которую можно разрезать ножом и сразу есть. Что такая тыква была, в этом я нисколько не сомневался. Таков уж был дед Миронка. Глядя на него, верилось в самое невероятное. Поговаривали, что в молодости он ненадолго уезжал из Лешни и был где-то чуть ли не за морем, а уже возвратясь в наши края, свел дружбу со знаменитым садоводом и получал от него не только семена, но даже книжки с картинками. Посмотреть эти картинки, как и удивительные тыквы, становилось моей страстью.

Но шел год за годом, а Миронков сад оставался недоступным ни для кого из лешничан, кроме той белошоей девочки, которая так неожиданно появлялась и исчезала. Но самое, пожалуй, для меня необычное состояло в том, что дед Миронка был старинным приятелем бабушки, и иногда, выйдя из дому и переполошив всю улицу, он заходил к нам, медленно, опираясь на деревянную резную капулю, поднимался по пригорку, на какое-то время останавливался и внимательным взглядом окидывал разросшийся перед домом моравский вяз и, поколебавшись, прямой, мрачный, входил в ворота. Заметив еще издали приближение Миронки, я выскакивал из дому и бежал на огород. О чем говорила бабушка и дед Миронка, я так никогда и не узнал, но упорно продолжал проходить мимо его дома и издали заглядывать в недоступный сад.

Потом я подрост и совсем уехал из Лешни и не знал уже, что случилось с дедом Миронкой и его садом. Но бывают такие сильные впечатления и люди, поразившие все существо и как бы перевернувшие всю жизнь, что к ним возвращаются, и какое это чудо!

Возвращаюсь и я. И это всегда возвращение в чудесный полусказочный сад — сад моего детства.

Олег Стрижак

СТИХИ, ПРИШЕДШИЕ В РАЗЛУКЕ

1

Он будет петь, звенеть, ломаться,
несться размашисто, вразлет —
еще не ладожский, не майский,
еще апрельский первый лед.

Игольчатый, слепящий, крупный,
десятицветный, кружевной,
рассыпчатый, хрустящий, хрупкий —
всю ночь плывет передо мной.

И если вы того не знали,
то не представить никогда —
в Екатерининском канале
смеялась синяя вода,

и в ней дробились и играли
и плыли между льдин — лови! —
резные сказочные главы
собора Спаса-на-Крови. . .

А, черт! . .
Обидно и досадно.
Дожди. Безвкусная вода.
Мне не бродить по Ленинграду
И ледохода не видать.

А он пойдет!
Назло всем зимам,
для вас, друзья мои, пойдет
беспечно и неудержимо
апрельский невский первый лед.

2

Прозрачным вечером —
на Острова,
где тишина, как шелковые флаги.
Какое благозвучие в словах:
Крестовский остров,
Каменный,
Елагин. . .
Над Малой Невкой добрый старый мост.
Далекий звон последнего трамвая. . .
Поцеловать
тепло твоих волос,
шепнуть,
что так, наверно, не бывает. . .
Тревожный запах мокрого песка.
Залива запоздалая прохлада.
Какая вдохновенная тоска
роднит нас всех
вдали от Ленинграда!
На Острова —
смеяться и бродить
прозрачной ночью,
чуткой и нескорой,
на грани невозможного
любить
и эту женщину,
и этот город. . .

СПАСАТЕЛИ

Осенний бог норд-ост.
Носилась мгла по стенке,
и выпел, рыжий пес,
бесился на фор-стенге.

Рывки радиограмм.
Тревогой день обломан.
Кому-то
по камням
обшивку рвали волны. . .
Тяжелое лицо.
Глаза темнее ветра.
Шесть бешеных гребцов
в спасательных жилетах.
Оранжевый жилет.
Мальчишеская удаль.
В ту осень пили спирт
как средство от простуды.
В ту осень пили спирт
с усмешкою прямою.
За наш военный флот.
Потом за тех, кто в море.
За наши корабли.
За чертову работу.
В ту осень пили спирт.
Работали.
И все тут.

ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО

Люблю обыденные вещи
среди обыденных вещей.

На кораблях ругают женщин.
Конкретно. Чаще — вообще.
Тельняшки. Папироса. Полночь.
Ругают! . . Просто. Без причин.

За их беспомощность,
за помощь,
за унижение мужчин,
за непонятность, прихотливость,
капризы, вздорность, пустоту,
за их бесстыдство и стыдливость,
надменность, гордость, красоту,
за их змеиное коварство,

кошачью ласку, смену чувств,
неистошимое лукавство,
неисполнимые «хочу». . .

День на усталости замешен.
Заклепки. Холод. Желтый свет.
На кораблях ругают женщин.
За то, пожалуй,
что их нет.

Наталья Гранцева

ДЕМОН

Задумчивый, смешной, большеголовый,
Влюбленный мальчик замер на крыльце:
Во двор влетала юная Сушкова
На белом тонконогом жеребце.

Влетала вихрем между лип старинных
Во весь опор, стремглав, и наконец
Над клумбою французских георгинов
Вдруг на дыбы взвивался жеребец.

Так приближалось небо голубое,
Так набиралось сердце высоты,
Что легкое движенье головою —
И шпильки градом сыпались в цветы.

Мрачнели кудри за спиною гибкой,
Глаза горели черным в пол-лица.
И до крыльца — морозная улыбка,
И по аллее — топот жеребца.

ЕЛКА

1

В комнате оттаивает елка
От лесной дремоты навсегда.

Тяжелеют елкины иголки,
С веток грубых падает вода.
Старый ящик с мишурой цветною
Вынут из чулана и открыт.
Пахнет мандаринной кожурою
От фольги. И дождь сухой шумит.
Мамины сережки, кольца, бусы
И медали с кителя отца —
Все готово, чтоб на елке грустной
Трепетать, качаться и мерцать.
Скоро ли настанет этот вечер
С музыкой кремлевской в тишине?
Сколько смеха будет! Сколько свечек!
И озноб восторга по спине!

2

Потом в окошке постук возникал,
И мы со стульев праздничных срывались
И слушали, как топот нарастал
И с легким звуком двери отворялись.
И дед-мороз в кирзовых сапогах,
В тулупе и ушанке со звездой
Развязывал тесемки вещмешка
И улыбался пышной бородой.
И так был неожидан и хорош
Его подарок с ленточкою яркой,
Что мне хотелось, чтобы дед-мороз
Ребенком был и получал подарки.

Алексей Любегин

МОЕЙ ЖЕНЕ

В какой семье, в каком окне
цветешь, моя жена?
Пусть ты не знаешь обо мне,
но очень мне нужна.

И пусть кольца на пальце нет
и нет в шкафу фаты,
но знаю я и целый свет —
моя навеки ты.

И пусть с другой целуюсь я,
сердиться не должна:
ведь в этом есть вина твоя,
как и моя вина.

НА ВЫСТАВКЕ В ПТУ-111

Скажите, девушка, кого
вы ждете? Не меня ли?
До появления моего
вы скольких разменяли?
О, как мне близок поворот
печальной головы. . .
Но почему сомкнули рот
неумолимо вы
и не хотите отвечать?

О, смилуйтесь, молю,
о, как мне хочется кричать,
что я — не разлюблю,
что жизнь моя без вас пуста,
не жизнь, а сущий вздор. . .
Сойдите в тихий коридор
с альбомного листа!

СНЕЖИНКИ

На кухне у жаркой плиты повара,
как будто снежинки, танцуют с утра.

И солнышко дивное, как колобок,
их парит и в шею, и в спину, и в бок.

Над вкусной плитой с борщами, с супами,
где пар поднимается к небу клубами,

снежинками вы, поварихи, летайте,
но только не тайте, не тайте, не тайте. . .

ДРЕВО ЖИЗНИ

Да здравствует дерево то,
в которое долото
врезается, — из ствола
рождается плоть стола.
Да здравствует тот поэт,
который, поднявшись чуть свет,
за этим столом на заре
пишет о столяре.

И славься читатель тот,
который разинув рот
глядит на творенье резца
и чтит сочиненья певца!

Дина Макарова

ДОЛГИЙ МЕСЯЦ

ЗАПИСКИ
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

«Молодая, здоровая, темпераментная, миловидная, интеллигентная брюнетка (рост 162, вес 55, бюст 3, нога 36, талия 65, бедра 98, зубы белые, глаза карие, при чтении надевает очки) ищет холостого, не слишком пожилого мужчину с окладом не менее 300 рублей, с отдельной квартирой (плоших не предлагать) в районе Васильевского острова или Улянки. Справки по телефону: 5-00-44 с 9 до 18 час. Обед с 12 до 13 ч.».

Такое объявление висит над столом Людмилы. Так шутят в нашей мастерской. Надо бы снять, вдруг Людка обидится.

В комнате кроме меня только Сахаров. Антипов и Коля приходят позже. Сахаров сидит в единственном потрепанном кресле и, прикрыв глаза, покуривает изящную трубку собственной работы. Из старого приемника с обнаженными конденсаторами и пыльными радиолампами доносятся хрипловатые звуки блюза. Музыка Сахарову никогда не мешает. Я протягиваю к объявлению руку, но тут, усмехаясь, Сахаров останавливает меня:

— Не трогай, пусть почитает.

Действительно, пусть Людка почитает, раз для нее написано.

В первый же день я почувствовала неприязнь к Людке Копецкой. Меня раздражало в ней все: и ничем не оправданное высокомерие, и манера говорить, картавя и растягивая слова, и жеманничание, и ломание, особенно в присутствии мужчин. Она отвечала мне тем же, насмехаясь над моей рассеянностью.

Случалось, думая о чем-то своем, я говорила невпопад, а Люд-ка словно только того и ждала, чтобы уязвить меня в самое больное место. Она делала удивленные глаза, недоумевающе подергивала плечами и, прыская в маленький кулачок, молчаливо взывала к присутствующим: «Вы только послушайте, какую чушь несет Жанка!» Эти ее подергивания по поводу и без повода приводили меня в ярость, от которой начинали пылать щеки. Видно, Людка выбрала меня своей жертвой потому, что результаты ее труда были, как говорится, налицо, а вернее, на лице. И главное, это было совершенно безопасно: вконец стушевавшись, я не могла ответить ей тем же.

— А что это ты так покраснела? — спрашивала она, и в го-лосе ее слышалось откровенное удовольствие.

Несмотря на то что Людка довольно-таки женственна, и одевается с большим вкусом, и не дура, ей почему-то никто не звонит, не назначает свиданий, не ждет после работы. Наверное, мужчины боятся ее злого языка. Зато тем из них, кому она симпатизирует, от Людки нет покоя. Она назойливо требует внимания, надоедает бесконечными «чисто женскими» просьбами что-то принести, достать с верхней полки, поднять, распилить, починить и так далее.

Я еще раз перечитываю объявление над Людкиным столом. Может, все-таки снять?

На пороге показывается растрепанная Анюта и, не раздеваясь, усаживается перед зеркалом, поставленным на подоконник.

Таня приходит еще позже. Она, как всегда, опаздывает и торопливым испуганным шагом крадется мимо дремлющего Сахарова к нашей маленькой комнате, где сидим мы четверо: Таня, Ирина, Анюта и я. Майский не в счет: у него бесконечные дела и местные командировки, заседания в каких-то комиссиях и советах, так что он редко бывает на месте.

— Пиши объяснительную. Ты опоздала ровно на две минуты! — несется вслед Тане вредный голос всевидящего Сахарова.

— Сейчас, — бросает Таня, захлопывая дверь в нашу комнату, и это «сейчас» можно расценить двояко, но вернее — «сейчас, так и жди».

Мне не понять таких людей, как Таня. Зачем нарываться на неприятности? По существу Сахаров прав, если не вдаваться в детали и закрыть глаза на то, что он просто не имеет морального права требовать дисциплины от других. Нет, он ни-

когда не опаздывает, зато частенько просто-напросто спит в своем кресле, свесив на грудь лысеющую с затылка голову. У Тани уже вошло в привычку опаздывать, и ей от этого так же трудно отвыкнуть, как Ирине от сигарет. Говорят, что с предыдущей работы Тане предложили уволиться именно из-за бесконечных опозданий.

Последней раздевается Людка, но Сахаров делает вид, что занят работой, и ничего не говорит. Тане повезло: теперь ей не надо писать объяснительную, иначе и Людмиле придется сделать то же самое, а этого Сахаров не допустит, потому что Людмила ему нравится.

Меня возмущает такая несправедливость, но пока я молчу. Как-то не хочется портить хороших отношений, да к тому же человек я здесь сравнительно новый. Посмотрим, что будет дальше.

— Ну, купила материал на пальто? — спрашивает Людка у Анюты просто так, чтобы что-то сказать и польстить ей своим вниманием.

Я знаю, почему Копецкая вот уже целую неделю обхаживает простодушную Анюту: она всегда сменяет свой полу-презрительный или, в лучшем случае, снисходительный тон на льстивый или заискивающий, если ей что-нибудь нужно от человека. Дело в том, что Анина тетя — хорошая портниха, а Людмила собирается шить у нее какие-то обновки.

— Нет, не купила. — Анюта задумчиво приподнимает голову от планшета. — Нет, не купила. . . Я ведь такая: буду ходить, облизываться, примериваться, а купить не решусь. Да, я очень нерешительная. . . — И, внимательно взглянув на Людку близорукими глазами, вдруг спрашивает: — Что с тобой, Людкин? Ты сегодня так вся и светишься, глаза прямо огнем горят. . .

Вот и дождалась Людка обязательного утреннего комплимента — на это Анюта мастер. Людка считает себя красавицей и утверждает, что среди ее далеких предков была японка.

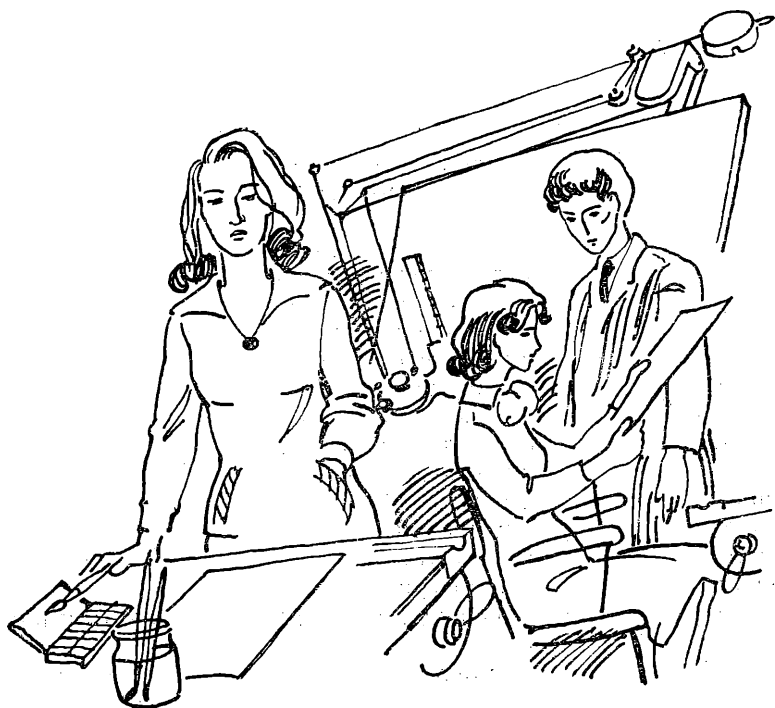
— Ну что ты выдумываешь, Аннушка, — ласково говорит Людка и, довольная, мелким японским шагом выходит из комнаты.

Как она может так лицемерить! Ведь буквально неделю назад, вот здесь, в комнате, когда Аня болела, Людка говорила о ней совсем не лестные вещи. Она относится к Анюте так же

неприязненно, как и к Тане, — с той она вообще не желает общаться лишь потому, что Таня — техник-конструктор и, по мнению Людки, не слишком развита.

Однажды Ирина сообщила всем, что в магазине «Искусство» продается толстая книга шрифтов, совершенно необходимая нам, дизайнерам, для работы. Стали собирать деньги, чтобы послать кого-нибудь одного сделать покупку на всех. У Тани денег не оказалось — она половину зарплаты отправляет матери в деревню, оставляя себе только на питание. У Людки не хватало на книгу нескольких рублей, и так как попросить было не у кого, то она, поборов гордость и свою неприязнь, обратилась ко мне. Но я уже пообещала все, что у меня есть с собой, отдать Тане. Тогда Людка униженно попросила Таню отказаться от книги в ее пользу. Не добившись своего и не умея сдерживать злобы, она громко и высокомерно заявила:

— Не понимаю, зачем тебе эта книга? Ты ведь не художник!



Это было отвратительно. Таня, покраснев до слез, спрятала лицо за чертежной доской. Это было мерзко! Кто из них больше художник — об этом еще можно поспорить.

— Между прочим, Таня имеет дело со шрифтами гораздо чаще, чем ты, — сказала я.

Действительно, со свойственной ей скрупулезностью Таня подбирает шрифты для шильдов кинокамер, фотоаппаратов, сувенирных коробочек и тому подобной продукции, которую мы разрабатываем, и книга ей просто необходима.

Людка замолкла, потому что возразить ей было нечем. Она и без меня прекрасно это знает.

Таня приехала учиться в Ленинград из Курской области, и, хотя жила в городе уже несколько лет, в ней все еще сохранилась застенчивость деревенской девушки. Хуже всего было то, что, не умея противостоять Копецкой, она частенько пыталась наладить с ней приятельские отношения, заискивая или угождая по мелочам. Побывав на какой-нибудь выставке, Таня приносила с собой множество проспектов — они нужны нам, художникам, потому что могут натолкнуть на интересную мысль или даже подсказать вариант конструкции или цветового решения, — и часто самые лучшие, самые красивые отдавала Копецкой. Прежде чем уйти на обед, она всегда спрашивала у Людки: «Тебе что-нибудь принести?» — и в поисках любимых Людкиных пирожков с зеленым луком могла обойти не одну пирожковую.

Я со страхом жду того момента, когда Людка прочтет объявление над своим столом, но за дверью тихо и только слышатся сквозь помехи звуки штраусовского вальса.

В одиннадцать мы пьем кофе: в ход идут граненые стаканы, майонезные банки со следами разноцветной гуаши и поллитровая алюминиевая кружка без ручки. Набив карманы пиджака ванильными сушками, Сахаров усаживается в свое любимое кресло. Изящно отставив мизинчик с перламутровым ноготком, бесшумно пьет кофе Людка из полупрозрачной фарфоровой чашечки. Дурачась и фыркая, пьет Антипов, перехватывая горячую кружку то одной, то другой рукой. В кухню бесшумно проскальзывает Аня. Руки ее по локоть в пятнах краски, лицо перепачкано грифельной пылью, но Аня может и обедать пойти в таком виде, если ее не подтолкнуть к раковине.

— А ведь вы не давали денег на кофе, Анна Григорьевна, — то ли шутя, то ли всерьез говорит Антипов.

— А я тогда не хотела, — оправдывается Аня. — Я совсем немножечко возьму песочку, пол-ложечки, и одну сушечку, — и она, налив кофе, на цыпочках выскальзывает из кухни.

Сколько раз в подобных случаях все краснели за Антипова. Во время общих обедов, состоявших чаще всего из пельменей, которые варила Ирина в огромной, на полведра, алюминиевой кастрюле, неизвестно как появившейся в мастерской, и докторской колбасы, он всегда хватал самый большой кусок, засовывая его в рот целиком и давясь при этом. Когда он становится мне особенно неприятен, я старательно вспоминаю о том, что у Антипова в деревне живет старая мать с парализованным, неподвижным братом его возраста и что Антипов почти каждый выходной ездит туда помогать по хозяйству, а это совсем не близко — пять часов в одну сторону. Об этом рассказал мне Коля, наш добрый красавец Коля, единственный человек, которому Антипов доверяет. От Коли, например, я узнала, что Антипов женат. Почему надо было скрывать и это, я так и не поняла.

Надо сказать, что Антипов работает много и на совесть, но, несмотря на это, почти все проекты, которые он выполнил за то время, как я работаю в мастерской, отклонены художественным советом. Не особенно расстраиваясь, Антипов с прежним упорством принимается за следующую работу, и ее опять забраковывают. Лет десять назад он успешно закончил среднее художественное училище и стал отличным мастером-краснодеревщиком, но вот, увидев его работы в дереве, одна «умная» голова сначала посоветовала Антипову, а затем и протасила его на приемных экзаменах в Мухинское. Кое-как защитив диплом, Антипов стал дизайнером и вот уже не первый год руководит группой, но ни одна его разработка не увидела света — все осталось только на бумаге, на неплохо выполненных планшетах. Специальность дизайнера оказалась Антипову не по плечу, так считают многие, но говорить об этом ему в глаза уже поздно, да и без толку: Антипов больше, чем прежде, верит в свой дизайнерский талант и считает, что его затирают. Его честолюбие находит утешение в том, что он как руководитель группы какой-никакой, а все-таки начальник, и потому его стол поставлен в центре нашей тесной мастерской, и сидит он лицом к нам, так что может наблюдать через всегда открытую дверь, кто чем занимается.

Вчера я ушла от мужа.

Пять лет мы прожили вместе, и, пожалуй, не было дня за эти годы, чтобы мы не поссорились. Ссоры вспыхивали по пустякам, так что потом было невозможно отыскать причину, а позже, сваливая друг на друга вину за возникшую размолвку, мы ссорились снова. И так без конца. Десятки раз после долгого, опустошающего душу разговора мы решали жить по-новому, не раз обменивались письменными заверениями; потеряв надежду договориться, решали разойтись, не мучить друг друга, и снова мирились, и снова ссорились, искренне веря, что эта ссора — последняя.

Вот, например, заметив на его обычно суровом лице неожиданную улыбку, я спрашивала:

— Чему это ты улыбаешься?

— С чего ты взяла, что я улыбаюсь! — взрывался Сережка, будто я уличила его в чем-то постыдном.

— Странно, почему ты отпираешься. Только что улыбался... Если не хочешь говорить — не надо, но зачем же отпираться? — недоумевала я.

Вот тут-то все и начиналось: Сережка упрямо доказывал, что вовсе не улыбался, и, не убедив меня, выскакивал в кухню, сильно хлопнув дверью; а я, не имея сил остановиться, шла следом и настойчиво бубнила свое.

Меня возмущало, что, выйдя на улицу, Сережка очень часто шел на несколько шагов впереди меня, а в трамвае или в автобусе он вообще забывал о моем присутствии и стоял, уткнувшись в газету, где-нибудь в другом конце вагона.

Если я, ожидая простого сочувствия или ласкового слова, жаловалась мужу на то, что мне пришлось тащить из магазина две тяжелые сетки с продуктами, он воспринимал это как упрек и буквально со следующего дня брался за домашнее хозяйство, освобождая меня от всех забот. Но это отнюдь не радовало меня, потому что в комнате воцарялось напряженное молчание, а на веревке уныло раскачивалось полинявшее белье, испорченное неумелой стиркой в машине.

Сережке не нравилось, что я задерживаюсь после работы. Он не говорил мне об этом прямо, но я и сама догадывалась по тому, какое у него было лицо, когда я приходила домой. Мне было непонятно, что страшного в том, если мы иногда отмечаем чей-нибудь день рождения. Ведь я и его приглашала к нам в мастерскую, но он всякий раз категорически отказывался.



Мне интересно в нашей компании: мы все — мухинцы, нам есть о чем поговорить и что вспомнить. А что ожидало меня дома? Сережкина усталость, его сердитое молчание и вечная просьба оставить его в покое. Надоело! Какую глупость сделала я, выйдя за него замуж. Меня, видите ли, просто обворожила его серьезность, увлеченность делом. И, честно говоря, это был первый в моей жизни мужчина, к которому меня потянуло физически. Он не любил пустых разговоров; мои вопросы казались ему или банальными, или глупыми и всегда были не ко времени, потому что отрывали его от каких-то очень важных мыслей, которыми была постоянно забита его умная голова. Его замкнутость становилась просто невыносимой.

Я с тоской вспоминала тот единственный вечер возле Казанского собора, когда, сидя рядом со мной на обледенелой

скамейке, Сережка долго и увлеченно рассказывал мне об одной своей идее. Какую ошибку я совершила в тот вечер? Может, перебила его неуместным вопросом, или взгляд мой был не слишком внимательным? С тех пор прошло пять лет. Пять лет, не расставаясь ни на день, мы жили рядом, но не становились ближе. И только по ночам, когда он, обнимая, шептал мне ласковые слова, я прощала ему его тяжелый характер. А наутро, увидев его по-прежнему отрешенное и непроницаемое лицо, наверное, в сотый раз я клялась себе, что больше на эту удочку не поддамся. Если я нужна ему только ночью — пусть ищет другую. Мне даже хотелось иногда, чтобы он *влюбился в ту, другую*, хотелось увидеть, каким он будет тогда. Но Сережка в минуты примирения говорил, что ни одна женщина, кроме меня, за все время нашей супружеской жизни его не интересовала.

Я завидовала парам, легко и беззаботно болтающим о пу-
стяках, катающим детские коляски; старичкам, безмолвно
идущим рядом и заботливо поддерживающим друг друга на
скользкой зимней дороге, и эта зависть к чужому счастью де-
лала меня злой, иногда и несправедливой по отношению к Се-
режке. Я не могла принимать его таким, каким он был, а он
не хотел или просто не мог стать другим и, главное, не пони-
мал или делал вид, что не понимает, чего я хочу от него.

В конце концов мое терпение лопнуло, и три дня назад, во
время очередной ссоры, я сказала ему, что таких, как он, кан-
дидатов наук в стране двести сорок тысяч, что он достиг пре-
дела и вряд ли станет профессором. . .

— А ты только и способна на то, чтобы рисовать чайни-
ки, — ответил он на мой выпад совершенно спокойным голо-
сом.

И это его спокойствие — значит, он действительно думает
так, а не сказал просто со злости — выгнало меня в тот вечер
из дома. Я и сама не раз думала: для чего я живу? Неужели
только для того, чтобы конструировать ящики для обуви, ве-
шалки или мясорубки? Вот Людке — той везет. Майский все
время подбрасывает ей интересную для художника работу:
значки, пудреницы, женские украшения, и Копецкой есть где
проявить свой тонкий художественный вкус. Мне же, видно,
суждено заниматься не тем, к чему лежит душа. Стоило ли
кончать институт? . .

Все замедляя шаг, я шла к автобусной остановке. Злость
давно прошла, но осталась обида, которую будет трудно за-

быть. Может, он и прав, нет у меня никаких талантов. А его я зря оскорбила, это точно. Сказать такую глупость! Как будто бы степень что-нибудь значит. Главное для ученого — талант и добросовестное отношение к делу, а этого у него, не отнимешь. И потом, Сережка считает, что если бы не я, он бы давно защитил докторскую. Может, так оно и есть? Ведь я буквально не нахожу себе места, когда он остается в лаборатории после работы или едет в публичку. А если ему все же удастся выкроить свободное время, то вольно или невольно это заканчивается ссорой, причина которой — моя, как он выражается, «патологическая ревность». Он называет меня «Отелло в юбке», я действительно очень ревнива; и смешно вспомнить, как, пытаясь избавиться от этой своей «болезни», потихоньку от Сережки я пошла на прием к психотерапевту.

Перед дубовыми дверьми одного из кабинетов платной поликлиники, дожидаясь приема знаменитого профессора, я просидела целый час в обществе настоящих психически больных и поняла, что только отниму у профессора его драгоценное время, но оплаченный номерок был в моей сумочке, так что уйти я все же не решилась.

Профессор оказался очень, то есть сравнительно для такого звания, молодым — это был высоченного роста мужчина, крепкого телосложения, с буйной кудрявой шевелюрой и добрым полноватым лицом. Сразу же почувствовав к нему расположение, я рассказала ему о всех своих сомнениях, он долго и внимательно слушал меня, задавая не совсем приличные, на мой взгляд, вопросы, я как могла отвечала на них, успокаивая себя тем, что я на приеме у врача и мне нечего стесняться. Затем он долго стучал меня по коленке, просил смотреть ему прямо в лоб; закрыв глаза, вытянуть руки, дотронуться пальцем до кончика носа, — по-видимому, я проделала это отлично, и профессор, уже ничуть не сомневаясь в моем полном психическом здоровье, записал зачем-то мой домашний и служебный телефоны, пожелав мне на прощанье всего доброго. Через два дня он позвонил мне на работу и справился о моем здоровье, потом еще и еще раз, а затем предложил встретиться. . . у него дома, чтобы поговорить о моем состоянии. Делая вид, что не вижу в этом ничего предосудительного, я вежливо отказалась, ссылаясь на отличное самочувствие.

. . . Когда подошел третий по счету автобус, я решительно повернула к дому и, встав на цыпочки, заглянула в окно: Се-

режка сидел на диване, обхватив голову руками, потом встал и, сняв плащ, повесил его в шкаф. Вот и все. Он не собирается бежать за мной. Иди, дорогая, ночуй где хочешь, это уже никого не волнует. Одумаешься — вернешься.

И вот уже три дня я живу в пустующей квартире брата — его взяли в армию, на переподготовку. Дом еще только сдали: нет газа, не работает лифт, и я, отдыхая на лестничных балконах, поднимаюсь на двенадцатый этаж.

Сегодня суббота, и меня одолевают халтурщики.

Первый. Здравствуйте, хозяйшюка! Вы не желаете подключить антенну?

Второй. Могу пробить дырки для карнизов без всякой пыли. Дырка — рубль. . . Сами будете? (Удивлен.)

Третий. Это вы просили обить дверь? Нет? Значит, перепутал.

У каждого свой метод.

Отверстия для карнизов и полочек я действительно пробивала сама: купила молоток, шлямбур и потихонечку все сделала. Нас в Мухинском и не тому учили. И с металлом умею обращаться — чеканить, например. Говорят, у меня мамин характер, и я этому рада. У мамы ничего не валилось из рук. За несколько часов мама могла сшить мне обновку из какого-нибудь довоенного сарафана. Из выгоревшего фетрового берета, если его вывернуть наизнанку и отпарить, получалась модная шляпка. У мамы были умелые и сильные руки, хотя на вид она была очень хрупкой женщиной и никак не могла поправиться после блокады.

Сегодня я чуть не опоздала: молодой мужчина в синем тренировочном костюме уже бегал по балкону соседнего дома, а пенсионер в белой ночной сорочке занял свое обычное место у окна и навел театральный бинокль на наши окна. Майский говорил по телефону и, выразительно посмотрев на часы, поздоровался со мной кивком головы. Он редко делает замечания. А Ирину, как ни странно, еще и выгораживает перед нами. Вот и сегодня, положив телефонную трубку на рычаг, он спросил осторожно:

— Ирочка еще не появилась?

— Наверное, нет, — пожала я плечами.

— Да-а-а, — протянул он, будто припоминая, — она, кажется, пошла в библиотеку. Тогда мне придется попросить вас,

Жанна, отнести это в центр, шефу, — и Майский протянул мне бумаги.

Меня так и передернуло от возмущения, но я, ни слова не говоря, все-таки взяла их и вышла из комнаты. У меня были такие грандиозные планы на сегодняшний день: весь вчерашний вечер я думала над заданием, которое дал мне шеф, — проектом новой больничной койки. Задание это было мне по душе, не то что вешалка для одежды или подставка для яиц. По сути шеф предложил мне серьезную и сложную дизайнерскую разработку.

О подобной работе, проведенной в Лондонском колледже искусств и дизайна, я читала недавно в одном из английских журналов: была разработана универсальная больничная койка. Она была снабжена переговорным устройством, у ее изголовья размещалась целая портативная лаборатория, позволявшая подвести к больному кислородное питание, сделать переливание крови, наконец, в течение нескольких секунд эту койку можно было раздвинуть в длину, приподнять или опустить в трех местах, а в случае необходимости она превращалась в операционный стол. Конечно, шеф понимал, что такая задача мне одной не по силам, но он обещал по мере освобождения группы от других договорных работ подключить к предпроектному исследованию еще несколько человек.

Вот я и собиралась, не откладывая дела в долгий ящик, набросать эскизы первых своих идей, мне просто не терпелось это сделать. А тут эти дурацкие бумаги. Ирина, конечно же, придет минут через пятнадцать, но Майский не любит ждать, у него такая привычка, и я почему-то должна тратить свое рабочее время на секретарские дела. Ирине позволено слишком многое: она может опаздывать или под каким-либо предлогом вообще не явиться на работу, в то время как с Анюты или Тани за каждую минуту опоздания требуют объяснительную записку. Разгадать все это очень просто: Ирина перепечатывает для Майского его диссертацию.

Мне не трудно было сходить в центр. Погода стояла чудесная, и выйти из нашего полуподвала на свежий воздух было одно удовольствие. Но я представила, как принесу эти бумажки шефу и он, увидев меня в качестве курьера уже не в первый раз, подумает, что я просто отлыниваю от серьезной работы. Шеф не входит в подробности нашей обособленной жизни и вряд ли догадывается о том, что все мои мысли в данный момент без остатка поглощены больничной койкой.

Когда я вернулась, Ирина уже раздевалась, и в нашу комнату мы вошли одновременно. Она открыла рот, чтобы пролететь какое-то объяснение, но Майский, к ее удивлению, предупредил ее спасительным вопросом — так родители отвечают за своих малолетних детей, чтобы те не сказали лишнего:

— Ведь вы были в библиотеке, не правда ли, Ирочка? Вчера вы, кажется, говорили о том, что задержитесь. . .

— Да, я была там, — чуть позже, чем это следовало сделать, сказала Ирина. В ту же минуту она уселась за машинку, придвинув к столу скрипучий винтовой стул, напоминавший длинноногого паука-косисено — конструкторскую разработку Майского, — и, прерывая неловкую паузу, громко забарабанила по клавишам старой «Москвы».

После обеда Майский ушел на очередной совет, захватив с собой большой и тяжелый портфель, — это означало, что он уже не вернется. Частенько портфель распирали фрукты и молочные бутылки, но в закрытом виде он все равно внушал уважение.

Ирина, проводив Майского взглядом до самых ворот, — тот шагал быстро, широко расставляя длинные ноги и размахивая в такт черным портфелем, — выскочила из-за машинки и уселась с книгой в руках на его место.

Мой стол стоит вплотную к столу Майского, и в те редкие дни, когда Майский сидел напротив меня в течение восьми часов, голова моя к вечеру наливалась тяжестью. Мало того, что он буквально не давал мне работать, требуя внимания к своим злободневным словоизлияниям, так еще и ждал от меня ответа или вступления в дискуссию. Утомившись слушать его и уже не соображая, о чем речь, я попеременно то согласно кивала головой, то осуждающе качала ею из стороны в сторону, то сочувственно восклицала: «Неужели?!» — и, наверное, моя реакция не всегда была к месту.

Мне страшно надоела его болтовня, и в один прекрасный день я мягко и вместе с тем решительно заявила своему начальнику, что все это очень интересно, но его разговоры совершенно не дают мне работать. И Майский приумолк, но ненадолго. Теперь жертвой своей эрудиции он избрал робкую Таню и донимал ее в мое отсутствие так, что Татьяна нередко оставалась без обеда.

— Анюта, почему бы тебе не стать матерью-одиночкой? — Ирина оторвалась от книги и насмешливо-серьезно посмотрела

на зардевшуюся Аню. — Ты обожаешь детей, так в чем же дело? Заведи себе здорового любовника и роди от него. Ведь тебе уже пора, слава богу, под тридцать.

Ирина любит подтрунивать над Аней, и все шутки ее на одну и ту же тему. Недаром у нас ее прозвали «бабушкой сексуальной революции». Ирина старше нас всех и проповедует свободную любовь, а сама души не чает в своем муже. И если он не звонит ей в назначенный час, то сидит наша Ирина возле телефона грустная и без передышки курит, нервничает.

— Ну что ты, Иришка, типун тебе на язык! — испуганно бросает Аня. — Мать тогда меня из дома выгонит. Да и стыд-то какой: в институте на меня все пальцем показывать будут.

— Господи боже! — возмущается Ирина. — Бабе скоро на пенсию, а она все за мамин подол держится. Когда же наконец ты будешь самостоятельной?

— Да, Иркин, мне трудно, я в одиночку борюсь с жизнью, — патетически произносит Аня. — Но я никогда не горюю, хотя мне тяжело. Мне знаете как тяжело! — расплывается она, снимая очки, и темные пятнышки зрачков расширяются от волнения. Ирина задела ее за живое. — Сейчас я одна — что поела, то и ладно. А будет ребенок — кто его прокормит? У матери пенсия мизерная — всю жизнь медсестрой работала, так что же — на одну мою зарплату жить втроем? Это невозможно. Я хочу, чтобы мой ребенок был не хуже других, чтобы у него был отец и все, что имеют другие дети.

«Может, она и права», — думаю я.

Иногда Ане звонит какой-то мужчина и, мягко груссирюя, просит ее к телефону. Нелепо хихикая, она отказывает ему в свидании, ссылаясь на то, что и по вечерам она занята работой. Ирина ругает ее за беспечность — «смотри, пробросайся!», но Аня только смеется в ответ. Она никогда не рассказывает о нем, и нам остается только гадать, что это за тип — обладатель интеллигентного баритона.

Когда-то и я думала о том, что если не выйду замуж до тридцати, то просто рожу ребенка от приятного мне человека. А вышло совсем по-другому: и замужем была, и мужа любила, а ребенка нет. Побоялась оставить. Слишком много мы ссорились, и не было дня, чтобы я не думала о разводе. . . Решили всё его слова. «Оставляй, только не делай из этого траге-

дии», — сказал он, когда узнал, что я в положении. Тогда я еще училась в институте, и нам, конечно же, было бы очень трудно — он это имел в виду. Я была уверена, что мое известие страшно обрадует его, что он обвинит меня, как в кино, и скажет, что он счастлив или что-нибудь в этом роде, а он. . . И теперь я жалею. . . Надо было решать самой.

Таня не принимает участия в разговоре. Она молчит и медленно размешивает акварель в стеклянной баночке из-под крема. Таня похожа на балерину: худенькая, с выпирающими ключицами и с большими, словно загримированными глазами на почти всегда грустном лице. Гладко зачесанные волосы собраны в пучок на затылке. По-видимому, она себе нравится: миниатюрные фигурки балерин, в которых угадывается явное сходство с Таней, заполняют все свободное пространство листа, прикрепленного к чертежной доске. В этих фигурках столько страсти, столько экспрессии, просто не верится, что все это — Таня, ее внутреннее «я». Вот тебе и загадка.

— А ты что думаешь, Таня? — все-таки спрашиваю я. Мне интересно, что она ответит.

Тане двадцать шесть. Она моложе Ани и тоже не замужем. Таня приподымает голову, пожимает плечами и задумчиво смотрит в окно. Лицо ее совершенно серьезно. В своих суждениях она крайне осторожна, боится обидеть кого-нибудь своим несогласием или резким словом.

— Пожалуй, Аня права. Трудно воспитывать ребенка одной, — говорит она и потом добавляет уже для нас с Ириной: — Но я думаю, что каждой женщине нужно иметь детей.

Я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена только в одном: рано или поздно у меня появится малыш. Может, эта моя любовь к детям — первобытное, инстинктивное чувство, но я не могу слышать равнодушно детский плач — у меня внутри все так и разрывается от жалости; хочется подбежать, утешить, взять ребенка на руки. Эти славные малыши, особенно те, что еще не умеют ходить и сидят на руках у родителей, — как мило они улыбаются, глядя на вас. Это самые приветливые человечки на земле.

Мой кульман стоит ближе всех к телефону, и мне без конца приходится отвлекаться на его звонки. Вот и теперь кто-то звонит и говорит про какое-то объявление на дверях Академии художеств и про то, что ему нужна *именно такая натурщица*.

— Вы не туда попали, — раздраженно говорю я и собира-

юсь повесить трубку, но незнакомец настоятельно требует позвать кого-нибудь к телефону.

— Я правильно набрал: пятнадцать два ноля сорок четыре? — спрашивает он.

— Да, правильно, но я не понимаю, кого вам все-таки нужно?

И тут с места срывается Ирина. Она еле сдерживается от смеха и, открыв дверь, зовет:

— Людка, тебя к телефону!

— Кто? Папа? — удивляется Людка и, провожаемая нашими недоумевающими взглядами, — что задумала Ирина? — неторопливо подходит к телефону. Кроме папы, Людке никто не звонит, он сейчас на курорте, и потому Людка встревожена. Она берет трубку, внимательно слушает, сдвинув к переносице ухоженные бровки, и смуглое ее лицо вдруг неожиданно краснеет. Бросив трубку на рычаг, Людка выскакивает из комнаты и выбегает на лестницу. Ирина несетя следом. И только теперь, восстанавливая в памяти обрывки фраз и соединяя их в целое, я понимаю, в чем дело: Ирина повесила копию того объявления, что красовалось над Людкиным столом, на двери Академии художеств.

Таню и Анюту их незамужнее положение волнует мало, а если они и думают иногда об этом, то тщательно скрывают от других; напротив, беспокойство Копецкой по этому поводу сквозит в каждом разговоре, в каждом споре на эту тему. Если к нам в мастерскую приходят посетители мужского пола и, поджидая Майского, сидят в нашей комнате, то Копецкая под любым предлогом сразу же появляется у нас, делая вид, что ей необходимо именно сейчас посмотреть журнал мод, принесенный Ириной еще неделю назад, или пролистать прошлогодний отчет, спрятанный в столе Майского. Однажды, когда я рассказывала девочкам о Сережкином друге, недавно защитившем докторскую диссертацию, холостяке, Людмила очень оживилась и как бы в шутку попросила меня познакомить ее с ним, а потом надолго, почти на целый месяц, оставила меня в покое и не донимала своими насмешками.

Мне впервые становится по-человечески жаль Копецкую. Иринина шутка на этот раз оказалась слишком грубой. Может, подойти к ней, успокоить? Но разве она поверит в искренность моих слов теперь, после стольких дней откровенной взаимной неприязни?

Это письмо так и не прочел тот, для кого оно было предназначено. Я переписываю его в дневник, чтобы через несколько лет прочесть заново и постараться понять, кто из нас был виноват в том, что мы расстались. Сейчас мне кажется, что я достаточно умна, чтобы рассудить все объективно, что вряд ли через несколько лет буду смеяться над тем, что здесь написано. Но почему же, читая записи трехлетней давности (не говоря уже о более ранних), я удивляюсь своей наивности, а порой и глупости. Ведь и тогда, три года назад, я казалась себе женщиной умной и, оценивая происходившее, могла поклясться, что права в своих суждениях и никогда не изменю им.

«Если у тебя еще есть желание попробовать все наладить в последний раз, то прошу тебя серьезно отнестись к тому, что здесь написано.

Чего я хочу от тебя:

чтобы ты не был так груб со мной, не придирался к каждому слову, если у тебя плохое настроение;

твой тон в разговоре со мной (именно со мной!), часто высокомерный, вызывает у меня желание отвечать тем же; ты слишком долго помнишь обиды, копишь их, и это мешает нам жить: ведь и меня ты обижаешь словами иногда безо всякой на то причины, но я стараюсь побыстрее забыть это, если вижу, что ты и сам раскаиваешься;

ты очень вспыльчив — неужели нельзя как-то сдерживаться? Ты отрицаешь, что ревнуешь меня, а я это чувствую, не злись; но поверь, мне никто не нужен, кроме тебя;

у тебя есть такая привычка: не предупредив, уйти куда-нибудь на час-два, а то и больше; вспомни тот случай, когда ты вышел покататься на лыжах и только через восемь часов позвонил соседке и попросил передать мне, что скоро будешь дома. Или совсем свежий пример: сказал, что идешь в публичку, — и сказал правду. Но в три часа ночи, так и не дождав-шись тебя и перебрав все возможные варианты, я догадалась позвонить в лабораторию — ты оказался там. . . По-моему, это жестоко. . .

Теперь из области интимного: мне кажется, что ты до сих пор стесняешься меня, боишься сделаться «невыносимо близким»; стыдишься при мне раздеваться, мыться в ванной и даже снимать очки. Мне так нравится смотреть в твое лицо без очков — оно такое близкое, родное. . . Ты отдаляешься от меня, прикрывая свой «комплекс» высокомерием и грубостью, и тем самым портишь все; ты стараешься не говорить мне о своих

болезнях так же, как и о неудачах в работе, и, как ни странно, тебя только раздражает мое сочувствие. Это очень обидно, и я не раз говорила тебе об этом, но все остается по-прежнему.

Что я постараюсь побороть в себе:

ревность. Когда ты холоден со мной, мне мерещится другая где-то там, возле тебя, рядом с любимым твоим делом. Тебя долго нет из магазина, и я уже представляю себе, что ты зашел к *ней*, а потом наспех купил что попало под руку. Если бы я разучилась ревновать, ссор было бы гораздо меньше. Прошу тебя, делай скидку на это и, если можешь, тактично отводи мои подозрения, я же в свою очередь постараюсь сдерживаться;

если бы я верила, что ты действительно все еще любишь меня — совсем недавно ты снова повторил мне это, — я бы, честное слово, попыталась не отвечать грубостью на незаслуженную грубость, но мне кажется, ты просто этого не заметишь. Наверное, я все еще люблю тебя, а то, что происходит сейчас между нами, я думаю, пройдет. Может, у тебя есть основания не верить мне? Скажи сразу же, и все станет на свои места. Только, ради бога, не вспоминай дурацкие эпизоды из далекого прошлого — первого года нашей совместной жизни. Я и сама себя часто казнию за те неприятности и обиды, что тебе принесла.

Напиши мне вот здесь, какой бы ты хотел видеть меня. . .»

В тот день он пришел неожиданно рано и стал разогревать обед, читая при этом «Вечерний Ленинград». Эта его способность читать в любых условиях меня раздражала в нем всегда, но в тот день, когда я написала такое хорошее — так мне казалось — письмо, вид поглощенного газетой мужа просто оскорблял мое и без того уязвленное самолюбие. Подойти к нему и протянуть письмо — он не поймет, в чем дело, и, кинув его на стол, продолжит чтение газеты. Ждать, пока он поест, не поднимая глаз от листа и не замечая ни меня, ни моего состояния, — нет, этого я не могла. . .

Что со мной? Я сижу за столом рядом с нашим фирменным красавцем Колей и на редкость удачно острою, меня слушают и смеются, а это верный признак того, что среди присутствующих есть человек, который мне не безразличен.

Наступили дни, о которых я мечтала совсем недавно: теперь я имею право не торопиться домой, потому что меня там

никто не ждет. Со спокойной совестью я могу посидеть в компании сослуживцев, попеть, потанцевать и пококетничать, будто мне все еще двадцать, — у Коли сегодня день рождения.

Мы поем «Вечерний звон». Сахаров — маленький и тощий, — полузакрыв глаза, умело дирижирует нашим спевшимся ансамблем. Антипов басит громче всех, вырываясь вперед, и Сахаров грозит ему маленьким кулачком. Потом кто-то на несколько секунд гасит свет, и Коля, не упуская момента, целует меня прямо в губы. Это настолько неожиданно, что, когда загораются лампы, я долго не могу смотреть на Колю, мне стыдно.

Совсем недавно я считала, что красота мужчине ни к чему. И действительно, разве не смешон мужчина, любующийся на себя в зеркало? Короче говоря, очень давно я выработала в себе иммунитет против мужской красоты, потому что симпатичные парни казались мне далеко не умными, — так оно и бывало чаще всего. Но вот в нашей дизайнерской мастерской появился Коля, и моя теория о вредном влиянии красоты на умственные способности противоположного пола разлетелась в пух и прах. Красавец Коля оказался не только хорошим человеком, но и талантливым дизайнером, а его проекты и готовые образцы изделий украшали не одну выставку дизайнерских работ.

А может, я просто обманывала себя и красивые мужчины не казались мне глупыми? Скорее всего, я просто не надеялась, что могу понравиться красавцу, именно потому, что сама далеко не красавица. А любовь без взаимности — это не для меня. В самом деле, я просто не представляю себе, как можно любить человека, которому ты неприятна или, в лучшем случае, безразлична? Не понимаю. Это, по-моему, убивает всякое чувство, унижает человеческое достоинство. Первая любовь без взаимности — это простительно, а любовь молодой женщины должна быть только взаимной. Не любить — это значит замечать все присущие человеку недостатки, все мелочи, все дурные привычки, а недостатки, как известно, есть у всех, но вот в том-то и счастье, что когда любишь, то стараешься не замечать их или неназойливо, тактично помогаешь от них избавиться. А как можно любить того, кому, например, неприятно, как ты ешь, или как смеешься, или щуришь глаза, или... да мало ли что может не нравиться в человеке. Так что любовь без взаимности — не для меня.

И еще — я давно собиралась высказать свои соображения

по поводу так называемой «девичьей гордости», которую усиленно проповедовали в книгах пятидесятых годов. В чем она? В том, чтобы изображать недоступность перед человеком, который любит? Это возможно, если сама не испытываешь ответного чувства. А если любишь, и любишь по-настоящему, то не думаешь о последствиях, не рассчитываешь заранее, а что из этого выйдет. И безоглядно стремишься навстречу любимому, потому что веришь: ты ему так же необходима, как и он тебе. А с точки зрения обывателя, который призывает свою дочь иметь «девичью гордость» в том смысле, в каком нам преподносили ее в школе, Джульетта этой гордости не имела.

Кто-то опять гасит свет, наверное, Анюта, и я жду, что Коля поцелует меня еще раз, но тут между нами оказывается Ирина, и, когда Антипов предлагает скинуться по рублю, она, многозначительно подмигнув ему, говорит:

— Пусть Жанна с Колей прогуляются. Я думаю, они не будут возражать.

Мы ничуть не возражаем, встаем из-за стола, и Коля подает мне плащ. У выхода из парадной он обнимает меня за плечи, его мягкие усы непривычно щекочут щеку. Наспех купив какого-то вина, мы долго стоим перед дверью в мастерскую. У меня кружится голова, хочется сесть на подоконник, склонить голову на сильное Колино плечо и пореветь. Нет, не от счастья... Мне не забыть Сережку. А Коля — он добрый, он поймет и утешит.

— Я нравлюсь тебе? — спрашиваю я шепотом, думая о том, что этот вопрос задавали ему, наверное, уже десятки женщин, те, что без конца требуют его к телефону, и еще о том, что, в сущности, меня это вовсе не интересует; просто я не привыкла целоваться вот так, без всяких предварительных объяснений.

— Нравишься, — только и отвечает он и снова целует, но теперь это мне почему-то совсем не приятно. Стоило вспомнить про Сережку, как сразу же улетучилась моя новая любовь.

Бутылка с вином выскальзывает у Коли из-за пазухи и со звоном разбивается о цементный пол.

— Ну и черт с ней, — спокойно говорит Коля и, взяв меня под руку, снова ведет в магазин: деньги-то общие и бутылку от нас ждут.

Когда мы возвращаемся в мастерскую, собравшиеся за столом дружно тянут «Дорогой длиною...». Завидев меня, Ири-

на мгновенно замолкает, подзывает к себе и просит у всех тишины. Это значит, что она уже довольно пьяна и сейчас мы будем петь с ней дуэт Прилепы и Миловзора из «Пиковой дамы» — «Мой миленький дружок». Я никогда не ломаюсь, мне очень нравится петь на два голоса, но наш однообразный репертуар, наверное, уже всем надоел, а Ирина неумолима. Она упрашивает, требует, наконец обижается, и я сдаюсь.

Мой миленький дружок,
Лю-у-без-ный пастушок,
О ком я во-о-зды-ы-хаю
И страсть откры-ы-ть же-е-ла-ю,
Ах, не-е при-и-шел пля-а-сать,
Ах, не-е при-и-шел пля-а-сать. . .

Эти простодушные слова и чудный, трогательный мотив так действуют на меня, что вдруг перехватывает горло и начисто пропадает голос. «Ах, не-е при-и-шел пля-а-сать. . .» — тянет Ирина, жестами призывая меня к пению, но мне уже не до песен. Все это уже было, было, десять раз было — и эта подвыпившая компания, и пустые бутылки ркацителю на столе, и «Мой миленький дружок», но никогда еще я не чувствовала себя так одиноко. «Не знаю, не знаю, не знаю отчего. . .» — надрывается Ирина. Да, не знаю, не понимаю, отчего он так долго не звонит? Может, действительно во всем виновата только я, мой ужасный, как говорит Сережка, характер?

Потом мы танцуем, оставив гореть одну настольную лампу под металлическим абажуром: Ирина с Антиповым, я с Сахаровым, Людка с Колей. И вдруг перед нами возникает видение: черноволосая молодая женщина со злостью хватает за руку нашего Колю, отрывая его от Людки, и приказывает ему громким шепотом:

— Одевайся, там ждет такси!

— Куда? Зачем?! — оторопело спрашивает Коля, но женщина уже не слышит его вопроса, она бежит к вешалке, бросает Коле плащ, и они исчезают. Только теперь до нас доходит, что женщина вошла через окно — дверь была закрыта на замок.

— Вот это жена! — восклицает Антипов басом, и в его голосе слышится беспредельное восхищение. . .

Настроение у всех подавленное. Мы убираем со стола огрызки, выносим бутылки в кухню и прячем их в шкаф.

— Вот это женщина! — шепчет Сахаров.

И мне она симпатична несмотря на отчаянное, нервное лицо. Наверное, она любит Колю.

Не дожидаясь, когда соберутся все, я выхожу на улицу и догоняю троллейбус. Мне очень неловко — меня покачивает, и я вынуждена держаться за поручень. Нет ничего отвратительнее на свете, чем пьяная баба, говорю я себе. И вдруг прямо перед собой вижу ту самую молодую женщину, Колину жену.

— Это вы? — спрашиваю я и сажусь рядом.

— Послушайте, что творится у вас в мастерской? Коля чуть ли не каждый день приходит в двенадцать, — говорит она и так смотрит на меня, словно я одна во всем виновата и должна отвечать. Если бы знала она, что полчаса назад я целовалась с ее мужем... Я чувствую к ней чуть ли не материнскую нежность, хотя эта женщина немного старше меня.

— Не сердитесь на него, честное слово... Я понимаю, как трудно быть женой такого красавца: ведь к нему так и липнут, так и липнут все подряд, — бормочу я невпопад. Мне необходимо выговориться, я почти физически ощущаю, как очищаюсь от какой-то скверны, как становлюсь немного лучше, чем была полчаса назад.

— Какой толк от его красоты? — Женщина грустно смотрит в черное окно троллейбуса и замолкает.

— А где же Коля? — спохватываюсь я.

— Мы с ним поссорились.

Все как у нас. Повздорили — жена прыгнула в подошедший троллейбус, муж остался на остановке или вернулся назад и теперь танцует с Ириной. Нет, у нас было по-другому: поссорившись, мы расходились в разные стороны и почти одновременно поворачивали обратно, навстречу друг другу, и шли рядом, забыв обиду.

После обеда пришел шеф и объявил о производственном собрании. Майского не было, и потому о делах в группе докладывал Антипов. Он встал, окинув присутствующих победным взглядом, и на его румяном лице с черной щеточкой усов появилась чуть заметная усмешка. Он сказал, что Татьяна Ивановна, опоздав вчера на две минуты, категорически отказалась писать объяснение и что она, не разбираясь в элементарных вещах, все время задает ему вопросы, отвлекая от работы. Он, Антипов, доводит до нашего сведения, что им

подана докладная записка, в которой он просит «создать комиссию для проверки профессиональной пригодности Татьяны Ивановны Щегловой, техника, в соответствии с получаемым окладом».

Я уже знала, что не смогу молчать на этот раз, и только уговаривала себя не волноваться: «Я спокойна, я спокойна, я совершенно спокойна...» И хотя никто не давал мне слова, я вскочила с места. Меня трясло от возмущения.

— Кто из нас может похвастаться тем, что ни разу не опоздал? Антипов? Или ты, Сахаров? Никто! Мы разболтались, но одним прощается все, другим небольшая оплошность грозит лишением премии. И я могу сказать, в чем здесь дело...

— Берите пример с меня, — миролюбиво сказал шеф, откидываясь на спинку кресла. — Я еду на трех видах транспорта и никогда не опаздываю. У вас все, Жанна Николаевна?

— Нет, — отрезала я. — Почему Антипову никто не объяснил, что отвечать на вопросы подчиненных входит в обязанности ведущего конструктора? А он вместо этого пишет докладные записки. Не странно ли это? Странно и непонятно, потому что дело-то совсем не в том...

— В чем же? — спросил настороженно шеф, и лицо его впервые за все время стало серьезным.

— А в том, что Таня пригрозила Антипову рассказать на общем собрании про его обеденные пьянки. Я сама слышала, как Антипов говорил ей: «Подожди, я тебе припомню».

— Ну, это уж слишком, — выдохнул побледневший Антипов и, вынув сигарету из кармана пиджака, закурил.

«Вот негодяй, отпирается. И еще хотел вступать в партию. Да я сама пойду на собрание и скажу, что в партии таким не место!» Наверное, с минуту все молчали. Сахаров старательно рисовал чей-то профиль, Таня сосредоточенно смотрела в пол. Коля, взглянув на меня прекрасными сочувствующими глазами, перевел взгляд на шефа.

Ведь не далее как вчера, во время обеденного перерыва, Антипов достал из внутреннего кармана потрепанного пиджака пять рублей и широким купеческим жестом бросил их на стол, предлагая Коле сходить за вином в ближайший магазин. К моему удивлению, Коля немедленно оделся и вышел. Не знаю почему, то ли потому, что он немного моложе Антипова и Сахарова, а может, потому, что работает в мастерской недавно и находится под началом Антипова, но он частенько берет на себя роль мальчика на побегушках и при этом сильно

теряет в моих глазах. Спросить у него, зачем он это делает, я не решаюсь, но каждый раз, когда он уходит за сигаретами для Сахарова, я отвращиваюсь, потому что мне не хочется видеть его смиренного лица в эту минуту. Я знаю, что в выходные дни, свободные от поездки в деревню, Антипов приходит в мастерскую Коли, приходит конечно не с пустыми руками, и, сидя до глубокой ночи, жалуется ему на свою неудачную семейную жизнь, на шефа, который не оценил по достоинству его таланта, на Сахарова, который якобы метит на его место. Об этом мне рассказывал Коля — он почему-то откровенен со мной.

— Вы понимаете, Жанна Николаевна, какие тяжкие обвинения вы предъявляете Петру Степановичу? Честно говоря, мне просто не верится, что все это вы сказали серьезно. — Шеф недовольно барабанил тонкими пальцами по столу, обдумывая что-то.

Неужели он не верит?! А девчонки — почему они молчат? Сейчас собрание кончится, мы разойдемся по своим местам, и все останется по-прежнему. . .

— Значит, вы не верите мне? — Я кое-как протиснулась между стульями и выбежала в другую комнату, чтобы не разреветься на глазах у Антипова.

Там, за дверью, вдруг поднялся гвалт, все говорили разом, перебивая и не слушая друг друга.

— Позовите Жанну Николаевну, — раздался по-прежнему спокойный голос шефа.

«Ну, слава богу, теперь-то он разобрался», — подумала я с облегчением и, почти успокоившись, вошла в комнату.

— Вы ведете себя просто недопустимо, — жестко сказал шеф и посмотрел на меня так, словно мы с ним незнакомы. — Это явное неуважение к собранию. — И только теперь до меня дошло, что ему *не нужна моя правда*. Главное для него — личное спокойствие, а оно-то нарушено, и этого он мне не простит.

— Не дай бог работать с такими людьми! — в отчаянии прошептала я, но шеф отреагировал мгновенно:

— Если у нас вам не нравится, Жанна Николаевна, вас никто не держит.

Он еще что-то говорил, зачитывал план работы на следующий квартал, но я уже ничего не слышала. Я думала о том, что с этой работы мне придется уйти, хотя проект больничной койки — удобной и красивой — почти готов в моей голове и осталось уточнить только некоторые детали. . .

Из мастерской мы всегда выходили вместе — Таня и я, нам по пути, но сегодня я поспешно оделась и вышла, ни с кем не прощаясь. Предательницы, за них заступаешься, а они... Я уже заворачивала за угол, когда Таня догнала меня и взяла под руку, не обращая внимания на мое сердитое лицо. Я с возмущением отстранилась от нее.

— Ты обиделась на меня, да? Обиделась, я вижу. Ну хочешь, я скажу тебе, почему я молчала? Хочешь?

Я впервые видела ее такой: губы ее дрожали от волнения. На собрании она вела себя так, словно то, о чем шла речь, ее совершенно не касалось.

— Понимаешь, я просила у шефа пять дней за свой счет... Мне очень нужно... У меня есть сын, Андрюшка, он живет в деревне, с мамой... Этого еще никто не знает, ты первая. Я хочу туда поехать и забрать его к себе. Ты не представляешь, как я по нему скучаю. — Таня заплакала и стала торопливо искать платочек в маленькой лакированной сумке. — Шеф сказал: пишите заявление, а там видно будет, понимаешь? Я не могу сейчас думать больше ни о чем... Мне все равно, пусть хоть с работы увольняют, но я уеду за сыном...

«Так вот она какая, наша молчаливая Таня, — сочувствуя и одновременно завидуя ей, думала я. — Она не одна, у нее есть Андрюшка, он ей нужен, она — ему... А я? Неужели никто не нуждается во мне, в моем участии, в моей любви?»

Таня уже вскочила в подошедший автобус и, улыбаясь сквозь слезы, махала мне рукой, а я все стояла на остановке, и мысли наводили на меня такую тоску, что впору было завывать.

В тот же день вечером позвонил Виктор Сергеевич. Он всегда словно угадывает мое настроение. В последний раз мы все-таки договорились встретиться, но на свидание я не пошла, и теперь, припомнив тот случай, Виктор Сергеевич предупредил меня, что не будет ждать полтора часа, как тогда, а уйдет ровно через пять минут.

Десять лет назад в двухместной каюте комфортабельного теплохода, оказавшись в объятиях начальника, я каким-то образом избежала запланированной для меня участи. Еще тогда меня поразило несоответствие между физическим и духовным влечением. Я могла говорить с Виктором Сергеевичем буквально обо всем, я доверяла ему свои самые сокровенные тайны, как лучшей подруге, и, несмотря на это, почувствовала

отвращение к нему, как только он прикоснулся ко мне. Может, теперь будет все по-другому? Он умен, спокоен, рассудителен, с ним интересно говорить на любую тему — нам будет хорошо вдвоем.

На улице холодно и сыро, и мы идем ко мне, в квартиру брата. Виктор Сергеевич не спрашивает меня ни о муже, ни о том, почему я живу здесь, без газа и лифта, наверное, он сам догадывается обо всем. «Ты вспоминаешь обо мне только тогда, когда у тебя неприятности», — сказал он однажды, и это было правдой. Он ходил по пустой квартире — высокий и нескладный, с большим носом и умными, все понимающими глазами. Под его ногами стонал рассыхающийся паркет. Он останавливался перед моими акварелями, сделанными совсем недавно, и долго молчал, по-видимому чувствуя какую-то неловкость оттого, что мы снова, через десять лет, оказались наедине.

— Почему ты не пришла? Ведь ты могла сказать, что занята? — Он спросил это своим обычным, спокойным и мягким, голосом. Боже мой, если бы Сережка мог разговаривать вот так же! Мне стало неловко, что я заставила напрасно ждать его, наверно очень занятого человека.

Я стою у незашторенного окна и с хладнокровием посторонней наблюдаю за тем, что же будет дальше. Он подходит ко мне совсем близко, так, что рядом с моими глазами оказываются его крупные, четко обрисованные губы, и я отвожу взгляд, чтобы не видеть их.

— Я должна быть одна, — говорю я только потому, что уже давно, час назад, приготовила для него эту фразу.

— Ты и будешь одна, — говорит он.

— Вы не понимаете меня. Я должна быть совсем одна, иначе я не могу. . .

— У меня никого нет. Ты мне веришь?

На меня сильно действуют слова.

«Он любит, любит меня. Мы будем жить с ним спокойно, без ссор, уважая друг друга, а потом придет и нежность. А пока нужно просто пересилить себя, подыграть ему, ведь так делают многие. . .»

— А жена?

Этот вопрос явно разозлил его. Все его планы мгновенно рухнули из-за одного идиотского вопроса.

— Это совсем другое. . . — говорит он разочарованно. — Что же ты хочешь? Десять лет назад я относился к тебе совер-

шенно по-особенному, хотя ты этого и не заслуживала, сама знаешь почему.

Почему? Я лихорадочно припоминаю события тех дней. Неужели только потому, что отклонила его настойчивые ухаживания? Нет, здесь что-то другое.

— Ну скажите, мне очень хочется знать, — я жду и боюсь ответа.

— Нет, не стоит. Все прошло, хотя тогда мне было очень неприятно.

Теперь я догадываюсь, в чем дело, и мне становится невыносимо стыдно за свой болтливый язык. Ведь я и сейчас не лучше. Тайны — не чужие тайны, доверенные мне в минуты откровенности, а мои собственные тайны — не держатся во мне, и очень часто моя дурацкая откровенность работает против меня же. Рассказав об этой командировке своей лучшей подруге и страшась продолжения романа с женатым мужчиной, я ушла тогда из лаборатории, и на него свалились все шишки... Вот теперь, осознав свою вину, я впервые за весь вечер почувствовала к Виктору Сергеевичу что-то похожее на нежность — передо мной стоял человек, не помнящий зла, а это довольно большая редкость.

— Я и тогда говорил, что люблю свою жену. — Он нетерпеливо надевал пальто, как будто надеялся, что я передумаю и задержу его.

Да, я помню и благодарна ему за то, что он это говорил, по крайней мере так было честнее, хотя я до сих пор не понимаю, *что это было*, и вряд ли пойму. Про Виктора Сергеевича говорили тогда, что он обожает свою жену, что на любые праздничные вечера и банкеты он приходит только с ней и ни на кого не обращает внимания. Неужели он, в то время молодой ученый, надеялся, что я, чуть ли не обожествляющая его двадцатилетняя лаборантка, стану его любовницей? Ведь до сих пор я не могу сказать ему «ты», хотя разница в возрасте не так уж заметна. А что, если Сережка рассуждает вот так же — одно дело жена, другое...

— Всего вам доброго, Виктор Сергеевич, — говорю я и, захлопывая дверь, ощущаю необычайную легкость оттого, что все остается по-прежнему.

С залива дует холодный западный ветер. Белые гребни волн с высоты двенадцатого этажа кажутся тонкими, медленно приближающимися к берегу линиями, но я-то знаю, как

шумит прибор. Дорога, по которой я иду к заливу, петляет среди молодого ивняка и дымящихся мусорных куч. Эта намытая площадь будет скоро застроена высотными домами, я видела план в архитектурном журнале. Несколько бульдозеров уже расчищают место для первого фундамента. Наверно, двадцатичетырехэтажная гостиница уже совсем скоро заслонит открывающийся из окон вид на море, на Кронштадт с куполом собора, четко выступающим на горизонте в ясную погоду. Но к этому времени брат найдет невесту, а может, обзаведется детьми. И мне уж не придется любоваться заливом и рисовать его то серым и хмурым, то спокойным и розовым под лучами заходящего солнца. Куда же денусь я? Где буду жить? Почему-то мысли об этом до сих пор не приходили мне в голову, как будто разрыв с Сережкой — не что иное, как затянувшаяся нелепая ссора. А вдруг *у него есть другая* и он даже не вспоминает обо мне? И вполне вероятно, потому что ни разу не позвонил, не встретил после работы, как делал это раньше, когда я убежала к маме. Теперь мамы нет... Одна надежда на брата, но и от него редко приходят письма...

Возле самой дороги, на небольшой пожелтевшей поляне, стоят, тесно прижавшись друг к другу, поношенные ботинки, полуботинки, почти новые кеды и спортивные тапочки, связанные за шнурки парами. Их так много, будто целый полк солдат, разувшись, убежал купаться в заливе. Где-то они сейчас, эти новобранцы в крепких кирзовых сапогах, и разве кому-нибудь из них может прийти в голову мысль, что его никакие ботинки лежат на свалке совсем неподалеку от родного дома и осенний ветер засыпает их желтыми листьями. Может, среди этой рухляди и ботинки моего брата: ведь я сама посоветовала ему надеть что похуже — все равно выбрасывать... Смеясь над собой, я обошла черную груды, внимательно приглядываясь к каждой паре: Вадька снашивает набойки моментом, на подъеме уже на следующий день после покупки залегают поперечные складки — у брата тяжелая походка. Его ботинки я узнала бы сразу... Но их здесь нет... Нет.

Когда я возвращаюсь домой, в квартире уже пора зажигать свет. Включаю телевизор, и через несколько секунд приятный голос Азы Лихитченко объявляет прогноз погоды под знакомую мелодию Андре Попа. Мне жаль, что эта хорошая музыка рано или поздно надоеет и ее снимут с экрана. Интересно, в чем ее секрет? Мне слышится в этой мелодии тоска

по родине, хотя дальше целины я не уезжала. Наверно, и такой вот, на первый взгляд «легкой», музыкой можно выразить это чувство, потому что мне сразу же вспомнилась та самая целина, где мы три месяца жили в палатках среди пшеничных буртов, веялок и комбайнов, и та, до слез, застрявших в горле, тоска по Ленинграду... Сережке тоже нравится эта музыка. Он насвистывал ее под жужжание электробритвы. Я старалась не слышать, как он фальшивит, и не могла...

В незасторенные окна комнаты смотрит черная даль залива. Может показаться, что там, за последним домом, ничего нет, просто темное ночное небо, но я-то знаю, что там — море, и вода в нем холодная, и песчаное дно — крепкое, ребристое. И я бы пошла туда сейчас, чтобы взглянуть, какое оно в темноте. Неужели не видно волн? Я пошла бы вместе с Сережкой, одной страшно, и пусть бы он молчал, только бы стоял рядом. Я смотрю в окно, стараясь увидеть границу неба и моря. И вдруг среди крошечной тьмы возникает весь пронизанный золотым электрическим светом сказочный теплоход. Он медленно движется по черному фону и важно гудит, гордясь своим великолепием.

Рама дрожит под напором ветра, звенит стеклами, свистит незаделанными щелями. На чердаке или на крыше что-то тяжело ухает, перекачивается, гремят жестяные наличники оконных карнизов, и мне кажется, будто и весь дом начинает дрожать, качаться и скоро упадет, как детская пирамида, когда на нее подуешь. В комнате холодно, и мне никак не заснуть. Я медленно считаю до тридцати, не позволяя себе отвлекаться, но достаточно только одной мысли о Сережке — и все пропало. Теперь я думаю о нем, о нас... Почему же он не звонит? Я вскакиваю с раскладушки, она жалобно скрипит и, как уставший конь, падает на подкосившиеся ноги.

Вот оно, мое письмо... Я писала его месяц назад...

Да, он бывал груб... Приходил домой бледный, усталый, с головной болью... И тут я, с вечными своими претензиями, замечаниями: почему не поцеловал — ведь с утра не виделись, почему опять хмуришься — что-нибудь случилось? Вытирай как следует ноги, видишь, как натоптал, не успеешь раздеться — сразу за газету, ешь лучше, а то остынет; вкусно? Нет? Хоть бы раз я тебе угодила... Или другой вариант: почему задержался? Мог бы позвонить на работу... Ах, не предполагал,

что собрание затянется? Так я тебе и поверила... Зина?.. Та самая красотка, что оформилась недавно? Ну и как она тебе?.. Почему же глупости? Тебе только такая и может понравиться... А сейчас молодые девицы — не нам чета: такая возьмет за руку, и пойдешь, куда скажет... .

А как мучила я Сережку в первый год нашей совместной жизни... Мне просто не верится сейчас, что я была такой самовлюбленной дурой, и, когда он попрекает меня прошлым, приводя конкретные примеры, мне становится невыносимо стыдно: неужели я могла так? Да, оказывается, могла. Могла, увидев в уличной толпе красивое мужское лицо, вдруг тихо воскликнуть:

— Какой красавец! Ты только взгляни! — и еще несколько раз оглянуться при этом. Зачем я это делала — сейчас мне совершенно непонятно. Просто так, чтобы заставить его ревновать? Это было слишком жестоко. Могла пригласить на день рождения кого-нибудь из «бывших кавалеров» и сделать вид, что я к этому непричастна, что он пришел сам, «случайно», а увидев, как бледнеет Сережка, хоть и старается сдерживаться, шепнуть поклоннику, чтобы он потихонечку удалился.

Как любая хорошая жена, я должна была создать для Сережки спокойную домашнюю обстановку, в которой он бы мог отдохнуть после напряженного рабочего дня, но вместо этого я, как только он возвращался домой, начинала выяснять отношения, потому что для меня, как и для большинства женщин, прежде всего были важны наши взаимоотношения. Так, изо дня в день я не только отнимала у него нужное ему время, но и портила ему нервы, заставляя его оправдываться из-за каждого проведенного вне дома часа, хотя очень просто могла бы убедиться, да и не раз убеждалась в том, что он меня никогда не обманывает. Только теперь я поверила, что он талантлив, потому что результаты всех исследований, проведенных его группой, были заложены в проект уже действующей сейчас атомной электростанции. Его мысли постоянно были заняты решением каких-то очень сложных проблем, и, конечно, именно потому он, застигнутый врасплох, иногда грубо, иногда односложно отвечал на мои пустячные вопросы и злился на меня за то, что я прервала его мысль, может быть, на самом важном месте, близком к решению.

...Да, бывал вспыльчив. А я? Постаралась ли я хоть что-то предотвратить надвигающуюся ссору? Нет. С упорством манья-

жа я сама шла к ней, потому что жаждала вылить заодно все накопившиеся мелочные обиды. . .

Еще один пример того, как начинались наши ссоры: после нескольких дней буквально безоблачного счастья, после ужина, во время которого мы глядим друг другу в глаза и чувствуем приятное волнение, после ночи, очень похожей на одну из ночей медового месяца, вдруг неотвратно наступает сумрачное утро следующего дня. Как будто кто-то свыше предопределил его наступление и уже ничто не может изменить ход дальнейших событий: хмурясь, Сергей поднимается с постели, непременно задев меня локтем или придавив рукой; просыпаясь, я с неудовольствием замечаю, что времени осталось слишком мало и заснуть теперь не удастся. Может, именно с этого момента последующее начинается приобретать только темную окраску? Взгляд мужа кажется мне недружелюбным; вероятно, он чувствует мое молчаливое недовольство и, чуть-чуть ощущая свою вину, хмурится еще сильнее.

Через некоторое время, не найдя какой-то нужной ему вещи и зная, что я все равно не сплю, он спрашивает, где она может быть. Я говорю. Он ищет и все-таки не находит. Я объясняю подробнее, и в голосе моем уже слышится еле заметное для меня — мне кажется, что я хорошо его сдерживаю, — раздражение. В конце концов мне приходится встать с теплой постели и подать ему то, что он ищет, его поиски почти всегда безнадежны. Я кидаю, нет, в лучшем случае с укоризненным видом кладу перед ним его книгу, очки, пропуск, ключи, носовой платок или чистые носки, которые спокойно лежат на отведенном для них месте, и упрекаю его, что он умудрился перевернуть все вверх дном.

Через несколько минут он уходит, не попрощавшись, потому что уверен, что я сержусь на него за то, что он разбудил меня раньше времени. И не машет рукой, как обычно, заворачивая за угол дома. Он ошибается: причина моего недовольства только в том, что первый взгляд его, взгляд, который я уловила еще лежа в постели, показался мне неласковым, чужим, равнодушным. Моя оскорбленная память снова и снова воспроизводит как будто для сравнения его вчерашний взгляд, вчерашние ласковые слова, вчерашние жесты — как все не похоже на то, что было вчера. Мне необходимо знать причину этой перемены, я просто не выношу этих резких перепадов в отношениях.

Вечером, возвращаясь с работы и видя мой настороженный

взгляд, — как-то он будет вести себя сейчас? — Сергей долго и отчужденно молчит. Вполне возможно, что он молчит просто так, не замечая моей настороженности, молчит потому, что устал, хочет почитать газету и отдохнуть в кресле, но мне кажется, что молчит он именно *отчужденно*, чуть ли не злобно. Наверное, эти мысли влияют на тон, каким я произношу несколько необходимых фраз во время ужина, но говорим мы очень мало. Я вижу, что любой разговор сейчас ему в тягость, но не могу заставить себя просто уйти и заняться одним из бесконечных домашних дел. Я начинаю выяснять отношения, прекрасно зная, чем это кончится в конце концов.

— Что случилось? У тебя неприятности? — спрашиваю я холодно.

— Почему ты так решила? Ничего не случилось, — удивляется он и пожимает плечами, но мне чудится, что удивление его притворно, что он сам чувствует это и просто хочет меня обмануть.

— Хорошо, можешь не говорить. Но в следующий раз и от меня не жди никакой откровенности.

— Оставь меня в покое, я устал, — говорит он, повышая голос и тем самым убеждая меня, что сегодня, сейчас я ему неприятна.

Это ужасает меня. . . Ведь только вчера он был так ласков со мной, что же произошло за каких-то несколько часов? Мне и в голову не приходит, что он видит все по-другому, что не может догадываться о моих черных мыслях, и потому мой холодный тон, моя пока еще сдерживаемая раздраженность удивляют его, и в конце концов он приходит в такое же состояние. Я упрекаю его за тяжелый, скрытный характер, за ложь, за лицемерие: только вчера он говорил мне о своей любви, а сегодня смотрит на меня как на чужую. Желание узнать причину такой резкой перемены в отношении ко мне завладевает всеми моими мыслями, а невозможность этого, как бы я того ни хотела, выводит меня из равновесия.

— Что случилось? Что произошло? Ты можешь мне сказать? — Мое лицо в минуты раздражения, как и у всех людей, становится некрасивым. — Если я тебе неприятна, то лучше скажи мне об этом! — уже не владея собой, кричу я.

— Да! Такая, как сейчас, ты мне неприятна! Посмотри на себя в зеркало! — тоже кричит он и, хлопнув дверью, выходит из комнаты.

Вот так чаще всего начинались наши ссоры. . .

Это же пустяки, неужели теперь я бы не смогла перебороть себя и уйти от размолвки, не имеющей никакой причины, кроме той, что мне почудилось вдруг малейшее охлаждение. Ведь в основном, в главном Сережка тот человек, тот единственный человек, который мне нужен. Он так же, как и я, ценит людей за их дела, а не за слова, ненавидит лицемеров, лгунов, карьеристов, хапуг. Пусть на вид он немного суров, но я знаю, что за его суровостью скрывается мягкое, легко ранимое сердце, что он добр и жалостлив, но вместе с тем беспощаден в отношениях с неприятными ему людьми, которые явно недостойны лучшего к ним отношения. . .

Да, он уходил гулять к заливу. Я всякий раз видела его из окна и все-таки не упускала случая, чтобы спросить потом, где это он был так долго, вкладывая в свой вопрос нотки недоверия и насмешки. Ведь он не раз объяснял мне, что там, у залива, ему думается хорошо, как нигде. . .

Да, он поступил по крайней мере эгоистично, когда ушел на лыжах через залив. Но ведь можно простить его, если поверить, что все было так, как он потом рассказывал: светило редкое в ту зиму солнце, был легкий морозец и лыжи скользили чудесно. Он и сам не заметил, как оказался где-то на полпути между Ленинградом и поселком, где живет его сестра. Было так заманчиво сделать этот сорокакилометровый переход в один день, а возвращаться той же дорогой назад совсем не хотелось. . .

Да, он часто забывал обо мне, как забыл в тот вечер, вернее, в ту ночь, когда встала его опытная установка. Позвонил в лабораторию из библиотеки — слесарь говорит: что-то заело. Приехал в институт и провозился там до утра, пока не запустили снова. Но ведь и это можно понять, а значит — и простить. Ведь именно такого я и полюбила, и если жаловалась кому-то на странности его характера, то чаще всего втайне гордилась своим мужем. Месяц понадобился мне, чтобы поумнеть. Много это или мало?

Как тоскливо, как одиноко в пустой квартире, где ничто не напоминает о Сережке: нет его толстых книг, напичканных головоломными формулами, нет повсюду валяющихся листков с непонятными записями и номерами шифров каких-то отчетов, не слышно привычного жужжания электробритвы. Почему? Ну почему он не звонит? Испытывает мое терпение? Оно

уже иссякло. Ведь он, как и я, понимает, что нам не жить друг без друга, но как сделать, чтобы жизнь эта не была такой сложной, как прежде, чтобы черные полосы в ней были хоть немного поуже?

— Вы разве не знаете, что Сережа в больнице? Нет?

Сердце мое сжалось и провалилось вниз, я затаила дыхание, боясь услышать что-то ужасное.

— Жанна, алло! Жанна, вы меня слышите? — кричала в трубку Сережина лаборантка. — Не волнуйтесь, ради бога, ничего страшного, обычный сердечный приступ... клиническое отделение... восьмая палата.

По всему видно, что это хорошая больница: в ухоженном садике прогуливаются выздоравливающие больные в теплых халатах на поролоне, за окнами с разноцветными шторами развешаны цветочные горшки, много цветов, чисто, тепло.

— Девушка, сюда без халата нельзя, — мягко останавливает меня молоденькая сестричка, когда я почти у цели — возле палаты № 8, в которой лежит Сережка.

— Я только позову, можно? — прошу я. Мне хочется войти самой, застать врасплох и увидеть выражение его лица. И тогда я узнаю все. Но медсестра преграждает мне путь:

— Вы к кому? Я вызову.



— К Нечаеву.

В широченных ситцевых штанах и полосатой рубашке Сережка идет по длинному коридору своей особенной неловкой походкой — почти на цыпочках — и чуть косолапит от смущения за свой не очень-то представительный вид. Увидев его таким — все тем же неловким, с прежним дурацким комплексом, — я сразу же понимаю, что он *все еще мой, только мой*. На его лице неподдельная радость, я вижу, что он *ждал меня*, знал, что я приду. Он чуть-чуть похудел, побледнел без воздуха, но держится бодро. Я чмокаю его в щеку, он опасливо оглядывается на сестричку, но той уже нет в коридоре. Тогда Сережка быстро притягивает меня к себе и крепко, с какой-то невысказанной тоской целует в губы, и мы оба, задыхаясь от нахлынувшей нежности, выходим на лестничную площадку и садимся на скамейку. Мимо нас беспрестанно ходят больные — одни медленно поднимаются вверх, другие поспешно спускаются вниз, к родным, ждущим в вестибюле. Мы сидим рядом и не смеем прикоснуться друг к другу, хотя это желание становится почти невыносимым. Улучив момент, Сережка украдкой гладит меня по коленке, и на моих глазах выступают слезы. Я обнимаю его за плечи и не снимаю руку даже тогда, когда, глядя на нас в упор, по лестнице поднимается полная женщина средних лет с тонкими ехидными губами. Я только поворачиваю ладонь так, чтобы видно было обручальное кольцо, и женщина отводит взгляд. Потом Сережка уходит и через минуту зовет меня откуда-то снизу. Я спускаюсь к нему, и мы оказываемся в маленьком коридорчике возле душевой. Сережка закрывает белую дверь и сжимает меня сильными руками.

— Я знал, что ты придешь, знал, — шепчет Сережка. — Я люблю тебя, мне больше никто не нужен. . .

Я целую его в горячую щеку, в теплую шею, в небритый подбородок с колючей ямочкой посередине, в больничную белую рубашу, в острые ключицы, в знакомую родинку на груди, и мне все мало, мало. . . Совершенно невозможно оторваться от него. Он прижимает меня к себе и мешает целовать его. Я шепчу ему про свою сумасшедшую любовь и про то, как скучала без него, но тут очень не вовремя, а может даже и кстати, потому что мы уже совсем забыли, где находимся, из вторых дверей выходит распаренный мужчина с полотенцем на плече. Сережка заслоняет меня, а я, не успев прийти в себя от неожиданности, провожаю мужчину испуганными глазами.

Мы потихоньку успокаиваемся, глядя в окно на прогуливающих больных, которые периодически появляются перед нашими глазами. Мы говорим о разных пустяках, избегая разговора о наших взаимоотношениях, словно и не было этого долгого месяца одиночества. Я рассказываю ему о собрании, о шефе, о Тане, у которой есть сын, о своем проекте и о том, что собираюсь подать заявление об уходе. . .

— Ты что? Да ни в коем случае! . . Кто со свету сживет? . . Ерунда! И не думай даже. Вот выпишут меня, только бы выписали, некогда лежать, — перебивая меня, горячится Сережка. — А то — уволюсь. Так бы все и делали. Ты совершенно права и не вздумай убегать. Кто же для таких, как я, удобную койку придумает? — смеется он. — Лежишь целыми днями, да так бока обломаешь, что и не встать, — и уже серьезно добавляет: — Действительно, ведь многие лежат месяцами без движения. . . Уж будь покойна, я тебя по всем вопросам проконсультирую с полным знанием дела. . .

Пожалуй, впервые мы говорим так много — вот уже почти два часа — и не можем наговориться. Нам не хватает этого времени и ужасно не хочется расставаться. Я еще долго брожу под окнами больницы, и, отыскав глазами то окно, за которым стоит мой Сережка и машет мне рукой, я заставляю себя уйти — больных зовут ужинать.

Александр Милях

* * *

Над Россиею ветры древние,
По России белым-бело,
Теплота твоих глаз сиреневых
Разъединственное тепло.
А по улицам, полю Марсову
Восстает и бушует снег,
От Балтийского и до Карского
Величавый его разбег.
Чувства словом не обозначатся,
От хороших и до чужих.
Посмотри: над Невую плачется,
К страшной крепости скачет вихрь.
Сколько раз он печальным вестником
Мчался к людям и сквозь года
Заунывной тоскливой песнею
Про деревни и города.
Эти крепости — от нелепости.
Завывая, крутя и моля,
Пусть несет в показательной свирепости
Добрый снег теплоту на поля,
Чтоб весною уйти ко времени
Зерновых, трудовых забот.
Над Россиею ветры древние,
По России белым-бело.

Лариса Дианова

МИРАЖ НА ЛАДОГЕ

Исчезли силуэты облаков.
Ни солнца,
Ни волны,
Ни берегов.
Все невесомо, зыбко и нечетко.
Из полусвета наплывает лодка.
Все ближе полулодка-полутень
Сквозь полублики, полувечер-полудень.
Смотрю, прислушиваясь чутко.
Все ближе, ближе...
Да ведь это утка!
Смешная чомга,
Вздыблен хохолок,
Да глаза любопытный уголек.
И снова тишина оцепененья.
Ни всполоха,
Ни всплеска,
Ни движенья.

ДОРОГА ЖИЗНИ

От Кобоны до Кивгоды
Мы идем не за выгодой,
Не дорогой натопанной,
Не извилистой тропкою,

А по насту канала
Да по наледи талой.
Лед на Ладоге ухаает.
Лед зенитками бухает.
Лед на Ладоге ахаает.
Натерпелись тут страха мы
В те далекие годы. . .
Помню черную воду.
Жутко черную воду.
Смутно — толпы народа.
Нас поили из кружки
Обжигающим чаем.
Нас грузили в теплушки.
Нас теплушки качали.
Увезли от блокады,
От голодного ада,
От бомбежек, снарядов
И от стен Ленинграда.
Только пирсы остались.
Полусгнившие сваи.
Только пирсы да стаи.
Перелетные стаи.

НА РОДИНЕ А. ПРОКОФЬЕВА

В Кобоне на месте сгоревшего дома
Прокофьева растут три березы, поса-
женные Александром Андреевичем.

Опять Кобона. Строгие места.
На всем глубокой старины налет.
Каналы, обелиск да церковь у моста.
Здесь по-прокофьевски соловушка поет.
Заросшие надгробья и кресты.
Уходит в озеро, покачиваясь, дора.*
К подножью трех берез я положу цветы —
Последний дар лугов, полей и бора.
Цветы поэту. Крохотный букет.
На этом месте дом стоял когда-то.
Пока в Кобоне памятника нет.
Лишь три березы да забор дощатый.

* Д о р а — деревянное рыбацкое судно.

БАБКА НАСТЯ

Коренастая бабка Настя.
Лоб и щеки изрыли морщины.
Тяжелы, узловаты запястья.
Плечи сильные, как у мужчины.

Молча ждет. Рыбаки придут.
Им ведь непогодь не впервой.
Волны в берег набатно бьют.
Громы мечутся над головой.

Стало небо черней земли.
Стала Ладога тучи черней.
Волны вздыбились на мели,
Как табун одичавших коней.

С гребня вала скользнула лодка,
Мчится к пирсам наискосок.
Ловит Настя канаты ловко,
Лишь слезинка в песок.

УТРО

Еще темно.
Тревожно дремлет свет.
Зарянка первая поет рассвет.
Вот куропач в болоте хохотнул.
Журавль курлыкнул. Шумно лось вздохнул.
А в три часа, таинственно, как встарь,
Ночную тишь взорвал седой глухарь.
Зеленым горлом он поет рассвет.
Все ближе утро. Ближе свет.
Дрозды прозрачней радужных стрекоз, —
Хвосты и крылья светятся насквозь.
Так первый луч раскрашивает день,
Стирая дрему, тишину и тень.
Легко, просторно дышит грудь.
Счастливой будь, земля!
Счастливой будь!

НА ТОКУ

На земле копылуха квохчет,
Нежным зовом тревожа рассвет.
Глухариная песня грохочет
Над землею тысячи лет.
Песнь клокочет.
Песня ликует.
Песня ночи покров разрывает.
Он токует.
Он страстно тоскует.
Он любимую призывает.
Я стою у осины тихо,
Вместе с лесом весну встречая.
Кареглазая глухариха
Чистит перышки, отвечая.
На беду наши встретились взгляды.
Всполошилась, всплеснула крылами,
Закричала: «Засада! Засада!» —
И над лесом кругами, кругами.
До свиданья! Летите, летите.
Пусть всегда будут ясными зори.
Напугала — извините.
Да минует вас горе.

Виктория Петрова

* * *

Еще я голос слышу твой
Как будто наяву.
И пахнет пряною травой
Мой дом. И я зову,
Зову обратно день и час,
Тот лес и тот откос
Вдали от суетливых трасс
Средь елей и берез,
Где мы сидели дотемна
И долго на реке
Была лодчонка нам видна
За мысом вдалеке.
И дуб замшелый и кривой
Похож был на сову,
И слушала я голос твой
Счастливый наяву.

* * *

Я невнимание прошу,
Но нелюбви простить не в силах,
Свою любовь вложу в пращу
И раскручу, как не крутила
Пращу еще ничья рука,

Чтобы до солнца долетела
Моя любовь и там сгорела
И пеплом пала в облака,
Дождем потом вонзилась в почву,
Земную напоила твердь,
Набухшей тополиной почкой
Вернулась в жизни круговерть.

Юрий Леушев

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЭКВАТОРА

РАССКАЗ

Казалось, они состязались в перетягивании каната — рослый, мускулистый матрос Тимофей Сулягин и здоровенный тунец, позарившийся на сардинку и впопыхах не углядевший, что рыбка наживлена на крючок. . .

Тунец был на редкость силен и стремителен. Стараясь сдернуть матроса с палубы, он рвался из стороны в сторону, выскакивал из воды и тут же торпедой уходил в глубину, заставляя Тимофея то приседать, откинув назад загорелое тело, то молниеносно вскакивать и отплясывать на щербатых досках настила невообразимый танец.

— Лапоть! Завтра родителей приведешь! Так! Так! Возьми с полочки пирожок! — шумно реагировали на каждый успех или промах Тимофея ботчики, готовые с баграми в руках прийти ему на помощь.

Победа давалась Тимофею нелегко. Мышцы его напрягались, лицо исказила гримаса сверхчеловеческого напряжения, взмокшие волосы залепили лоб, но руки, смуглые, крепкие, опутанные синими шнурами вздувшихся жил, раз за разом упрямо перехватывали поводец, и отвоеванный конец нейлонового тросика, все увеличиваясь, кольцами сворачивался у ног матроса.

Всплески приближались. Старшина бота Павел Вакорин, перегнувшись через ограждение, довольно крикнул: день обещал быть уловистым.

И только Петька Аниськин, шуплый светловолосый паренек — клетчатая ковбойка нараспашку, джинсы с заплаткой

на колене, у пояса шкерочный нож, — не принимал участия в аврале. Петьку мучил стыд. Не смея приблизиться к товарищам, он одиноко стоял на корме, уперев локти в планшир и горестно погрузив в ладони пылающие щеки.

Солнце жарило во всю мочь, напоминая, что рядом экватор; ни одно даже самое маленькое облачко не омрачало прозрачной голубизны неба. Усыпленный полуденным зноем, дремал океан.

Метрах в пяти от бота зловеще вспарывал блестящую гладь воды черный треугольный плавник — там в ожидании своего часа неторопливо описывала круги акула-молот. Возле сплющенной головы хищницы мельтешила стайка полосатых рыбок-лоцманов. Рыбкам явно не терпелось полакомиться нежным тунцовым мясом, они что-то нашептывали на ухо своему грозному шефу, явно уговаривая поторопиться, однако акула упорно делала вид, будто ее не интересует шумная схватка.

Петька, конечно, знал, что она притворяется, что круглые, как фары, холодные глаза ни на секунду не выпускают тунца из виду и, как только матросы подцепят добычу баграми, от медлительности акулы не останется и следа: серая тень молнией метнется к борту, острующие зубы вопьются в сине-радужный бок громадной рыбыны. . .

С отвращением и ненавистью он провожал глазами акулу, а невидимые молоточки больно ударяли по вискам: трус, трус, трус. . .

В то утро как будто ничто не предвещало несчастья. Как во всякий промысловый день, экипаж тунцеловного бота «Семерка» заканчивал постановку яруса. Работали дружно. Бригадир, стоя возле деревянного лотка, установленного перпендикулярно корме, разматывал мотки снасти и выбрасывал за корму, Тимофей подвязывал поводцы, Баклажария выхватывал из стоявшего у его ног картона мороженую сардинку и ловко насаживал на крючки, а Петька подавал мотки с палубы на лоток и подвязывал их начало к концу предыдущего, который разматывал бригадир, после чего запускал руку в кухтыльник — обнесенную сетью выгородку позади ходовой рубки, извлекал оттуда оранжевый поплавок-кухтыль и крепил его к ярусу.

Сноровисто расправляясь со снастью, ботчики, по обыкновению, чесали языки: вспоминали своих пацанят, подсчитыва-

ли заработки, обсуждали, как отовариваться в ближайшем порту, возмущались перчатками, за один дрейф превращающимися в ключья, сандалетами, у которых подошвы в три недели сгорают, и, конечно, выражали бурную радость по случаю скорого окончания рейса.

Петьке было скучно и неинтересно слушать про рубли и проценты, а разговоры о приближающемся конце промысла наводили на него тоску. Сам он в порт не торопился. Впервые в жизни увидев океан, пораженный его красотой и величием, Петька сразу же прикипел к нему всем сердцем. Весь рейс его не покидало ощущение, что он попал в какой-то фантастический мир. Взгляд повсюду натывался на удивительные картины. Тут акробаты-дельфины выкидывали головокружительные сальто. Там колыхался над водой черный парус — шастала по океану хищная рыба-парусник. Из-под носа бота, шелестя стрекозиными крыльями, вылетали стаи летучих рыбок. Неподалеку вдруг начинала бурлить и пениться вода, будто извергался подводный вулкан, — то схватились насмерть два гиганта кашалота. Старшина рассказывал, как в глубине сшибаются они с разгону могучими лбами и свечой вылетают из воды.

Но главное — на тунцеловном боте Петька был не просто матросом, а матросом-ловцом. Ловцом! Ах, каким волшебным казалось ему это слово. Ловец змей, ловец тигров, ловец жемчуга... И он, Петька, тоже ловец. От сознания причастности к такой редкой и мужественной профессии кружилась голова и сладко замирало сердце...

Не обращая внимания на болтовню товарищей, Петька подавал моток за мотком и мечтал. Мечтал он почти всегда. Безудержный полет фантазии то уносил его на спине дельфина в подводное царство, в гости к самому Нептуну, то делал победителем гигантской акулы, а то ставил к штурвалу в обличье самого старшины, и тогда бот возвращался на плавбазу с таким уловом, что его встречали с оркестром. А с недавнего времени, после того как на плавбазу прибыла Светлана Ивановна Парамонова — молодая учительница по русскому языку и литературе из школы моряков, — Петькино воображение было занято только ею. Петька постоянно спасал Светлану Ивановну. Менялись только обстоятельства: иногда на учительницу нападали хулиганы, реже — дикие звери, бывали даже случаи, когда тунцеловную базу захватывали враги и пленяли молодую женщину, но финал был всегда один и тот

же — в самый отчаянный момент рядом оказывался Петька и отводил от нее опасность. Так и на этот раз. Светлана Иванова, поскользнувшись, падала за борт, в самую гущу кишмя кишевших возле плавбазы акул. Петька, сжимая в руках острый шкерочный нож, бросался на помощь. Однако осуществить спасательную операцию ему не удалось. Рыбаки распечатали последний десяток мотков, и бригадир, окинув взглядом оголившуюся палубу, повернулся к Петьке:

— Давай-ка мотай за радиобуем.

Неохотно спустившись с небес на землю, то есть на покрытую слоем засохшей чешуи палубу, Петька кинулся на бак, отвязал укрепленный к фальшборту ярко-красный цилиндр, опоясанный сверху оранжевым поясом-поплавком, ввинтил в буй бамбуковую удочку-антенну, пощелкал для проверки выключателем, укрытым резиновым колпачком, и растерянно поглядел на окно ходовой рубки, где, как в раме, виднелось сосредоточенное лицо старшины. Лампочка почему-то не загоралась.

— Что, батарейки накрылись? — догадался старшина. — Тут в рубке запасные есть. Замени их по-быстрому.

Гордый оказанным доверием, Петька взялся за дело. Отвернул болты, удерживающие крышку, вытянул из цилиндрического корпуса портативный радиопередатчик и соединенный с ним при помощи кабеля плексигласовый пенал для батарей, вытряхнул из пенала негодные элементы, положил все это на крышку трюма и направился в рубку.

И тут случилась беда. К боту откуда-то незаметно подкралась волна, накатилась с громким плеском на суденышко. «Сермерка» накренилась, радиопередатчик с глухим стуком свалился с трюма на палубу, покатился к открытому полупортику. Увидев это, Петька, только что вышедший из рубки с полным подолом батарей, выпустил подол из рук и, не обращая внимания на раскатившиеся элементы, бросился вдогонку, но опоздал: внутренности радиобуя плюхнулись за борт.

И все же оставался шанс спасти прибор. Пенал, наполненный воздухом, подобно пустому ведру, плававшему в колодце, некоторое время держался на поверхности, не давая утонуть и передатчику. И если бы не мешкая нырнуть, его можно было бы вполне перехватить. Петька это сразу сообразил. С видом заправского ныряльщика он выбросил вперед руки, лихо разбежался и... замер на самом краю палубы. В последний миг, когда ступни ног уже отрывались от настила, вдруг почудилось

парню, будто выглянула из-под днища бота и снова скрылась серая тень, и ноги мгновенно превратились в чугунные тумбы.

— Ну ты... короче! — завопил старшина, стопоря двигатель.

— Да, да... Сейчас... Вот только... — лепетал Петька, беспомощно оглядываясь по сторонам, словно ища и не находя что-то позарез необходимое для того, чтобы прыгнуть, и не трогаясь с места.

Перед акулами Петька Аниськин с детства испытывал животный страх. До сих пор цепочка похожих на оспины ямочек на груди и белые полосы зарубцевавшихся шрамов на трех пальцах правой руки — указательном, безымянном и мизинце — напоминали ему о первом знакомстве с бритвенно-острыми зубами акулы.

Знакомство это состоялось, когда Петьке было лет семь. Его дед, старший механик рыбопоискового траулера, избородивший полсвета, был до самой лысины начинен невероятными историями о зверствах кровожадных пиратов океана. Иногда, в промежутках между плаваниями, старый моряк забирал Петьку у родителей и по вечерам, усадив внука на колени, начинал рассказывать. Ух и страшные это были истории! У мальчика замирало сердце, когда дед говорил о том, как акулы выхватывают из шлюпок потерпевших кораблекрушение матросов, как они перекусывают пополам аквалангистов, как нападают на китов и выгрызают куски мяса прямо из боков морских исполинов и как они утаскивают с пляжей купальщиков и зверей, приходящих на водопой...

Петька слушал деда, а сам исподтишка бросал опасливые взгляды в дальний угол комнаты, где висела над дверью огромная, густо утыканная острыми зубами челюсть акулы-мако — один из многочисленных трофеев деда. Грозный вид челюсти приводил мальчугана в трепет и в то же время пробуждал желание разглядеть ее поближе, потрогать торчавшие во все стороны маленькие костяные кинжалчики.

Желание с каждым разом усиливалось, и, когда подвернулся удобный случай — дед отправился в магазин за «Беломором», — Петька, дрожа от волнения и страха, придвинул к двери журнальный столик, поставил на него стул, на стул маленькую табуреточку, цепляясь руками за дверь, взгромоздился на вершину пирамиды и, холодея, протянул руку к челюсти.

Не случайно бритвенная острота акульих зубов вошла в поговорку. Едва Петька дотронулся до одного из них, на пол закапал вишневый сироп, приведя мальчика в ужас. Шаткое сооружение покачнулось под ним, стараясь удержаться, он машинально уцепился за челюсть, сорвал ее своей тяжестью со стены и с воем грохнулся вместе с ней к ногам входившего в комнату деда.

К счастью, он отделался сравнительно легко, но ужас, испытанный тогда, на всю жизнь определил его отношение к акулам.

Когда Петька Аниськин попал на тунцеловный бот, его больше всего поразило, что акулы съедобны. Он всегда был уверен, что именно эти беспощадные пираты морей должны пожирать всех подряд, но, чтобы кто-нибудь мог есть их, тем более люди, казалось невероятным. И Петька боялся их.

Каждый дрейф на ярус вперемешку с тунцами попадались десятки акул — голубые, белоперые, мако, морские лисицы, акулы-молоты. И всякий раз, когда их поднимали на борт, Петьку охватывала тревога. Он невольно старался держаться подальше от них, не без опаски проходил по правому шкафуту, куда обычно их складывали, испуганно вздрагивал, когда хищница, только что казавшаяся мертвой, внезапно начинала извиваться, бить хвостом, разевать свою страшную пасть.

Товарищи посмеивались над его боязливостью, их насмешки больно ранили его самолюбие, но пересилить себя он не мог...

И вот ему нужно было не в мечтах спасти учительницу, а на самом деле прыгать в океан. Широко раскрытыми глазами Петька смотрел на пенал, покачивающийся на мелких волнах, на поблескивающий никелированными деталями передатчик, повисший под пеналом на кабеле и тянувший его ко дну. Он понимал, что через секунду будет поздно и что, если он не прыгнет, к нему на всю жизнь прилипнет позорное клеймо труса. «Ну же, ну!» — подгонял он себя и оставался на месте.

А волны уже захлестывали прозрачный цилиндр, окрашивая его стенки в нежно-зеленый цвет. Пенал оседал все глубже и глубже и наконец, оставляя за собой кудрявый хвост пузрырьков, провалился в пучину.

— Раззява! — закричал старшина, выскочив на палубу.

На шум подбежали с кормы рыбаки, перевешивались через бот, заглядывали в глубину, где солнечные лучи, прони-

кавшие далеко в толщу воды, играли металлическими частями прибора.

Бригадир Ухватин пожевал тонкими губами, укоризненно хмыкнул:

— Буй-то импортный. Валютой за его небось плачено.

— Цха! — цыкнул, словно бичом стеганул, Баклажария, впиваясь в Аниськина презрительным взглядом. — Как же ты, кацо, а? Джигитом вырядился. Кынжал повесил. Зачем кынжал, а?

Все загалдели, возмущаясь, только Тимофей Сулягин не произнес ни слова, но, случайно перехватив его взгляд, Петька съежился. Нет, не презрение, не осуждение и даже не жалость — страдание и боль застыли в потемневших глазах друга. И это молчаливое страдание красноречивей ругани старшины, причитаний бригадира и взрывчатого гнева Баклажарии говорило о том, что с этого дня Петька никогда не сможет чувствовать себя на равной ноге с товарищами, беззаботно шутить и смеяться, а потому на «Семерке» ему больше нечего делать.

«Трус, трус поганый!» — в бессильной злобе укорял себя Петька, и все, что обычно радовало его — бездонная синева неба, блеск океана, жаркие схватки с громадными тунцами, — сейчас было ему противно и делало невыносимой охватившую его тоску.

До сих пор Петька считал себя смелым парнем и был уверен, что в нужный момент не дрогнет. Но вот дрогнул. Ему нестерпимо хотелось куда-то бежать, скрыться от невиданного позора, затаиться. Но куда было деваться? В порт не уйти: туда всего неделю назад отправился транспортный рефрижератор, доставивший тунцеловам продукты, необходимое снаряжение, почту и забравший от них консервы и мороженую продукцию. А теперь когда будет следующий? .. Да и кто его отпустит на берег? На флотилии каждая пара рук на вес золота. . . Попроситься на другой бот? Эта мысль вызвала только горькую усмешку. Ведь завтра же весть о его «геройском» поступке облетит всю флотилию, и разве найдется такой дурак, который возьмет в экипаж труса! Выход был только один — списываться на плавбазу. Но это было выше Петькиных сил. Здесь он ловец, а кем его возьмут туда? Матросом производственной службы, и даже не первого, а второго класса. Загонят в консервный трюм и заставят перекладывать ящики «ту-

нец в масле» в один угол, а «тунец натуральный» — в другой... Пережить такое было просто невозможно. Лучше уж взять пудовую кувалду в руки да за борт...

Между тем Тимофей Сулягин почти одержал победу. Вода пенилась и бурлила уже возле самого борта. Тучи брызг весело сверкали в солнечных лучах, окатывали стоящих возле полупортика рыбаков, а мокрые витки отвоеванного Тимофеем поводца устилали палубу.

— Ну чего вы! Багрите! — задыхаясь от напряжения, кричал Тимофей. — Быстрее!

Бригадир и Баклажария, выбрасывая вперед багры, силились дотянуться до тунца.

— Ишо чуток! Ну, ишо! — покрикивал бригадир.

Тогда Тимофей быстро повернулся к противнику спиной, забросил поводец на плечо и, как бурлак, потащил рыбину к борту. Развязка приближалась.

Но тут случилось непредвиденное. В пылу схватки никто не заметил, как Тимофей заступил ногой в один из витков. И когда тунец, тоже чувствуя близкий финиш, собрал все силы и сделал последний, самый отчаянный рывок, силок затянулся вокруг ноги матроса. Неуклюже взмахнув руками, Тимофей полетел за борт.

Услышав крики, Петька не вдруг сообразил, что произошло. Сперва подумал, что Сулягин решил посмешить товарищей, отколол какую-то хохму, и в его груди шевельнулся червячок тоскливой зависти: «Им-то что! Веселятся...» И только когда совсем рядом, метрах в четырех, из воды появилась Тимофеева голова и он увидел его белое лицо и выкаченные глаза, лишь тогда понял серьезность происшедшего.

Отчаянно молотя руками по воде, Тимофей изо всех сил старался удержаться на поверхности. Широко разинутый рот его жадно хватал воздух. Но могучая рыбина в своей стихии была сильней. И судьба, уготованная тунцу, теперь ожидала матроса. Его голова, то появляясь из воды, то снова скрываясь, наконец исчезла совсем.

Ошеломленный Петька Аниськин бросил молниеносный взгляд на бак, на застывших в растерянности ботчиков.

«Как же это? Неужели так просто?» — растерянно думал он, не в силах с этим смириться. Перед глазами живо возникла картина: там, в глубине, дергается, изгибается Тимофей, ловчится дотянуться до предательского поводца, чтобы распутать его, но сильная рыбина тащит его вниз.

«Не-ет!» — немым воплем закричал Петька, задрожав всем телом. И то, что минуту назад терзало его: утопленный радиобуй, горечь ухода с бота, консервный трюм, ненавистная акула-молот, — мгновенно вылетело из головы. Все заслонила одна ясная и четкая мысль: Тимофею кранты.

И тут словно кто-то подтолкнул его. Все дальнейшее происходило как будто во сне. Казалось, словно это не он, Петька Аниськин, а кто-то другой рывком перебросил тело через леера, прошептал: «Спаси, господи», набрал полные легкие воздуха и, уже летя в воду, вдруг вспомнил про акулу и зачем-то поджал к животу колени. И вовсе не Петька, а кто-то другой догонял тунца, тащившего на буксире человека, цеплялся за холодное тело, перерезал ножом капроновый тросик, а потом вытаскивал Тимофея за волосы к боту. . .

От волнения и страха Петька потерял способность соображать и, только очутившись на палубе, стал медленно приходить в себя.

С трудом отдышавшись, он первым делом схватился за ноги, ощупал по очереди руки, голову. Как ни странно, все части тела оказались на месте. Это удивило и обрадовало Петьку. Он облегченно вздохнул и устало привалился спиной к трюму.

Мягкая, успокаивающая синева растекалась до самого горизонта. Солнце приятно согревало. В борт толкалась вода, рассыпалась звонкими всплесками. И такую радость почувствовал Петька, какой еще не испытывал никогда. Все в нем ликовало. Захотелось петь, отколоть залихватскую джигу, вскочить верхом на акулу. . . Вспомнив о ней, он пошарил глазами вокруг, но зловещий черный плавник куда-то исчез.

Громкий женский голос, донесшийся из окна рубки, окончательно отрезвил Петьку. Он сразу узнал голос Тумановой, главного врача плавбазовской санчасти.

— «Семерка», срочно следуйте с пострадавшим к плавбазе, — повелевала врачиха. — Повторяю, немедленно! Как меня поняли? Прием.

Петька обошел трюм и протолкался поближе к другу. Тимофей лежал возле ярусоподъемника вверх лицом. Сквозь загар просвечивала гипсовая белизна кожи, почему-то казавшиеся огромными ступни ног были как-то странно развернуты в стороны, голова безвольно свалилась на плечо, правая рука неестественно подвернулась, будто Тимофей намеревался почесать себе спину между лопатками.

Бригадир, стоя на коленях, прижимал ухо к Тимофеевой груди и часто-часто моргал.

— Ну как, жив? — с надеждой заглядывая в глаза бригадиру, спросил Петька, опускаясь на корточки рядом.

— Живой вроде, — ответил тот, поднимаясь. — А ну-ка, давай воду с него повытрясем.

Бригадир встал на колено, Петька с мотористом осторожно уложили Сулягина ему на бедро, Ухватин растопыренной ладонью слегка надавил на ребра, и шустрые ручейки побежали по палубе.

А Павел Вакорин уже подгонял «Семерку» к плавбазе. Поглазеть на «утопленника» высыпало все население флагмана. Над бортом колыхались головы моряков в марлевых тюрбанах, жокейских шапочках, поварских колпаках. В мешанине полосатых тельняшек, ярких маек, цветастых сорочек снежным пятном выделялся халат Тумановой. Она стояла на круглой площадке парадного трапа, прижимая к себе, как знамя, свернутые в трубку носилки.

— Полундра-а! — размахнувшись, бригадир ловко забросил на базу фалинь.

Прошуршав навешанными на борта автопокрышками о ржавый борт плавбазы, «Семерка» закачалась возле трапа. Сотни глаз теперь сосредоточились на Тумановой, быстро спустившейся на бот и колдовавшей над Тимофеем.

После укола и поднесенного к носу огромного тампона, щедро смоченного нашатырным спиртом, веки матроса дрогнули, он вздохнул и открыл глаза. И сразу сломалась напряженная тишина. Послышались возгласы облегчения. Все разом загалдели, задвигались, принялись громко обсуждать происшествие.

Баклажария наклонился к Тимофею:

— Расскажи скорей, дорогой, как там жизнь в подводном царстве. Пощекотали небось русалки? А? ..

— А мы уж думали, что ты на берегу отовариваешься. Раньше нас, — оскалился Ухватин и, подняв взгляд на Петьку, внезапно посерьезнел: — А пацан-то наш отчаянный! Кто бы мог подумать!

Все наперебой принялись нахвалять Петьку, жали ему руки, похлопывали по плечам, по спине. Баклажария, приговаривая: «Джигит, джигит!», ласково щекотал ему живот кончиком шкерочного ножа.

Багровый от смущения, Петька застенчиво улыбался.

Туманова возмутилась:

— Да вы что, никак очумели? Больному покою нужен, а они тут ярмарку организовали. А ну, быстрее укладывайте его на носилки. — Она задрала голову и прокричала крановщику: — Давай, Матюшин, майной стропа! Живее!

Петька бросился укладывать товарища на носилки, и вдруг сердце его тоскливо сжалось. На крыше рубки, куда складывали всякий хлам, он случайно увидел красный цилиндр с оранжевым поясом-поплавком — кожух радиобуя... И снова нахлынули неприятные воспоминания.

«Что же делать?» — растерянно думал он, озираясь по сторонам. Уходить на базу после всего того, что случилось, казалось просто нелепым. Остаться? Конечно, он должен остаться. Вчетвером ярус выбирать — намучаешься. Но как теперь к нему будут относиться товарищи?

— Чего нахохлился, герой? — прервал его грустные размышления Ухватин. — Дырку-то просверлил? Небось медаль отхватишь за спасение.

Петька потупился.

— Герой... Какой я герой? Трус самый обыкновенный. Буй вот погубил...

— Ах вон оно что! — усмехнулся бригадир. — Совесть, значит, мучает. Это хорошо, коли так. — Он ласково потрепал парня по плечу. — А буй... Что ж, буй не вернешь. Ну высчитают с тебя в крайнем случае.

Римма Цветковская

ДЕСЯТЫЙ ВАРИАНТ

РАССКАЗ

— Не то! — сердито сказал Ефим и строго постучал трубкой по Костиному чертежу. На ватман просыпался пепел. У Кости недовольно дрогнули губы.

Вот уже два месяца оба они находились во взвинченном состоянии. Два месяца — целая вечность. Почти каждый день приходилось что-то отстаивать, от чего-то отказываться, о чем-то спорить, нервничать.

— Не то, не то! — сказал Ефим.

Сотрудники из группы Овечкина оторвались от своих кулманов и посмотрели в их сторону. Чего Ефим не умел, так это говорить тихо.

— Механизм должен работать в конструкции легко, как балерина! — Ефим хлопнул ладонью по столу, и на темной полированной столешнице остался туманный след.

У другого руководителя этот механизм пролетел бы, как птичка, без всякого шума, и давно бы премия лежала в кармане.

— Я выдохся! — с досадой сказал Костя. — Механизм не барахлит. Ход мягкий. Тебе что? Больше всех надо?

— Ты в слова-то не зарывайся, как заяц в стог сена! — взорвался Ефим. — Докажи, что мне больше всех надо. Докажи, что шарниры не наследят во время работы.

Ефим влюблен в этот механизм, и Косте ясно, что последнее слово останется за Ефимом. Раз он завелся, значит, успел что-то подметить в шарнирах. Так бывало не раз. Это всегда выводит Костю из равновесия. Они почти ровесники, и то, что

Костя постоянно, хоть на шаг, хоть на полшага, но отстает от Ефима, всегда задевает его самолюбие. Ага, все понятно — вопрос эстетики: надо дожать нагрузку, иначе шарнир будет непоправимо скрипеть. Обидно, конечно, создавать, что чутье у тебя действительно хромает. Но Костя взял себя в руки и, сохраняя на лице спокойствие, отошел к кульману. Ефим ходил мимо. Косил в его сторону светлыми глазами. Дымил знаменитым на весь завод табаком. Он регулярно получал его от знакомого капитана дальнего плавания. Ефим был единственным мужчиной, которому женщины разрешали пару минут покурить, не выходя в коридор. В пропахшем старыми бумагами, прокисшей тушью и утренними завтраками помещении конструкторского отдела долго держался приятный аромат дорогого трубочного табака. Костю так и подмывало обернуться и слегка нахамить Ефиму. Но удерживало чувство справедливости: ведь нагрузку на шарниры действительно можно было чутко «дожать»!

— Вот. Совсем другое дело. Лентяй ты, Костя, — обрадовался за его спиной Ефим.

И, довольный, пошел в дальний угол отдела, где разместилась группа Овечкина, посмотреть, над чем те работают. Потом он направился к начальнику, и Костя слышал через тонкую перегородку, как они спорят. С этим механизмом Ефим основательно выскочил из сетевого графика, и начальник был недоволен. Он первый внедрил сетевой график у себя в отделе и очень этим гордился. Он не желал терять свой коэффициент престижности, и его можно было понять.

Начальник торопил, подгонял. Ефим барахтался в сетевом графике, как в паутине, и тоже сердился из-за того, что не может соединить в гармоничное целое сроки. Он обладал здоровым чувством соревнования, переживал, если у него что-то не получалось. Если переживания не давали покоя, Ефим кивал Косте, приглашая выйти в коридор покурить. У них было присмотрено одно замечательное место, за мощными, допотопного вида колоннами, у маленького окна. Ефим рассказывал, как он путешествовал по Военно-Грузинской дороге, купался в искусственном озере в Мингечауре, ползал по пещерам древних поселений в Горисе. О местных обычаях, людях, случаях — каждый раз об одних и тех же местах, но всегда по-разному. Говорил и постепенно успокаивался. Успокоившись окончательно, Ефим умолкал и тыкал окурком в жестянку из-под шпрот.

— Вот так. Мчусь вслед за жизнью, бегу как ошалелый, все кажется, что догону нечто совершенное, — заявлял он обычно в конце разговора.

Механизм встряхивания, которым они занимались последнее время, очень нравился Ефиму. Каждую неделю у него возникали незапланированные идеи, и, к большому возмущению начальника, сетевой график в очередной раз ломался.

— Твоя, Константин, большая ошибка в том, что после окончания института ты не сразу пошел работать на завод. Только на заводе начинаешь понимать, что у любого механизма есть одно особенное свойство — впитывать в себя душу человека. Ты плохо представляешь, что это значит, когда созданная тобой конструкция заживет, задышит в цехе.

Наверное, это очень приятно, когда созданная тобой конструкция заживет в цехе, но, когда к этим приятным ощущениям примешиваются нотации начальника и насмешки приятелей, испытываешь приступы меланхолии. В конце концов начальник пригрозил лишить их двоих квартальной премии. У Кости как раз развивались полным ходом сложные взаимоотношения с Галкой, которые вот-вот должны были закончиться свадьбой. Костя дорожил каждой копеечкой. Несколько раз Костя готовил пламенную, прямо-таки огненную речь, обращенную к здравому смыслу Ефима. Но когда он заставал его утром в отделе — зачуханного, в нечищенных ботинках, казалось, и не уходившего домой, разложившего вороха чертежных листов на всех свободных столах, все эти житейские эмоции стушевывались и казались мелкими. И Костя покорно сидел за эскизы, чертил, остервенело стирал и снова чертил.

Сегодня после работы, как бывало и раньше, они зашли в маленькое кафе напротив завода. Официантка разносила горячие антрекоты с зеленым горошком. Почему-то она всегда грустила. Наверное потому, что никто не замечал ее красоты. Только подвыпившая компания иногда отпускала в ее адрес несложные комплименты.

Она аккуратно ставила на слегка протертые столики тарелки с салатом и смотрела мимо клиентов куда-то вдаль, в кудрявую зелень сквера, словно именно там пряталась ее судьба, ее счастье. Ни в одном общественном месте Костя не черпал столько разнообразных впечатлений, как в этом кафе. Может быть, это объяснялось тем, что кафе находилось недалеко от большого, людного колхозного рынка. Кафе посещала та разношерстная, совершенно неожиданная публика, которой

всегда так много в местах, подобных рынку и разного рода толчкам.

За столиками сидела молодящаяся пожилая пара и совсем сопливые мальчишки, которые уже много раньше накачались вином и блеяли, как стадо молодых барашков. Молодящаяся пара поерзала и пересела подальше от бесцеремонной компании. У них были какие-то свои тихие секреты. Они сразу же любовно наклонились друг к другу. Мужчина что-то негромко говорил, а женщина, слегка улыбаясь, помешивала ложечкой в стакане с черным кофе.

Ефим смотрел на них с откровенным любопытством.

— Оболочка человека стареет гораздо быстрее, чем интеллект и желания. Как это несправедливо. Мне всегда кажется, что люди умирают не от старости, а от тоски, — неожиданно пожаловался он.

Костя не слышал. Или не хотел слышать. Он промолчал. Ему показалось реальной мысль убедить Ефима встать на его, Костину, точку зрения.

— Ефим, послушай меня. Давай закругляться. Весь наш конструкторский отдел потешается над нами. Мы лезем из кожи вон. И самое смешное в том, что нас об этом никто не просит. Выкладываемся шире собственного объема. У меня мозги вот-вот вспыхнут синим пламенем. Сколько можно? Шарниры теперь отработаны лучше не надо. Встряхивающий механизм работает нормально. Давай завтра сдадим чертеж и примемся за шаговый транспортер с собачкой. Подпиши наконец чертеж. Я не выдержу десятого варианта.

— Ну что же, — кивнул Ефим с такой легкостью, словно Костя предлагал ему бутерброд с икрой. — Раз над нами потешаются, давай примемся за транспортер. Завтра я подпишу, и сдавай чертеж в ремонтно-механический цех. И пусть «кашляют» молоточки. Они «кашляют» во всех типах этого механизма. «Кашляют» в Минске, Киеве, Орске, Норильске, пусть «кашляют» и у нас. Успокоим себя тем, что в нашем исполнении конструкция более совершенна. Подпишу. Сегодня можешь спать спокойно. Десятого варианта не будет, — грустно добавил он после короткого раздумья.

Они замолчали. Ефим все еще растроганно смотрел на молодящуюся пару, которая мило шушукалась за своим столиком.

— Знаешь, как называют нас в цехах? — глядя на Костю, гордо сказал Ефим. — Братья-фанатики. Нас знают. Фанати-

ки! Я рад. Беремся за дело, значит, выкладываемся до самого дна — вот что это значит.

— Чего уж говорить, — пробурчал Костя. — Выкручиваемся, как белье после стирки.

— Глубже постичь, больше делать, уметь — вот что главное, пока ты молод и силен. Скажи, почему ты не взялся в начале года за самостоятельную разработку? Я же тебе предлагал.

— Я еще не готов к таким сложным работам, — сказал Костя.

— Нет, не потому. Ты думаешь, что время твое бесконечно. Тебе кажется, что твое главное дело, твоя красивая идея не в настоящем времени, а там, впереди, в необозримом будущем. Бойся этих мыслей.

— Я, Ефим, не люблю рыть землю, как крот, в одном направлении, — Костя запнулся, вспомнил, что это не его слова, а Овечкина. — Я обыкновенный человек.

— Плохо же ты думаешь про обыкновенных людей. Нет уж, дорогой, если взялся за дело, изволь пропускать его через себя, как электрический ток.

Костя ничего не сказал. Расстались они хмуро и неласково.

— Ладно, Костя, наверное, я тебя стал здорово раздражать, — сказал Ефим, прощаясь. — Ничего нет отвратительнее этого чувства. Оно, как вибрация, разрушает не только самолеты, но и дружбу. Умотаю я на ЛОМО. Передовая фирма. Там сейчас организуется участок новых разработок для любителей ломать голову. Собираются одни ненормальные ребята.

Признание неприятно кольнуло. Ревность, вот что испытал Костя, услышав, что какие-то ребята могут для Ефима значить больше, чем эти два года, проведенные бок о бок.

Дома ждала Галка. Преданная Галка.

— Что с тобой? Не болен? У тебя такое удрученное лицо, — спросила Галка совсем маминым голосом, и это растрогало его до глубины души.

Он всмотрелся в ее встревоженные глаза и вспомнил, что такие же глаза бывали у мамы, когда она волновалась за него.

— Я отказался от десятого варианта, — расстроено признался Костя. — Ефим собирается уходить в ЛОМО.

И стал жаловаться — на себя, на всю эту свистопляску с механизмом, на Ефима с его напористостью.

— Жаль, если он уйдет, — неожиданно признался он. — А как же я? Я как же?

На улице уже стемнело, и где-то далеко впереди поднималась луна. Ее слабый, нежный свет пробивался между домами. В комнате было светло и тепло. Через полуоткрытое окно доносился женский смех. На оконном стекле сидела стрекоза и грелась. Все предметы в комнате были давно обжиты и уютны. Особенно уютны, когда Галка просыпалась утром, сонная и розовая, и лепетала что-то бессвязное о чувствах. В этой комнате находилось много хороших вещей: старинные шахматы, небольшая картина Левитана, узбекский ковер. Но все эти вещи показались вдруг ненужными, ненадежными. Самым надежным представилась работа, которую они делали с Ефимом.

Костя заторопился. Ему казалось, что надо теперь же отправиться к Ефиму, немедленно, иначе что-то необратимо разрушится, чего-то дорогого не станет, и это убьет всю остальную Костину жизнь.

В комнате Ефима было темно. Сам он сидел в кресле у окна и обернулся на шаги Кости.

— А, это ты, — без всякого удивления, невесело отозвался он. — У меня электропроводка оборвалась — чинить не хочу сейчас. Утром исправлю.

Из-за крыши дома напротив показался край луны, вспучился, как нарыв: Созрев, оторвался и поплыл к антенне. Луна двигалась. Костя видел это движение. Это двигались он, Ефим, вся Земля. И двигались так быстро, что Косте показалось, будто он ощущает на своих щеках движение воздуха. Это было движение времени. Время, как ветер, проходило через него, как сквозь пустоту, и только мысль, казалось, способна была задержать это движение.

— Я пришел сказать, что буду делать десятый вариант. И одиннадцатый, если понадобится, — сказал Костя. — А в ЛОМО тебе делать нечего. У нас еще впереди транспортер с собачкой. Тоже, знаешь, хорошенькая штучка.

Виктор Андреев

КОНЕЦ АВГУСТА

Это — лето? Это — осень.
Утро. Пусто. Сыро так,
Словно небо билось оземь
И осталось на кустах.

Ночь ушла... уходит... или
Мягко в мох легла опять?
Ели лапами укрыли
Морды мокрые и — спать.

Руки вымокли и мерзнут.
Это — осень. Солнца нет.
Даже позже, солнцем поздним,
Вряд ли будешь обогрет.

* * *

Здравствуй, мир. Я живу в неизменной
грустной радости встречи с тобой.
Листья кружит ветер осенний,
поздний, чистый, но он — голубой.

В этом мире, неспешно летящем,
в листьях — тонких, как лица людей,
замечаю все ярче, все чаще:
чем прозрачнее, тем голубей.

Валентин Костылев

БЕЛОЕ МОРЕ

На белом просторе
Широкая рябь.
По Белому морю
Гуляет сентябрь.
Гуляет как ветер,
Свободен и чист,
И падает с веток
Оранжевый лист.
Леса разноцветны
На скалах седых.
Качаются ветки
У белой воды.
Качаются лодки
На белой волне.
И согнуты локти
На желтой сосне.
Качается море. . .
Лишь камни тверды —
На счастье и горе
Стоят у воды.
По спинам их черным
Прошли ледники.
И плещутся волны,
Звонки и легки. . .

Виктория Варган

ПРИВЕТ ОТ БАБУШКИ

РАССКАЗ

Апрель был на исходе. Сбросив зимнее оцепенение и мрачную меланхолию, навеванную сырой бесснежной зимой, ленинградцы оживились, с надеждой взглянули на переменчивое апрельское небо. И их надежды не были обмануты.

Стояла по-весеннему теплая погода, дождь шел ровно столько, сколько было необходимо людям и деревьям.

У нас с Варей все складывалось на редкость удачно: в перспективе четыре свободных дня — майские праздники совпали с концом недели — и поездка на новеньких «Жигулях» в Эстонию.

Наш сосед, известный в городе адвокат и милейший человек, дабы избавиться от не вполне осознанного, но беспокоящего его чувства вины перед соседями за то, что он — счастливый обладатель серебристых «Жигулей», а мы — нет, а также памятуя, что человек должен сеять добро, по очереди приглашал в загородные поездки обитателей нашей лестничной клетки. На сей раз он пригласил нас с Варей.

Нас ждала Эстония с ее аккуратными, ухоженными полями, уютными кафе и ночными барами. Но все это рухнуло как картонный домик двадцать седьмого апреля, накануне нашей предполагаемой поездки.

Долгий звонок вырывает меня из состояния глубокого сна. Я с сожалением открываю глаза и смотрю на будильник: шесть часов тридцать минут. Что за чертовщина? Стрелки, что

ли, неправильно поставил?.. А звон между тем медленно заполняет квартиру.

— Нажми кнопку, — сквозь сон бормочет Варя, с головой укрываясь одеялом. Ей торопиться некуда.

— Это не будильник, звонят в дверь, — говорю я, когда начинаю соображать что к чему.

— Как в дверь? — мигом просыпается Варя.

Набрасываю халат и иду в переднюю. Открываю дверь и мгновенно оказываюсь в объятиях смуглолицего молодого человека примерно моих лет. Он принимается лобызать и тискать меня с таким чувством, что я от изумления теряю дар речи. Стою и жду, пока не кончится у него приступ столь внезапной любви к ближнему.

— Вай, как я рад тебя видеть, дядя Геворг, — вытирая слезы радости, произносит наконец с кавказским акцентом молодой человек.

Гм, дядя? Впрочем, родственные связи и отношения порой бывают так сложны, что в них трудно было бы разобраться и самому господу богу. Но теперь я догадываюсь, что, во-первых, молодой человек из моих родных краев, а во-вторых, он, возможно, один из моих многочисленных родственников.

— Что ж мы стоим в передней? Входите, пожалуйста...

Мы входим в общую комнату, что служит нам одновременно гостиной.

— Я из Дзорагета, — говорит мой гость, — и зовут меня Артем.

— Поездом приехали?

— Нет, самолетом.

Об этом я тоже мог догадаться: и ереванский и бакинский самолеты прилетают рано утром.

— Перед отъездом заходил к твоей бабушке, — справившись с чувствами, говорит мой гость. — Жива и здорова, передавала большой привет.

— Спасибо. А сами вы из чьих?

— Айказ-даи знаешь?

— Знаю. — Еще бы не знать знаменитого дзорагетского тамаду.

— А его жену Айкануш?

Я утвердительно киваю. А сам недоумеваю: какая связь между Айказ-даи, его женой и моим гостем?

— А двоюродного брата его жены знаешь?

— Нет.

— Как, не знаешь Аршака, знатного дзорагетского тракториста?

Ничего не поделаешь, мне неизвестно это имя.

— Так вот, я племянник двоюродного брата вашего Айказ-даи.

«А Айказ-даи приходится братом моей бабушке», — мысленно заканчиваю я. Как видите, я поторопился. Связь, оказывается, есть. И не что иное, как эта связь, вызвавшая в моем госте несколько минут назад такой взрыв чувств, дает ему право на гостеприимный кров.

— В командировку?

— Нет, я в отпуск. Приехал погулять. Жаль только, времени мало: всего две недели. Спасибо отцу — это он меня надушил. «Поезжай, сынок, сказал он, остановишься у нашего Геворга, внука нашей Машок».

Когда дзорагетец говорит «наш такой-то», это вовсе не значит, что он состоит с названным лицом в кровном родстве. Просто сам факт происхождения из Дзорагета уже говорит за себя. Потому как, если разобраться в генеалогическом древе каждого дзорагетца, все они связаны между собой узами близкого и далекого родства, хотя бы они этого или не хотят.

— Кто это? — спросила Варя, когда я вошел в спальню.

— Родственник. . .

— Ненадолго? — с надеждой в голосе спросила Варя.

— На две недели.

— А как же наша поздка в Эстонию?

— Значит, не поедет, — ответил я. — Не могу же я выгнать родственника на улицу. И в гостиницу не устроить. Да он и не просит об этом.

— Две недели, — медленно произнесла Варя. Ее спокойный тон нисколько не обманул меня. — А как же мой творческий настрой? Тебе-то хорошо — ты работаешь не дома.

Варя год назад опубликовала рассказ в газете «Смена», имевший роковые последствия: она бросила работу в библиотеке, решив раздуть «божью искру».

— Ну что делать, нужно мириться с обстоятельствами, — тихо внушал я ей.

— О да, разумеется, нужно мириться с обстоятельствами, — едко сказала Варя. — Когда я согласилась стать твоей женой, я должна была знать заранее, что выхожу замуж не

только за тебя, но и за твоих бабушек и тетушек, за двоюродных сестер и братьев, за племянников и племянниц, за — как называется твое родное село? Дзорагет? — за весь Дзорагет. . .

Поскольку наш гость в отпуске, он поздно встает, поздно завтракает, поздно выходит из дому и поздно возвращается.

Мы же с Варей рано встаем, рано завтракаем и рано ложимся спать, поскольку мы не в отпуске.

Ровно в восемь, позавтракав, я уйду на работу, а Варя тихо слоняется из кухни в спальню и назад в ожидании, когда проснется гость и она сумеет добраться до своего стола с пишущей машинкой. Сюжет новой новеллы, теснясь в ее голове, властно просится на бумагу. Но — увы! — покой нашего гостя свят.

Ровно в двенадцать Артем, позавтракав, выходит в город получать впечатления, которыми Ленинград щедро одаривает каждого туриста.

Ровно в двенадцать Варя садится за письменный стол и битый час сидит, уставившись на чистый лист бумаги, горько при этом недоумевая, куда же подевалась новелла, еще недавно не дававшая ей покоя? Проклиная все и вся, Варя встает из-за стола, так и не написав ни строчки.

Май был в разгаре, когда Артем, поблагодарив нас, отбыл в направлении Дзорагета. А мы с трудом, но все же вошли в ритм привычной жизни.

Май был на исходе, когда вдруг в квартире раздался телефонный звонок. Я взял трубку:

— Алло, я слушаю.

— Алле, алле, это кыто? — Сильный кавказский акцент меня сразу же насторожил.

— Это Геворг. . .

— Вай, Геворг-джан, это ты? — Голос обрадованно перешел на армянский.

— Я, — ответил я тоже по-армянски.

— Вай, как хорошо, что ты дома, — возбужденно продолжал голос. — Я водитель рейсового автобуса из Дзорагета, Агарон. Помнишь, вместе ходили в первый класс? — И, не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжал: — А бабушка твоя по-прежнему жива и здорова, просила передать боль-

шой привет. Вай, как хорошо, что ты оказался дома, а то утром рано приехал к вам с аэропорта, но никого не застал.

— Мы ночевали за городом, только что приехали, — как бы извиняясь, ответил я.

— Ну ничего, ничего, — великодушным тоном сказал водитель автобуса из Дзорагета, а потом вдруг снова возбуж-



денно: — Слушай, Геворг, я приехал из-за футбольного матча «Арат» — «Зенит». Теперь некогда говорить — бегу на стадион, боюсь опоздать. . .

— Кто это был? — спросила Варя. Она ни слова не понимала по-армянски. — Опять из Дзорагета?

— Да. Но ты, джана, не волнуйся, он, кажется, в ночлеге не нуждается. Только передал привет от бабушки и помчался на матч «Арат» — «Зенит».

Варя облегченно вздохнула.

В тот вечер шел мелкий, морозящий дождь, и мы собрались на французский фильм с участием Жана Габена.

— Геворг, Геворг, не слышишь? В дверь звонят! — сквозь жужжание бритвы донесся из кухни голос Вари. Я выдернул штепсель из сети.

Открываю дверь и вижу: стоит на пороге незнакомый человек маленького роста — ну этак метр пятьдесят с кепочкой. Но не успеваю ни рассмотреть незнакомца как следует, ни рта раскрыть, потому как он мгновенно повисает у меня на шее. Он целует и тискает меня, всякий раз подпрыгивая при этом, чтобы дотянуться до лица.

— «Арарат» выиграл! — помяв меня как следует, кричит водитель автобуса из Дзорагета, ибо это именно он. — Не слышишь, Геворг? «Арарат» выиграл, «Арарат»! — хлопнув меня по спине, кричит он.

А я стою и лишь улыбаюсь глупо.

— Вай, что это была за игра! И под каким дождем! Надо выпить за победу, Геворг-джан! — и он вытаскивает из кармана бутылку армянского коньяка.

Тут только я замечаю, что наш гость из Дзорагета промок до нитки. Разумеется, в тот вечер ни в какое кино мы не идем, сперва отогреваем нашего гостя горячим чаем, а потом все трое пьем армянский коньяк за замечательную победу «Арарата».

Агарон гостил у нас неделю. В дни, когда была футбольная игра, он шел на Кировский стадион, в остальные — ходил по магазинам и покупал, покупал, покупал.

— Для чего столько покупок? — удивленно спрашивала Варя.

— Как для чего? — в свою очередь удивлялся Агарон. — С пустыми руками приехат из Ленинграда? Сину подарка нада? Нада. Дочке подарка нада? Нада. Старикам нада? Нада. А жене? А тете? А дяде?

— Да ведь этак денег не напасешься, — заметила Варя.

— Денги? Э, што такой денги? Пшт! — и он звонко шелкнул в воздухе большим и средним пальцами правой руки. — Одын рейс Дзорагет — Ереван — и пятьдесят рублей в кармане, — сказал он, хлопнув по карману.

— То есть как это пятьдесят? — пораженная, спросила Варя.

— Везу полный автобус люди — все, кто хочет. Полный-полный. Половина денги мне, половина сдаю в кассу. И государству харашо, и мне харашо, и люди харашо.

Июнь был в разгаре, когда Агарон, поблагодарив нас за гостеприимство, отбыл в направлении Дзорагета, нагруженный бесчисленными пакетами, с коробкой любимых конфет для моей бабушки.

Июнь был на исходе, когда рано поутру у двери раздался продолжительный звонок.

— Это ереванский самолет, — испуганно проговорил я, проснувшись без труда, потому что сон мой к тому времени стал чуток и тревожен, как сон молоденькой женщины, только что ставшей матерью.

— Нет, это бакинский — он прибывает позже, — сделала предположение Варя, которая стала спать столь же зыбким сном, как и я.

Второй, еще более требовательный звонок заставил меня вскочить с кровати.

Когда я открыл дверь, то на пороге увидел крепкого на вид мужчину лет шестидесяти, а может, и старше, пожилую женщину и молодого человека с тоненькими усиками над верхней губой. По этническим признакам — кавказцы.

— Ты ведь Геворг, сынок, не так ли? — спросил старик по-армянски.

Не успел я кивнуть, как со словами: «Здравствуй, здравствуй, дорогой, как же мы рады увидеть тебя!» — он схватил меня в объятия с силой, не оставляющей ни малейшего сомнения, что старик был крепок не только на вид. Под градом поцелуев, не сопротивляясь судьбе, я молча, с опущенными руками и растерянным лицом ждал, куда приедет дзорагетец — ибо я нисколько не сомневался, что эти люди приехали с приветом от бабушки, — не передаст меня, как эстафету, своей жене, а затем и сыну.

— А это твоя жена? — ткнул он коричневым от загара пальцем в появившуюся в дверях спальни Варю. — Хорошая у тебя жена! — Но тут, заметив славянские черты ее лица и русые волосы, спросил: — Она что, не понимает по-армянски? Скажи ей — ничего, все равно она нам нравится. Правда, хорошая у нашего Геворга жена, Асмик? — повернулся он к жене. — А ты что стоишь в дверях, Эдик? Входи! Не в чужой дом входишь, — сказал он молодому человеку с усиками.

Варя стояла без признаков жизни.

— Входите, пожалуйста, будьте дорогими гостями, — пришел я в себя, вспомнив законы южного гостеприимства.

— Ты посмотри, сколько места у нашего Геворга! — войдя в общую комнату, воскликнул старый дзорагетец. — Да тут можно все наше село разместить, не то что нас!

Усадив гостей, мы с Варей пошли на кухню готовить для них завтрак.

— Это твои родственники? — спросила Варя тоном, ничего хорошего не предвещавшим.

— Не знаю. Кажется, — виновато ответил я.

— Ты не уверен, что они твои родственники?

— А ты своих всех знаешь в лицо? — отпарировал я.

— Нет. . .

— Бабушка твоя бодра и здорова. День-деньской трудится, что твоя пчелка. Шлет тебе большой привет, — за чаем говорил Ованес (так называла нашего гостя его жена). — Ты, Геворг-джан, небось рад, что к тебе приехали из родного села? — умиленно продолжал он. — Знаю, знаю, что рад. Можешь об этом не говорить, — не дав мне открыть рта, сказал он.

Обязанности гостеприимного хозяина есть обязанности, и никуда от них не уйдешь. Я показал им город, а затем Эрмитаж. Притихшие, они медленно, зал за залом осматривали Зимний. Когда очередь дошла до помещений, где экспонируются произведения западноевропейского искусства, первые же обнаженные статуи и картины «ню» вызвали у дядюшки Ованеса сильнейшее негодование:

— Геворг-джан, сын мой, куда ты нас привел? Почему здесь столько голых баб и мужиков? Асмик, Эдик, проходите быстро, нечего глазеть на этот срам!

Но, проходя через зал Рембрандта, мы увидели знаменитую «Данаю», от которой дядюшка Ованес с ужасом отшатнулся:

— Тыфу! Ишь, бесстыжая, разлеглась, ни стыда ни совести! Пошли отсюда, Геворг-джан, здесь не место порядочным людям!

— Дядюшка Ованес, это же музей. В этих картинах художник изображает красоту женского тела.

— Это чтобы весь мир пялил на нее глаза? Да женщина даже мужу не должна показываться в таком виде, — яростно возражал он. — Нет, не то говоришь, Геворг, не то.

Два дня спустя после экскурсии в Эрмитаж я попал под сильный дождь, внезапно поливший после трехдневной жары, и вечером то и дело чихал.

— Ты слышишь, Асмик? — спросил дядюшка Ованес свою жену.

— Что?

— Как чихает наш Геворг?

— Слышу, Ванес, не глухая.

— Да ведь он чихает точь-в-точь как наш Эдик! — радостно воскликнул дядюшка Ованес. — Вот что значит родная кровь! Во всем она сказывается.

А на следующий день, за обедом, когда я попросил Варю не класть мне в суп луку, дядюшка снова радостно воскликнул:

— Асмик, ты видишь! Точь-в-точь как наш Эдик. Он ведь тоже не любит в супе лук!

— Оно и понятно, дядюшка Ованес, не чужие, а родственники, — не сдержав иронии, сказал я.

— Вот-вот, и я говорю то же самое, — серьезно сказал дядюшка Ованес. — Родная кровь всегда скажется, хочешь ты этого или нет.

Был конец июля, когда дядюшку Ованеса, его жену и сына мы проводили в аэропорт и они благополучно отбыли в Дзорагет.

В августе с приветом от бабушки к нам приехали еще несколько неожиданных гостей. Но нас это мало стало беспокоить, поскольку к концу лета у Вари и у меня выработался условный рефлекс: просыпались в пять утра — время прибытия ереванского самолета — и в половине шестого, умытые и одетые, по первому звонку открывали нашим гостям дверь.

В конце туристского сезона — в сентябре — с приветом от бабушки приехали еще двое. Муж и жена, симпатичные люди средних лет. Его звали Карапет, ее — Шогик.

Особенных хлопот Карапет и Шогик нам не причиняли, потому что оба довольно хорошо говорили по-русски. Да и раскладушки с постелью мы уже просто-напросто не убирали. Так и стояли они в общей комнате в ожидании очередных дзорагетцев.

Пожив с неделю, Карапет и Шогик начали собираться в обратный путь.

— Карапет, у меня к тебе просьба, — начал я, держа в руке традиционную коробку с трюфелями для бабушки.

— Говори, Геворг-джан, говори. Я для тебя горы сверну.

— Горы сворачивать не стоит, — сказал я, — а вот повезти моей бабушке эту небольшую посылочку я тебя попрошу.

— Вай, почему не повезти? — с радостной готовностью ответил Карапет. — И посылочку повезу, и привет от тебя передам, и как ты тут хорошо живешь, расскажу. Как приеду, первым делом отправлюсь к ней и... постой, а как твою бабушку зовут, из чьих она? Ты адрес, фамилию и имя написал?

— Что-о?! А разве вы не от нее приехали? Не из Дзорагета? — пораженный, спросил я.

— Нет, Геворг-джан, — несколько смутившись и почесав в затылке, ответил Карапет, — мы из соседнего с Дзорагетом села, из Оратага — соседи ваши.

— А откуда же вы взяли мой адрес?

Вместо ответа Карапет повернулся к жене:

— Ахчи, у кого ты взяла адрес нашего Геворга?

— Как у кого? — переспросила мужа Шогик. — У сестры моей. Она замужем в Дзорагете. Перед отъездом была у нее. Она дала адрес Геворга и сказала: «Только когда поедете к Геворгу, не забудьте сказать ему, что бабушка его здорова и передает большой привет».

СВЕТ ТВОИМ ГЛАЗАМ!

РАССКАЗ

Хотя стоял прекрасный летний день, с самого утра нам всем было не по себе — мы с братишкой угрюмо слонялись под туловыми деревьями, а Мец-Майрик ходила по двору как в воду опущенная. И лишь время от времени, заслоняя рукой глаза от солнца, она всматривалась в противоположный склон горы, где дома террасами спускались вниз, к ущелью, — весь день оттуда доносились к нам леденящие душу плач и причитания.

— Ахчи, Сопан, не знаешь, что за плач у Меликянцев? — спросила Мец-Майрик свою подружку, когда та заглянула к нам. — И двор почему-то у них полон народу... — и она снова посмотрела на противоположный склон горы.

— А ты что, не слыхала? Сегодня утром Ашхен Меликянц получила Черную Бумагу на сына. . . Вот она с горя и рвет на себе волосы. . .

— Вай, ахчи-ахчи! — горестно воскликнула Мец-Майрик, хлопнув себя по бедрам. — Что ты говоришь! Проклятая война, скольких она уже унесла. Бедная, бедная Ашхен! — и она снова горестно хлопнула себя по бедрам. — И как только ее материнское сердце выдерживает такое горе?

— Вот и я тоже так думаю.

Мы с Грантиком стояли рядом и слушали их разговор.

— Если бы я получила — не дай бог! — Черную Бумагу на сына, у меня тут же от горя разорвалось бы сердце, — продолжала Мец-Майрик. — Нет, правда, Сопан-джан, я тут же умерла бы на месте.

— Поднимемся к бедной Ашхен? — помолчав немного, спросила тетушка Сопан.

— Ну, конечно. Только накину на голову темный платок. . .

— Эй, ребята, бабушка ваша дома?

Мы с братом обернулись на окрик. У калитки стоял Хромой Андроник, сельский почтальон. Его не взяли на фронт, потому что при ходьбе он припадает на правую ногу.

— Нет ее дома, — ответил я.

— А где она?

— Вот уже неделя, как она ездит в поле стряпать для хлопкоробов. Приедет только поздно вечером на арбе Рыжего Тиграна.

— М-да. . . Что же делать?

Он с сомнением посмотрел на нас.

— А что? — спросил я. — Может, что-нибудь надо передать Мец-Майрик?

— Уж и не знаю, как тут быть. . . — Он явно был в затруднении. — А может, вы отдадите ей, а? — Он протягивает мне конверт.

— От дяди Сурена письмо?! — обрадованно воскликнули мы.

Вот уже много месяцев от него не было писем. Мец-Майрик не знала, что и думать. Все время ждала вестей от сына.

— Ну, ладно, отдайте ей сами, а я пошел дальше разносить письма.

После ухода Андроника я молча рассматривал в руках

конверт. На месте обратного адреса почему-то стояло только: полевая почта № 25548 — и все.

— А почему конверт не треугольный? — спросил Грантик.

— Не знаю...

Я торопливо распечатал письмо — все равно либо мне, либо кому-нибудь другому приходилось читать бабушке письма, — вытащил небольшую, сложенную вдвое бумажку и прочел вслух:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Гр. Самвелянц!

Ваш сын лейтенант Сурен Григорьевич Самвелянц пал смертью храбрых в боях за Родину.

Командир войсковой части 04511

Гвардии полковник Богданов И. В.

— Это же Черная Бумага... — испуганно прошептал Грантик.

У меня внутри что-то протестующе сжалось при мысли о том, что мы никогда больше не увидим дяди Сурена... Несколько минут мы стояли как вкопанные и в растерянности смотрели друг на друга.

— Если Мец-Майрик узнает, что дядя Сурен погиб, у нее тут же будет разрыв сердца, — сказал Грантик.

— Что ты говоришь глупости?

— Ничего я не говорю глупости... Я сам слышал, как она об этом говорила с тетушкой Сопан. Помнишь?

— Ага, вспомнил... Что же нам делать?

— Не знаю...

После минутного раздумья я сказал:

— Давай сожжем эту бумажку, а Мец-Майрик ничего не скажем. И она никогда не узнает о гибели дяди Сурена, и сердце у нее не разорвется.

— А так можно?..

— Почему же нельзя? Вспомни дядю Ваню, старшину. Он же тогда сказал неправду Мец-Майрик. Ну, что встречал дядю Сурена на фронте. Он тогда хотел успокоить ее и все. Просто пожалел и сказал неправду.

— Не знаю... И потом Мец-Майрик будет всю жизнь напрасно ждать, ждать от дяди Сурена вестей...

— Ну и пусть, — решительно сказал я. — Лучше всю жизнь ждать, чем разрыв сердца.



— А Хромой Андроник? Он спросит Мец-Майрик, что написал в письме дядя Сурен.

Я совсем про почтальона забыл.

— А мы пойдем к нему, расскажем про наш план и попросим, чтобы он никому о Черной Бумаге не говорил, — сказал я.

Когда солнце скрылось за горами, мы с братом побежали к Хромому Андронику. Он жил у речки. Сельский почтальон сидел на веранде, опустив натруженные ноги в деревянное корыто с водой. Он немного удивился, когда увидел нас.

— Ну, что пишет ваш дядя? — спросил он.

— В конверте было не письмо, а Черная Бумага... — ответил я.

— Вай, что ты говоришь! А я и то подумал тогда, что очень уж тонкий конверт, почти пустой... Бедная ваша бабушка!

— Дядя Андроник, мы сожгли Черную Бумагу и решили скрыть от Мец-Майрик гибель нашего дяди Сурена. А ты дай

честное слово, что ни Мец-Майрик, ни кому другому никогда не скажешь об этом, хорошо?

— Как так?

— А мы не хотим, чтобы наша бабушка умерла от разрыва сердца, — сказал Грантик.

— Понимаешь, если Мец-Майрик узнает, что дядя Сурен погиб на фронте, у нее тут же разорвется сердце, — пояснил я.

— Э, сынок, сынок, еще никто не умирал от горя. . . В конце концов человек привыкает к любой утрате, — с грустью сказал Андроник.

— Но у нашей Мец-Майрик сердце особенное — не такое, как у всех! — сказал Грантик.

— Как это особенное?

Тогда мы, перебивая друг друга, рассказали сельскому почтальону о разговоре Мец-Майрик с тетушкой Сопан, свидетелями которого случайно оказались.

— Ну, смотрите, как знаете, — выслушав нас, сказал Андроник. — Я — могила, никому не скажу ни слова. Кто знает, может, и в самом деле лучше всю жизнь надеяться и ждать. . . — добавил он, глубоко задумавшись, словно позабыв о нашем присутствии.

Когда поздно вечером Мец-Майрик вернулась с поля, мы ей ничего не сказали. Да и во все последующие дни, до самого возвращения в город, я и Грантик вели себя тише воды, ниже травы, и мы даже однажды услышали, как Мец-Майрик сказала тетушке Сопан:

— Ребята стали такими послушными, просто не нарадуюсь на них.

Наконец наступил и канун нашего отъезда в город.

— Геворг, Грантик, принесите из сарая две-три вязанки хлопкового хвороста и сложите возле тондыра. Сегодня будем печь лаваша и сладкую гату. Немного повезете с собой в город. Хлеб сейчас там все еще по карточкам, — сказала Мец-Майрик, выйдя из дома с засученными до локтя рукавами и в переднике, перепачканном мукой.

Мы быстренько принесли несколько вязанок хлопкового хвороста и сложили возле тондыра — это такая круглая, наподобие колодца, яма в земле глубиной в полтора — два метра, стены которой выложены белыми глиняными кирпичиками. В нем у нас пекут лаваша и плоские хлебцы.

А тут подросла и бабушкина подружка Сопан — они с Мец-Майрик всегда помогали друг другу печь хлеб, — и скоро сухой хлопковый хворост весело затрещал в тондыре. Мы как зачарованные следили за огромными пляшущими языками пламени, взметающими вверх тысячи искринок, которые спустя секунду, словно растворяясь, исчезали в воздухе. Еще несколько минут — и от сгоревшего дотла хвороста осталась на дне тондыра только кучка красных угольков, подернутая голубоватой пленкой золы.

— В самый раз, Сопан-джан, давай тесто, — плеснув водой на раскаленные стенки тондыра, сказала Мец-Майрик. Вода, зашипев, мгновенно испарилась.

Тетушка Сопан начала раскатывать тесто, а Мец-Майрик, сидя по-турецки, ловко налепляла дощечкой тонкие лаваша на горячие стенки тондыра, всякий раз на секунду по пояс исчезая в нем.

— Сопан, возьми-ка железный крюк и подцепляй им испеченные лаваша, — сказала Мец-Майрик, вытирая рукавом потный лоб.

Но тетушка Сопан не успела взять в руки железный прут с крючком на конце, потому что калитка с шумом распахнулась и во двор, запыхавшись и припадая на правую ногу, вбежал Хромой Андроник. Он размахивал в воздухе белым треугольным конвертом.

Подбежав к Мец-Майрик, он одним духом выпалил:

— Тетушка! Свет твоим глазам! Тебе письмо от сына!

— Что ты говоришь, Андроник-джан! Письмо? Да зацветет могила твоей матери розами! Давай прочитай нам вслух, узнаем, почему он так долго не писал.

Я изумленно уставился на сельского почтальона. Как же так? Значит, произошла ошибка и дядя Сурен жив?

Тут кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся — это был Грантик.

— А как же Черная Бумага, а? .

— Да погоди ты, — нетерпеливо отмахнулся я. Я был не меньше его ошеломлен.

Андроник читал вслух письмо — оно было написано по-армянски, — а Мец-Майрик и тетушка Сопан, стоя возле него, ловили каждое произнесенное им слово.

Дядя Сурен в письме сообщал, что в прошлом году во время одного из боев его тяжело ранило и он бы погиб, если бы его, раненого и без сознания, не подобрала белорусские

партизаны, которые и выходили его. А после он вместе с ними партизанил, пока наши войска не освободили всю Белоруссию от фашистов.

— Вай, Андроник-джан! — радостно воскликнула Мец-Майрик, обняв его. — Пусть отныне все твои болезни перейдут ко мне! А за счастливую новость с меня магарыч!

Она побежала в дом и вынесла пару ярких шерстяных носков:

— Вот тебе подарок. Я их связала сама. Возьми и носи на здоровье.

— Эй, что это у вас там за шум? — крикнула из-за ограды соседка Мариам.

— Ахчи, Мариам, письмо, письмо получила от моего сына! — крикнула ей Мец-Майрик.

— Вай, свет твоим глазам! Стало быть, Черная Бумага пришла по ошибке? Вай, какое это счастье!

— Что-что? — крикнула какая-то женщина, проходившая мимо распахнутой настезь калитки. — Значит, Сурен жив и Черная Бумага оказалась ошибкой?

Изумлению моему не было предела: ведь я считал, что тайна Черной Бумаги известна лишь мне, Грантику да сельскому почтальону. В глубоком недоумении я взглянул в лицо Хромому Андронику. Он поспешно отвел глаза в сторону...

— Э-э, что вы тут толкуете про какую-то Черную Бумагу? — удивилась Мец-Майрик. — Не такого сына я родила, чтобы его смогли одолеть фашисты! Я и не сомневалась, что рано или поздно получу от него письмо!

— Вай, ахчи-ахчи! — спохватилась вдруг тетушка Сопан. — Забыли про лаваш!

И она бросилась к тондыру. Я тоже кинулся туда. Несколько лавашей сорвалось со стенок и лежало на дне, в золе, а остальные, с оставшими краями, все еще румянились на стенках, правда каждую минуту готовые шлепнуться вниз. Тетушка Сопан, ловко подцепляя лаваша крючком, вытаскивала их из тондыра и раскладывала на белом холсте. У меня слюнки потекли, до того вкусно запахло свежеспеченным хлебом.

— Андроник, Сопан, Мариам, угощайтесь! — весело сказала Мец-Майрик. — А ты куда идешь, Сиран? — обратилась она к женщине, которая шла мимо нашего двора, но, услышав про счастливую весть, зашла поздравить бабушку. — Давай тоже угощайся! Геворг, сбегай за сыром.

Я вынес из дому овечьего сыру на тарелке, а тетушка Сопан, вспомнив, что у нее есть полдюжины круто сваренных яиц, побежала за ними. Скоро она вернулась, а с нею вместе две соседки. «Свет твоим глазам!» — сказали они Мец-Майрик и поставили на растянутый по земле холст глиняный кувшин с вином и миску с соленьями.

Калитка была открыта настежь, и каждый, кто проходил мимо, увидев, что у нас шумное веселье, присоединялся к к кефу — пиршеству. И все радовались, что Черная Бумага оказалась ошибочной. А я уже ни капельки не сомневался, что про нашу с Грантиком тайну знали все-все на селе, кроме, конечно, Мец-Майрик.

Стемнело, звезды высыпали на черный небосвод, а люди все приходили и приходили. И каждый приносил с собой что-нибудь вкусное, садился в кружок вокруг холста, прямо под открытым августовским небом. Все ели, пили и радовались, что скоро, очень скоро наступит день, когда фашистов побьют окончательно и односельчане с победой вернутся домой.

— Дядя Андроник, откуда все узнали про Черную Бумагу? — спросил я, улучив момент.

— Я и сам удивляюсь, — ответил он, смутившись. — Понимаешь, я рассказал об этом только своей жене и никому больше, честное слово. . .

Валерий Скбло

* * *

Все то, чем я связан с тобою,
Все то, чем разорван с тобой,
Оплачено страхом и болью,
Надеждой, слезами, судьбой.

Деревьев белесые пятна
Светили в оправе окна.
— Ты снова влюблен, вероятно, —
Сказала мне тихо жена.

О, если б я знал, что не болен
Любовью, а вправду влюблен,
Я был бы, наверно, доволен,
Как озеро, небо и клен.

* * *

На мосту, продуваемом ветром,
Постою и помедлю с ответом.
Ветер нас обжигает до слез.
На снежинки, летящие косо,
Смотришь, не повторяя вопроса,
Позабыла уже про вопрос.
Нелюбимая — ты мне дороже
Жизни. Жалко и больно до дрожи
За тебя. И никак не помочь.

Как вибрирует мост под ногами,
Вместе с ним мы вибрируем сами,
И ознобом охвачена ночь.
На ветру, над застывшей Невою
Мы молчим и не знаем с тобою,
Как еще наша жизнь повернет.
Мы молчим. Где-то за облаками
Над рекою, мостом и над нами
Еле слышно гудит самолет.

* * *

Тебе показалось, что ты одинок,
Но что бы с тобой ни стряслось,
Тебя охраняют звезда, и росток,
И птица — то вместе, то врозь.

Тебя провожают и зверь, и вода,
Снежинка, и камень, и клен,
И взгляд их осмыслен от боли всегда,
И светится жалостью он.

Усилie воли тебя уберечь
Исходит от трав и кустов,
Хотя им не свойственны разум и речь
В твоём понимании слов.

И волк одинокий, и лист под ногой,
И ветер, и дождь, и цветы
Незримою связаны нитью с тобой
Участия и доброты.

Сергей Далматов

ГОЛУБАЯ ЛОШАДЬ

РАССКАЗ

В детском саду, когда детей спрашивали: «Кем вы хотите быть?», дети, не задумываясь, отвечали: одни — пожарником, другие — доктором, третьи — летчиком... Лишь он один отводил в сторону глаза и тихо вздыхал:

— Я хочу найти голубую лошадь...

Взрослые категорично возражали:

— Мальчик, голубых лошадей не бывает! Лошади бывают пегие, каурые, вороные...

Тогда он упрямо поджимал маленькую губу и обижался:

— Нет, бывают!

В школе ребята смеялись над ним:

— Дурачок, голубых лошадей нет! Есть только розовые фламинго...

Он уже не спорил с ними, а просто отходил в сторону и подолгу стоял у окна.

Учителя советовали его родителям:

— Наверное, ребенок много читает, и, главное, совсем не то, что нужно. Уберите от него книги, иначе это может плохо кончиться...

Однажды он примчался в школу очень возбужденный и, невоспитанно дергая учительницу за рукав, радостно сообщил:

— Анна Ивановна, прочитайте!
В его руке была раскрытая книга.

...Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

— Раз бывают розовые кони, значит, бывают и голубые!
Анна Ивановна поправила очки и, строго взглянув на него, выразительно произнесла:

— Во-первых, дергать учителей за рукава нельзя. Запомни! Во-вторых, розовый конь—это поэтический образ, что это такое, мы еще будем проходить... А в-третьих, голубых лошадей все-таки нет.

Горькие, обидные слезы густым туманом заволокли его глаза, и, всхлипывая, он выбежал из класса.

Когда он заканчивал школу, его, как и всех, спрашивали:

— Куда пойдешь после школы?

И он неопределенно пожимал плечами:

— Да так. В институт, конечно...

Была теплая летняя ночь. Они сидели в тихой, отдаленной аллейке городского парка.

— Я люблю тебя! — чуть слышно сказал он.

Она счастливо улыбнулась и посмотрела ему в глаза.

— И я люблю тебя!

Вдруг в глубине парка он услышал тихое ржанье. Освещаемая холодным светом неоновых фонарей, по аллее медленно брела... голубая лошадь.

— Посмотри, голубая лошадь! — не удержался он.

Девушка медленно повернула голову, посмотрела, куда он показал, и засмеялась:

— Ну и выдумщик ты у меня!

Прошло несколько лет. На улице он иногда встречал кого-нибудь из своих школьных друзей. Тот шумно радовался встрече и энергично рассказывал о своих достижениях:

— Старик, у меня все нормально: кандидатская, машина, конечно... дети. А как у тебя, все ищешь свою голубую лошадь?

Тогда он одергивал поношенный пиджачок, немного конфузился и, поправляя очки, бормотал:

— Брось, ты же знаешь — голубых лошадей не бывает...

Как-то перед отпуском ему предложили путевку:

— Съездите, отдохните. Там все-таки горы, воздух, да и санаторий новый, только что открылся... А то у вас вид, извините, неважный...

Соседи по комнате целыми днями резались в преферанс и пили сухое вино. А он укладывал небольшой рюкзачок и подолгу, иногда по несколько дней, пропадал в горах.

Один раз он немного заблудился и, спускаясь в небольшую долину, присел отдохнуть на камень. Вдруг из колючих зарослей кустарника вышла... голубая лошадь. Она подошла к нему и мягкими теплыми губами уткнулась ему в плечо. Он потрогал ее и равнодушно сказал:

— Уйди! Голубых лошадей не бывает!

Дома собрались друзья, чтобы отметить его возвращение.

— Ну, как отдохнул? Как горы, как природа?

Он вяло пожал плечами и устало бросил:

— Не знаю, я спиной к окну сидел — в преф дулись...

Друзья понимающе и многозначительно заулыбались.

Они ворвались к нему в дом, размахивая газетами:

— Старик, читал? Сенсация! Какой-то чудак из отдаленного горного селения нашел-таки голубую лошадь. Открытие века! Выходит, ты был прав, они все-таки есть...

Жена доставала из холодильника консервы, а он, поставив на стол бутылку «экстры», пробежал глазами небольшую заметку на последней странице газеты.

— А, врание! Голубых лошадей не бывает, — твердо сказал он и отвернулся к окну.

Трогая мягкими, теплыми губами холодное стекло, за окном стояла голубая лошадь...

СТАРУХА

РАССКАЗ

Однажды сижу я дома, вдруг — звонок. Открываю дверь, стоит старушка. Обыкновенная такая старушка в платочке и с хозяйственной сумкой.

— Здравствуйте, — говорит и снимает пальто.

Помогаю ей раздеться, а сам лихорадочно соображаю:

«Неужели опять какая-нибудь родственница жены из Тамбова приперлась?»

А старуха садится на стул и говорит:

— Как вы догадались, я натурщица.

— Кто? — у меня даже глаза на лоб вылезли.

— Кто, кто? Натурщица!

— Какая натурщица?

— Обыкновенно какая, с которой ваш брат, молодые художники, картины рисуют. . .

— Бабуся, во-первых, я не художник, а токарь, а во-вторых, я с детства рисовать не умею. . .

Выяснилось, что это пенсионерка, подрабатывающая в художественном училище, и что она ошиблась адресом и попала совсем не туда, куда ей было нужно. Я обрадовался и уже хотел подать ей пальто, да не тут-то было — старуха уперлась:

— Хватит трепаться, рисуй, кому говорят! Подумаешь, токарь! Был токарем, стал художником. Все равно сейчас ни Тицианов, ни Чюрленисов нету, на художников дефицит. Рисуй, кому говорят, зря, что ли, я на такую верхотуру к тебе забиралась? Бери краски и мажь, молодому художнику все сойдет. . .

— Так у меня и красок-то нет!

— Ну-ка погоди, у меня, кажись, что-то завалилось. — И она достает из сумки пару тюбиков.

Через час вижу, делать нечего, от старухи мне не избавиться, придется рисовать. Взял ватман и пошел малевать как умею. Краски оказались синего и фиолетового цвета, так что картина вышла малость жутковатая, особенно если учесть мои художественные способности.

Старуха отложила вязание и оценивающе взглянула на мои труды.

— Ничего, сынок! Для молодого художника совсем ни-

чего! Чувствуется, правда, школа экспрессионизма, но зато современно... Ты напиши-ка на обороте-свою фамилию.

Она забрала мое творчество и ушла.

А вскоре, говорят, была выставка молодых художников, и мою мазню тоже вывесили, в рамке...

Начались мои мытарства в искусстве.

Вызывает меня начальник цеха:

— Молодец, Вася! Слышали... Растущий талант... Порывы творчества. Ничего, поможем!..

— Виктор Петрович, я не хотел...

— Ладно скромничать-то, мы должны дать тебе дорогу. Ты что же, хочешь, чтоб потомки осудили нас как душителей таланта? Не выйдет!

В общем, никто слушать меня не стал. За счет месткома срочно приобрели грузовик красок, кистей, холстов, а меня от основной работы освободили — только рисуй! От завода трехкомнатную квартиру дали.

— У всех художников студии есть? Есть! Теперь и у тебя будет. Твори! Только не забудь помянуть в мемуарах и про наш душевный порыв...

Пришлось рисовать, нельзя же подрывать доверие родного коллектива. Намазал десятка два полотен и показал известным мэтрам. Ну, думаю, сейчас разнесут меня по кочкам и закончится наконец моя карьера художника. Но они посоветались и говорят:

— Отличные работы! Это совсем неплохо, что человек, можно сказать от станка, от сохи, к искусству тянется...

— Да где же, — говорю, — отличная работа? Вы же сами видите — мазня!

— Не скромничайте, для молодого художника даже очень неплохо!

— Да какой же я молодой! Мне скоро сорок стукнет.

— Э, батенька, вы и в пятьдесят молодым художником считаться будете. Не в возрасте дело...

Плюнул я и пошел домой холсты марать, неудобно как-то: ко мне домой представители общественности завода приходят посмотреть на творческую личность, выращенную в родной среде, поинтересоваться успехами. Нельзя же людей подводить! Зато теперь с каким сочувствием я отношусь к некоторым пожилым людям: молодым писателям, режиссерам, композиторам!.. Кто знает, может, и этим ребятам тоже какая-нибудь старуха жизнь испортила?

ЛАРЕК

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

Напротив нашего магазина пивной ларек поставили. Да, да, тот магазин, что на нашей улице, вход с угла, три ступеньки вверх. . . Продавца на работу оформили и все такое, да случилась одна загвоздка. Нужно было к ларьку воду подвести для мытья кружек, а взять ее неоткуда. Справа от ларька — одна солидная организация, она воду не дает. Ясное дело, какой ей интерес, чтоб возле ее проходной пивной ларек стоял, — сплошное искушение для работающих. Слева — стройплощадка, детский садик, почитай, уж лет пять строят. Откуда ж воду брать? Можно, конечно, из самого магазина, но для этого надо трубы тянуть через дорогу — асфальт вскрывать и все такое прочее. . . А откуда у простого магазина такие возможности?

Вот тогда-то директор и повесил объявление: мол, слезно прошу лиц, заинтересованных в потреблении пива, собраться в воскресенье и малость пособить. . .

Что касается меня, так я, прямо сказать, пивом не брезгую. Больше того, люблю после баньки или в жару пару кружечек огреть. Или, скажем, после дня рождения. . .

В общем, решил: надо идти, что мне стоит пару лопат бросить!

Прихожу, а вокруг ларька народу собралось — тьма. И все наш брат, мужики. Волнуется толпа, гудит, обсуждает предстоящий момент потребления пива. Приходит директор, а с ним двое рабочих — трубы приносят. Вдруг какой-то мужичок из толпы вылезает.

— Вы что это принесли? — спрашивает.

— Как что? Трубы.

— Вижу, что трубы, не слепой. А какие трубы? Железные! От них вода ржавая будет — пиво весь букет потеряет. Понимать надо! Погодите-ка, я домой смотаюсь, трубы из нержавеющейки принесу, специально для этого дела с завода приволок. . . Порадел для общества. . .

Принес он трубы, в один момент мы их уложили. Нашлись и строители, и дорожники, и водопроводчики. Народ-то сейчас пошел — не люди, а сплошь высококвалифицированные специалисты. . .

Стоим, ждем, пока пиво привезут. Вдруг кто-то говорит:

— Ребята! Гляди, какой ларек-то хлипкий. Продавец в нем летом от ветра качаться будет, а зимой от мороза стынуть. Перебои в торговле пойдут. Чего без дела-то стоять, давай каменный соорудим! Для себя ж делать будем, не для дяди. . . — И добавляет: — А кирпич я на себя беру, зря, что ль, прорабом работаю. . .

И пошло — вмиг раствор, кирпичи привезли. (Для себя ж старались, понимать надо!) Раз, два — по кирпичику каждый уложил, и готово дело. Прямо не ларек, а Дворец культуры вышел.

Тут один парень и говорит:

— Мужики! У меня на стройке колонны валяются. Может быть, присобачим их, так сказать, в эстетическом плане. . .

Сказано — сделано, поставили и колонны. Здорово вышло — прямо Исаакий, только чуть поменьше. Кто-то еще и статую приволок: мраморная женщина, без рук правда, но ничего, симпатичная. Тоже где-то без дела валялась. . .

А тут живая женщина прибегает. Заведующая тем детским садиком, что рядом с ларьком строился.

— Товарищи, говорит, пособите детишкам. Ждут они, а со стройкой который год одна волынка получается. . . Ну, что вам стоит для своих же детишек постараться. . .

Ладно, через два часа все было готово. Стены возвели, крышу схлопотали, внутри дом покрасили. Заведующая так прямо ошалела от счастья.

— Спасибо, родненькие, — плачет, — век вас не забуду.

— Брось, тетка, для себя ж старались!

Потом вдруг один пожилой мужчина подходит.

— Я, — говорит, — председатель жилищного кооператива. Мы тут за углом двадцатипятиэтажный дом строим. Новоселы ждут, волнуются, а строительство замерло. . . Помогите, братцы, я на пивзаводе работаю, обещаю — ваш ларек каждый день самым свежим пивом заряжать буду. . . Постарайтесь. . .

Короче говоря, к вечеру в тот дом новоселы въехали.

Эх, жаль только, что стемнело быстро, были б белые ночи, мы бы еще не то сделали. . . А что? Все ж выходные были, не на работе, для себя же старались. . .

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

РАССКАЗ

Как у нас ребенок родился, жена сразу поставила вопрос ребром: или — или. Или я устраиваю дочурку в ясли, или нянчусь с ней сам. Потому что у жены, видите ли, могут погибнуть прирожденные дарования и не раскрытые доселе таланты.

Но это легко сказать — ясли. Там уже очередь на пятилетку вперед стоит. А жена мне на это заявляет:

— Раньше надо было думать. Порядочные люди, прежде чем жениться, в ясли записываются. Ищи, — говорит, — няню.

Где ж ее сыщешь?

Нервным я стал до ужаса. По ночам во сне все детских воспитательниц звал. На работе в чертежах путался. И к концу месяца вдруг вспомнил: есть у нас с женой одна родственница. Дальняя, правда, но зато возраста пенсионного. Адрес ее разыскал — и сразу же в поезд.

Насилу добрался до бабуси. Встретила она меня настороженно. А как услышала, зачем приехал, вовсе расстроилась:

— Ты што, белены объелся? У меня хозяйство — это понимать надо! Корова не доена, гуси-куры не кормлены, а ты с глупостями лезешь!

А я перед ней — бац на колени, смотрю преданно и горячо объясняюсь. Про родственные чувства говорю, про смену нашу, светлое будущее, про детей то есть, которые настоящие цветы жизни. Еле уломал ее к вечеру. Вышел в сени, выпил из ведра три кружки воды и, покачиваясь, спать пошел в курятник. А бабуся махнула мне рукой на прощание, взяла билет и уехала.

Утром ни свет ни заря встал я, подоил коровенку. Живность покормил, грядки прополол и в правление потопал. Механизатором записали, благо Политехнический окончил. . .

Живу я в деревне шестой уж год. В передовики выбился, хозяйство приусадебное увеличил. Летом семья у меня отдыхает. Дочурка скоро в школу пойдет. Может, тогда снова инженерить начну. Если бабка, конечно, согласится обратно в деревню переехать.

Ирина Знаменская

* * *

Давай объяснимся пейзажем,
Раз нету надежды иной,
Быть может, природа подскажет,
Что нынче творится со мной:

Зиме не такое простили,
А тут — привечают едва
За то, что на сердце простые,
Нагие, как ветви, слова.

Напомнишь:
— Того ли хотела? —
А я отпишу на снегу:
— Пустое,
Ну, что я — без дела?
И что без друзей не могу,
И что от себя не согреться. . .

А суть воскрешенья ясна:
Когда уже некуда деться —
Всегда наступает весна.

Ольга Бешенковская

* * *

Глухонемые говорят —
Как будто музыку рисуют:
Их пальцы нервные парят
И взгляду слово адресуют.
Смотрю
 (немея от стыда,
Краснея сладостно и густо),
Как вырастает их беда
В какой-то новый вид искусства...
А наших строчек лепота
Откуда? — Память умолчала.
А не Гомера ль слепота
Дала поэзии начало?

* * *

До обидного прост и недолог
Путь к старинному сейфу души:
Бородатый, как черт, социолог
Пододвинет вопросник: — Пиши! —
Бесполезно уже притворяться —
Разглядит он, как ты ни таи,
Сквозь замочную щель перфораций
Все наивные тайны твои.

И — держись, развеселая личность! —
Лучше даже, чем другу, видны
И усталость твоя, и скептичность,
И тенденция к чувству вины. . .
Только хрустнет задетая ветка,
Расцветет ли строка ни о чем —
Мефистофель двадцатого века,
Усмехаясь, стоит за плечом. . .

* * *

Каким ты будешь, будущий язык?
Один для всех — как музыка и небо. . .
Один для всех: для Фета и для Феба,
Для коренастых сеятелей хлеба
И бледнолицых пахарей музык.
Чем будешь ты: рисунком или словом?..
Ты ко всему заранее готов:
И молча в спектре вылиться лиловом,
И выразиться в запахах цветов. . .
Готов для всех признаний и наветов
Дарить оттенки слуху и очам,
Готов своих пленительных поэтов
И утешать, и мучить по ночам;
А я — лететь к тебе издалека. . .
Хоть мой скафандр — фланелевый халатик —
Смешон в хрустальной готике галактик,
Но вдруг пронзит восторгом и охватит
Прикосновенье к тайне языка. . .
И зазвучат (и слышала не я ли?)
Уже в моей языческой дали
И борозда раскрытого рояля,
И клавиши подтаявшей земли. . .

Николай Ивановский

ПОПУТНОГО ВЕТРА, САШКА!

РАССКАЗ

Сашка вновь сбежал из ремесленного училища.

Поздно вечером, побродив по набережной, он зашел в Румянцевский садик и, втянув голову в воротник шинели, лег на скамейку. Ночной ветер посвистывал в голых деревьях и обдувал Сашкины брюки. В Сашкином носу хлюпало, он стучал зубами и подвывал ветру, подтягивая колени ближе к подбородку.

— Пацан, пацан! — разбудил Сашку человек с простуженным голосом.

Сашка вскочил.

— Я тоже посижу, не возражаешь?

Сашка не возражал.

— Ох и гудит!

— Голова? — сообразил Сашка.

Человек с прищуром посмотрел на Сашку и, проведя согнутым указательным пальцем под обвисшими усами, спросил:

— Ты откуда?

— Из Москвы.

— Заливай, я тебе что, милиционер? Как звать-то?

— Са-а-шка-а.

— Дя-я-дя Ва-а-ся, — передразнил человек Сашку. — Давно заикаться стал?

Сашке было не до шуток — холод колотил его до самых печенок. . .

— Во, слышишь, гудит!

— Голова-то?

— Коробка гудит, старпом беспокоится. . .

Сашка уловил слабый гудок буксира, и отношение к дяде Васе у него стало самое уважительное. Мысль о том, что дядя Вася похож на боцмана из кинофильма «Мы из Кронштадта», согрела Сашку.

Дядя Вася с трудом привстал и снова сел на скамейку.

— Надо подождать. Ноги не идут. . .

— А вы за меня держитесь, они и пойдут.

— Ишь ты, все знаешь, — усмехнувшись, одобрил дядя Вася Сашкино предложение и, покачиваясь, встал.

— Все знает прокурор! — съехидничал Сашка, положив на свое плечо его тяжелую руку.

Они двинулись к набережной.

Издали, в ночном полумраке, казалось, Сашка тащит на себе медведя. . .

Буксир «Стремительный» чихал трубой и скрипел сходней.

Сашка оказался в машинном отделении буксира, где дядя Вася был хозяином.

Он выложил на стол перед Сашкой два куска рафинада, хлеб, шматок сала, принес чайник. Потом дядя Вася дул, обжигаясь, в алюминиевую кружку с крепким чаем и таким образом, по его выражению, прочищал мозги. Они обстоятельно говорили: дядя Вася из крепких морских слов лепил образ своей молодой жены-изменщицы, Сашка при этом пренебрежительно замечал, что надо брать по годам, дядя Вася поднимал пудовый кулак и показывал им в воздухе, как бы он придавил ее любовника, попадись тот ему на узкой дорожке, ибо это не человек, а нефть ползучая, Сашка же, узнав, что «Стремительный» ходит в Кронштадт, хитро плел о себе околесицу, высказав единственную правду, что у него нет родителей и что он хочет быть юнгой.

— Поговорю с капитаном, — твердо сказал дядя Вася Сашке, — и будущей весной вместе «отдадим концы». Идет?

— Идет! — согласился сдержанно Сашка, но сам за это готов был расцеловать механика в седые усы.

Утром храп механика потрясал машинное отделение. Сашка, закинув руки за голову, лежал на промасленных фуфайках на каком-то ржавом баке в углу. Он вспоминал, как до войны с ребятами в Кронштадте, чтобы посмотреть фильм «Мы из Кронштадта», приступом брали «Максимку» — бывший собор, переименованный в кинотеатр имени Максима Горького. При входе стоял одноглазый контролер. Мишка Клюква, облада-



тель красного широкого носа, медленно жевал кислое яблоко. Младший брат его Вовка держал во рту наготове два грязных пальца и ждал: как только после третьего звонка Мишкин плевок из жеваного яблока угодит контролеру в единственный глаз, он должен сразу же свистнуть... Барьер трещал! Но трещали брюки и куртки у многих мальчишек, кинувшихся по кинотеатру в разные стороны и схваченных взрослыми на пути к заветной цели...

— Да это же наш бассейн!

— А там... Морской завод должен быть! — выкрикивали на передних местах ребята и кляли белогвардейцев, толкающих матросов с обрыва в воду с подвешенными камнями на груди...

У Сашки, смотревшего на экран через щель портьеры, при виде падающих вниз с обрыва гитары и мальчишки-матросика к глазам подкатывали слезы.

Плавать Сашку учил отец. На заливе он семилетнего Сашку бросал в воду, а когда тот выплывал на берег, вел за руку к ларьку, ставил перед Сашкиным носом кружку кваса, себе пива.

Сашка вертелся вьюном, отчаянно бил руками по воде, но вторая кружка с квасом, обещанная отцом, заставляла его держаться на поверхности и глотать «огурцы»...

Он бы выпил и третью, да живот не позволял — тянул книзу!

Позже не было в Кронштадте мостов, барж, доков, набережных, откуда бы Сашка не прыгал. А после фильма «Мы из Кронштадта», играя с ребятами в войну «красные и белые», взял в собой кухонный нож, привязал к шее камень и, прыгнув в бассейн, еле всплыл на поверхность — нож оказался тупым, камень каким-то чудом выскользнул из веревки.

Сашке на фуфайках не спалось: его одолевали воспоминания, он проглотил слюну, ему захотелось арбуза...

Арбузы! Сочные, пористо-красные! Корки от них с отметинами жадных зубов плыли из-под ленинградской пристани...

Сторож стучал по пристани палкой, рычал, подражая овчарке, но ничего не мог поделать — арбузы из-под брезента исчезали и корки плыли ровно неделю. И когда уже поплыли целиком арбузы, за ними кожа от апельсинов, затем и сами апельсины, милиция на катерах сделала облаву... Но под пристанью на отмели сидел лишь трехлетний карапуз и играл в песке фруктами.

А где был Сашка и остальные ребята со двора?

Они спокойно вдыхали кислород между балками, погрузившись по горло в воду, и даже разглядывали сине-зеленых рыбешек-колюшек, шныряющих у них под мокрыми носами.

Рядом с пристанью находился пляж. В тот день, скрываясь от милиции, Сашка вслед за старшим Клюквой залез под женские кабины. Он заглянул в щель пола снизу — и об-

мер! Женщина в кабине обтиралась мохнатым полотенцем, и Сашке открылся мир, для него недоступный, — его бросило в жар... Он выскочил на пляж и, сверкнув босыми пятками, скрылся в море. Потом, где бы ни встречал Сашка незнакомых взрослых женщин, он долго и пристально всматривался в них. А когда собирал фантики — самым любимым был фантик от конфеты «Кукарача». В длинном платье, в туфлях на высоких каблуках, с вьющимися черными волосами, женщина на фантике как бы летела в танце... Сашка боготворил фантик!

А мальчишки во дворе пели про «Кукарачу» похабную частушку. И однажды Вовка Клюква украл у Сашки фантик. Они неистово дрались до первой крови. Сашка побеждал Вовку. Старший Клюква решил помочь брату и, нахлобучив Сашке на глаза кепку, дал подзатыльника.

Кривоногая Шурка, с которой Сашка дружил и делал ей из коры лодки с бумажными парусами, сказала: «Не играй с Вовкой в фантики, он у тебя и лупу украл!»

«Ах, Кукарача, ах, Кукарача, до чего ж ты довела!»

А довела она до того, что зимой Сашка с ребятами со двора решили на лыжах добраться до Ораниенбаума и оттуда сделать лыжню на Ленинград: конфеты «Кукарача» продавались лишь в Ленинграде. Воинский патруль, остановивший ребят у Ораниенбаума и отогревший их перед жаркой печкой, надрылся от хохота, узнав о причине «культпохода». На следующее утро ребят отправили в Кронштадт на буерах под свист ветра и смех молодых красноармейцев.

Вот какие воспоминания одолевали Сашку на ржавом баке в машинном отделении.

Всю зиму Сашка прожил на буксире «Стремительный».

С утра он драил машинное отделение, и в те дни самым любимым металлом для него была, конечно, медь... Она светилась Сашкиным трудолюбием.

Дядя Вася разошелся с женой и больше к спиртному не прикасался. Он учил Сашку работе до седьмого пота, словесной морской премудрости, а вечерами, побряхывая, слушал, как тот читал вслух толстенную книгу «Цусима». Нашел Сашка ее в тряпье за ржавым баком. Читал и сожалел, что не было в то время подводных лодок, чтобы разгромить японцев, а дядя Вася в гневе на них топорщил усы, когда же наши стали топить свои корабли, не выдержал и хлюпнул носом. «Ничего! — говорил Сашка. — Зато мы сейчас им дали!»

Весь кубрик, где они жили с дядей Васей, Сашка оклеил географическими картами. Механик теперь точно знал, где находится Сингапур, Рио-де-Жанейро и остров Мадагаскар. И еще Сашка обзавелся полкой, выложив на ней в ряд книги исключительно на морскую тематику, украденные из библиотеки училища его закадычным другом Колькой Краснопером. Тот приходил к ним в гости под страшным условием: «дружбе настанут кранты», если директор училища узнает что-нибудь о Сашке. К Силантьеву он решил зайти, как только поступит в мореходку.

О том, что он работает на буксире, и о своей мечте поступить в мореходку Сашка написал в Москву Юльке — его случайной любви: они встретились на слете художественной самодеятельности ремесленных училищ Москвы и Ленинграда. Та ответила: «Нужен ты мне такой!» Сашка вспыхнул и послал ей в конверте засохшего таракана.

И вот Сашка мел клешем кронштадтскую пыль.

Он остановился у дома, в котором когда-то жил, и заглянул во двор. В песочной клумбе копошились дети. Сашка обогнул развешенное на веревках между двумя липами белье и, не вынимая рук из карманов, трахнул ногой по пустой консервной банке. Та трижды кувырнулась в воздухе и стукнулась о стену дома. Из малышей никто не взглянул на Сашку. Он подошел к банке и увидел на стене, где когда-то с ребятами играл в «пристенок», отчетливо выцарапанную монетой надпись: «Бабья Ляпа + Шурка!» А внизу под нарисованным сердцем, пронзенным стрелой: «дурак! дурак! дурак!»

Сашка поднял глаза на Шуркино окно. Она в тельняшке стояла на кухне и жарила картошку. Запах жареной картошки Сашка смог бы уловить через весь Финский залив. . . А Шурку узнал сразу — скуластую, с небрежной челкой на лбу.

— Сашка-а, сколько лет, сколько зим? — высунувшись в окно, обрадовалась ему Шурка и, как будто никогда с ним не расставалась, тут же пошла нести чепуху: кто живет в Сашкиной квартире, кто уехал, кто приехал. . .

— Давай сюда! — махнул ей рукой Сашка и, вытащив из кармана трехкопеечную монету, на каждом слове «дурак» исправил маленькую букву «д» на заглавную, не испытывая к своему злейшему врагу Вовке Ключке никакой злости. . .

Шурка шла, покачиваясь, как гусыня, и рассказывала

Сашке о своих занятиях в яхт-клубе при Доме моряков, хвасталась крепкими мускулами на руках, говорила, что непременно с девчонками завоюет первое место в этом году, хотя в клубе всего две яхты — вторую водит Вовка Клюква, что Мишка, его старший брат, убит на фронте в сорок пятом, а что здесь делалось в сорок первом — страшнее не придумаешь! В общем, Шурка тараторила, а Сашка млеет от восторга... Она ему нравилась.

У залива, увидев Шурку с незнакомым мальчишкой и узнав в нем Сашку, Вовка стал кривляться перед ребятами, паясничать, морща свой красный широкий нос:

— Вы не знаете Бабью Ляпу, да? Вот он! — и для пущей важности закурил папиросу, выпуская медленно изо рта кольца сизого дыма.

— Фрайер! — ответил презрительно Сашка и, сделав стойку перед самым носом Клюквы, отряхнул брюки и добавил: — Так-то!



— Кто фрайер? — оторопело переспросил Ключва, отскочивший к ребятам.

— Это значит — задавала! — поняла по-своему Шурка и, схватив Сашку за руку, смеясь, потащила к яхтам.

Сашка слышал, как над Вовкой потешалась его же команда.

Шуркина команда состояла сплошь из девчонок, и они с радостью приняли в свой состав человека в морских брюках и мичманке.

Сашка правил парусом, Шурка сидела у руля и покрикивала: «Больше крен давай, больше крен давай!» Девчонки ошалело галдели — их яхта обгоняла мальчишескую.

О, как Вовка Ключва ревновал Шурку к Сашке! Он же не ревновал ее ни к кому. Любовь к Шурке — крепче морского узла — придет позже, к последнему рейсу. . .

Вечером Шурка провожала Сашку в Ленинград.

Она не грустила у причала и не махала белым платком, она помогла Сашке убрать сходню, отдать швартовые и, крикнув на прощанье: «Попутного ветра, Сашка!», убежала с пристани.

В конце августа Сашка лежал на арбузах. Не совсем на арбузах. Он на них бросил маленький трап. Дядя Вася кинул своему питомцу с буксира на баржу булку. Сашка уплетал ее вместе с куском сочного арбуза, читая роман «Два капитана». Колька Краснопер по-прежнему обновлял Сашкину «библиотеку».

Ах, эта булка!

Вчера в Ленинграде дядя Вася послал Сашку в булочную.

Отломив от батона поджаристую горбушку и впившись в нее зубами, Сашка выскочил на улицу. И столкнулся лицом к лицу с Силантьевым. Сашка быстро нагнул над ботинком, делая вид, будто завязывает шнурок.

— Смирнов! — потряс директор его за плечо.

— Александр Миронович! — Сашка изобразил беспредельную радость. — Я хотел зайти. . .

— Где живешь? — сурово спросил Силантьев, перекатывая желваки на скулах.

— Я. . . я. . . у дяди Васи.

— У какого еще дяди Васи? А ну, пошли!

— Он. . . он механик! — упирался Сашка. — А в ремеслуху не хочу, вот!

Дядя Вася Силантьеву понравился. Они выставили Сашку из кубрика «погулять», сели друг против друга и, поглядывая в иллюминатор на тихие воды Невы, разговорились.

— Мда-а, — сказал Силантьев, постукивая пальцами по столу.

— Мда-а, — повторил дядя Вася.

— В музыкальное заведение надо устраивать.

— Не пойдет.

— Почему?

— Знаете, где находится Сингапур?

— Нет. То есть...

— А он знает. И Лос-Анжелос, и Мадагаскар... То-то!

— Он ведь поет, у него голос.

— Петь все умеют. Хотите, я затыну?

— Шутите.

— А чего шутить-то, вот:

Дышала ночь торжественно в лесу,
Пел соловей над головою нашей,
А мы с тобою ели колбасу
И запивали кислой простоквашей, —

пробасил дядя Вася.

Силантьев засмеялся, механик поскреб затылок, явно вспоминая, что же еще пел ему Сашка, потом спохватился:

— Танго слышали?

— Да уж слышал... Ну, хорошо, значит, послезавтра приедете?

— Придем, — поправил дядя Вася.

— Ну, придете, — рассматривая Сашкины карты и книги, задумчиво обронил директор ремесленного училища. — А я постараюсь поговорить кое с кем. В мореходку так в мореходку! — вдруг решительно сказал он.

— Сашок! — крикнул механик, выходя за Силантьевым из кубрика. — Куда-то запропастился...

— Ладно, пусть бегаёт, — снисходительно ответил Силантьев, спускаясь по сходне.

Сашка, спрятавшись на корме за лебедкой, провожал подозрительным взглядом близких ему людей.

В Кронштадте Сашка встретился с Шуркой в Петровском парке. Штиль был на море и на душе у ребят. Они, покачиваясь на чугунных цепях-качелях, впервые после войны ели мороженое, потом ходили к мысу, и Сашка на пирсе показывал

Шурке, как надо бить вальс-чечетку, разные колена под разные частушки, вроде: «Шел трамвай тридцатый номер, на площадке кто-то помер, за нос тянут мертвеца, лан-ца, дрип-ца, ол-ца-ца!», и при этом помахивал рукой над ботинками.

— Яблочко, — говорил серьезно Сашка, — отживает... моряк должен петь и плясать и в карты играть...

Шурка рыдала от смеха.

— Ты пойми, за границей, куда ни глянь, — казино! — продолжал Сашка. — И вдруг тебе надо идти в казино, а там одни шулера и шпионы... и ты все замечаешь, чтобы на их удочку не клюнуть! А если бы мы везли... — От большой любви к Шурке он нес вздор, но не мог остановиться — Сашка плыл под парусами своей фантазии...

С Сашкой Шурка неделю не целовалась, и к вечеру она уже льнула к Сашке и тянула его к своему дому во двор на скамейку под чахлые кусты сирени. Ей хотелось целоваться.

И Шуркино желание исполнилось бы, не появившись из-за кустов Вовка Клюква и двое его дружков.

— Ну что? — процедил Вовка, сняв со своих брюк флотский ремень. — Долго будем травить баланду?

— Вы что, с ума сошли! — вскочила Шурка, вздернув по-мальчишески рукава.

— Одну минуточку, — поднялся Сашка и, крикнув Шурке «беги», схватил Вовку за пояс брюк и так рванул на себя, подставив ему подножку, что пуговицы отлетели в стороны, брюки сползли к земле. Сашка на деле испытал морской прием дяди Васи. Пока Клюква возился с брюками, Сашка подмял под себя одного из его дружков, Шурка вцепилась во второго.

— Ма-а-мка-а, ма-а-мка! — кричала Шурка просто так, для порядка, и что есть силы выколачивала на спине Вовкиного дружка барабанную дробь.

— Шурка, где ты? — выскочила из парадной мать. — Ах вы негодные! — увидев потасовку, кинулась она к ребятам.

За ней выбежала мать Клюквы.

Вовка, придерживая штаны, улелепывал с дружками на улицу.

— Послушайте, ваш сын проходу не дает моей дочке! — возмутилась Шуркина мать, подходя к Вовкиной.

— Нужна ему твоя косолапая! — отрезала та, грузным телом опираясь на кочергу.

— Так чего пристаает? — сказала Шуркина мать и велела дочке идти домой.

— Мам, а он можно к нам пойдет? — взглянула Шурка на потупившегося Сашку.

— Еще не легче, а это кто такой?

— Да Сашка, он до войны над нами жил. Помнишь Смирновых?

— Как не помнить, все в окно орал: «Лейся песня на просторе...» Вырос, вырос! — потрепала Шуркина мать Сашку по плечу. — Ну, иди.

— Он, мам, на буксире плавает, в мореходку поступает, в Сингапур поедет, отдадим ему папкин бинокль, он, он...

— Когда уходите? — перебила мать.

— В восемь ноль-ноль.

— Тогда давайте пить чай — и в кровать! Постели ему в отцовской комнате. Давно к нам мужчины не заходили, — пошутила Шуркина мать уже в коридоре.

А в это время дядя Вася пыхтел трубкой и ходил взад-вперед по пирсу. «Стремительный» мерно покачивался на приколе.

Дядя Вася плюнул в сердцах и пошел искать Сашку.

Вместо Сашки он встретил довоенного друга, с которым когда-то работал на пассажирском пароходе «Чапаев». Они зашли в ресторан. Механик спускал деньги и стеклянными глазами смотрел в свое «завтра». Оно предвещало ему низкий уровень жизни и высокий слог капитанской пословицы: «Жри, но не до зари!»

Утром Сашка с Шуркой взбежали на пирс.

Раздевшись догола, дядя Вася, отфыркиваясь, плавал за кормой. Увидев ребят, да еще с какой-то женщиной, механик нырнул в воду.

— Дядя Вася! Дядя Вася! — искал его по буксиру Сашка.

— Тише! Чего тебе? — прошептал механик, выглядывая из-за борта буксира.

— У меня бинокль есть, — приглушенно похвастался Сашка. — Шуркина мамка пришла, поговорить хочет.

— Иди, сейчас оденусь.

Механик, поспешно натянув брюки и тельняшку, решительной, трезвой походкой миновал сходню.

— Здравствуйте! Ольга Алексеевна, — подала ему руку Шуркина мать.

— Василий Петрович.

— Моя дочь.

— Знаю.

— Она в мореходку хочет поступать, а у нас только военная на Флотской... как вы думаете?

— Добре, чего думать-то! У нас блат, правда, Сашка? С Александром Мироновичем потолкуем...

— А возьмут?

— Надо прийти заякориться... — продолжал дядя Вася.

— Бери, бери! — увидев на пирсе женщину, да еще приятную лицом, крикнул с мостика капитан.

Сашка с Шуркой под возгласы «Ур-р-а-а!» бросились на буксир. Дядя Вася осторожно по сходне провел Ольгу Алексеевну и познакомил с капитаном.

— Понимаете, — говорила, как бы оправдываясь за столь нелепое посещение, Шуркина мать, — я-то знаю, что не возьмут, но они дружат с детства, она в яхт-клубе занимается. В общем, «моряк — с печки бряк!» — смущенно улыбнулась Ольга Алексеевна.

«Стремительный» пыхтел, но упорно набирал скорость на Ленинград.

Сашка, Шурка и ее мать, передавая по очереди друг другу бинокль, смотрели вперед на город.

Дядя Вася как-то боком встал рядом с Сашкой и спросил его шепотом:

— А где у Шурки отец?

— Погиб в сорок первом, когда наши уходили из-под Таллина...

— Та-а-ак, значит, это ее мать?

— Ее.

— Пригожая.

— Что?

— Тише ты! Я говорю, мать — это хорошо.

За «Стремительным» тянулась порожняком цепь барж. Солнечные лучи лоснились на ярко-зеленых волнах залива. Безмолвные грудастые чайки то взмывали вверх, то плавно опускались над караваном. В сизой дымке расплывчатым полукругом виднелся Ленинград.

А Сашка, как всегда, мечтал: как поступит в мореходное училище, выучится на капитана и поедет в Индию посмотреть на багдадского вора. Почему-то он не представлял без него эту страну. Себя же воображал за штурвалом в капитанской фуражке на белопарусной шхуне, подплывающей к Сингапуру по синим волнам океана под ослепительным солнцем. А рядом с ним будет стоять Шурка, как в песне: «На ней красивый

шелк, на нем костюм матроса, он замер перед ней с протянутой рукой. . .» И еще хотелось Сашке, чтобы Ольга Алексеевна дружила с Силантьевым и они тоже стояли бы на мостике (он возьмет их с собой), а дядя Вася был бы на шхуне механиком. А какие он в Сингапуре купит всем подарки? Он стал мучительно думать и придумал: Кольке Красноперу он купит маленькую живую обезьянку. «Да, дяде Васе можно подарить большую бутылку рома, — спохватился Сашка, — а что остальным? . . .»

У штурвала молодцеватый капитан то и дело одергивал новенький китель и, притрагиваясь к тонким усикам, пронзительно смотрел на Шуркину мать, а она, улыбаясь, о чем-то говорила с дядей Васей, обняв за плечи Шурку и Сашку.

В рубке по приказу капитана кто-то накручивал патефон и ставил одну и ту же обшарпанную пластинку: «Чайка смело пролетела над седой волной. . .»

Инна Макашова

НАША АРИФМЕТИКА

Пасмурным зимним днем
думала я о нем.
Он обо мне не думал...
Минус и плюс — в сумме
круглый безмолвный ноль.
А в результате — боль.

* * *

Надену клетчатую куртку,
которой много-много лет.
В ней было весело и жутко,
в ней был студенческий билет.

В ней было холодно и жарко,
в ней доброй я была и злой.
Платки, записки, мелочь, марки
в карманах прятались порой.

Вселяя веру и надежду,
она спасала от задир...
Моя рабочая одежда!..
И мой парадный вицмундир!

Галина Губанова

* * *

Октябрь.
Недавно сжатые поля
Уже похолодели и притихли,
И в ожиданье долгих зимних вихрей
Темнеет молча влажная земля.

А клен —
Замерзший худенький птенец, —
Впервые желтизну свою заметив,
Еще не ведает,
Что это — не конец,
И горестно роняет листья в ветер...

* * *

Иного не было и нет —
Лишь ели, звезды и овраги,
Да строчка на листе бумаги,
Как на снегу неровный след.

Елена Дунаевская

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ

Был лед как птичий клин,
И лед тянулся в дали.
Пейзаж был как душа —
Неясен и знаком.
Серебряный резец
На матовом металле
Стволы гравировал,
И думал о другом
Сугуловатый дым
И дымная погода.
В безмолвие вели
Пологие пути.
Был деревом гранит,
Тянули птицы воду.
И было хорошо.
И некуда идти.

Александр Воронцов

КРИК ЧИБИСА

ПОВЕСТЬ

1

Лес был такой нарядный и величественный, что хотелось всему миру поведать о радости общения с ним.

Но разведчику надо идти бесшумно, стараясь ничем не выдать своего присутствия, не поломать ветку, не зашуршать травой. Идти осторожно, сохраняя каждый кустик. Не оставляя следов. Будто тебя здесь и не было.

Федор усмехнулся. Странно — пройти бесследно. Словно ты не человек, а бабкин святой дух. Даже вон пичужка несмышленная, прыгающая по сучкам, и то радуется своему нехитрому житью.

— Эй, друже, не лови ворон, споткнешься. — Федор почувствовал легкий толчок в спину.

Он обернулся. Увидел бугристое, ехидно ослабившееся лицо Ивана. Ответил без обиды:

— Не шуми. Это я так. Вспомнилось.

Поправил на плече ремень автомата, надвинул на лоб пилотку.

— Поди опять о Зине своей взгрустнул? — Глаза Ивана прищурились.

— И о ней тоже, — нехотя подтвердил Федор.

Ему было неприятно. Неожиданное вторжение в душевные тайны всегда неприятно. Мог бы и помолчать Иван беспокойный. Но Иван не унимался.

— Зря только себя растравляешь, — уже примирительно добавил он. — Не ко времени. Вот доберемся до дому, там мечтаем.

Федор понял правильно: дом — это всего-навсего землянка. Их родная, обжитая, прокуренная фронтовая землянка.

— Отставить разговоры! — послышался хриплый голос лейтенанта Бугрова.

Бойцы могли услышать этот голос даже во сне. А сердитое выражение окаймленного светлой бородкой лица лейтенанта понимали без слов. Иван и Федор смолкли. Прибавили шагу. С усиленным вниманием стали всматриваться в окружающую их лесную чащу.

Разведчиков было пятеро. Шли четвертый день. Позади осталась добрая сотня километров. По болотам и оврагам. Между кустами и деревьями. Мимо деревень, до отказа набитых вражескими солдатами. Мимо вымерших хуторов. Около фашистских батарей и аэродромов. Вдоль дорог, по которым катились танки со зловещими крестами на броне.

Шли и все замечали. Схватывали цепкой памятью. Наносили условными знаками на карту. А по ночам, затаившись в глухом месте, посылали в эфир зашифрованные сигналы. Затем исчезали, как тени. И знали: их работа не пропадет даром.

Вчера к концу дня достигли крайней точки намеченного маршрута. Заночевали в лесу.

Утром командир взвода сказал:

— Ложимся на обратный курс.

Что ни говори — морпехота. Морская терминология бытовала у них даже на суше.

Разведчики склонились над картой и еще раз мысленно представили, где пройдет их путь. Лес. Ложбина, поросшая кустарником. Брод через тихую речушку. Большой луг. Опять лес. Склон уступа. А там — линия фронта, свои.

— Махнем через речку — считай, уже дома, — сказал Хромов и подмигнул Федору.

Иван был врожденным оптимистом. Все у него получалось легко и быстро. И, между прочим, не только на словах. Перейдет передний край в любом месте. Ужом проползет. Вода на пути — можно вброд, а можно и вплавь. «Языка» взять — пожалуйста. И за два с лишним года войны всего одна царапина. Осколком мины по бедру чиркнуло. Зажило через месяц.

Но не всем так везло.

— У тебя всегда раз-два — и готово, — усмехнулся старшина второй статьи Восков, — скорый больно. После речки, считай, еще километр на брюхе ползти. А вдоль опушки дорога проходит.

Восков был командиром отделения, ближайшим помощником Бугрова. Имел два ранения. Говорил отрывисто и властно. В споре хмурился, глядел исподлобья. Действия предпочитал обдуманные и осторожные.

— Будто мы никогда не ползали, — не то обиделся, не то удивился Хромов. — Все пузо в мозолях.



Старшина промолчал. Только брови еще плотнее сомкнул над переносицей.

— На дороге патрули могут быть, — сказал Федор.

Иван покосился на него. Резанул взглядом: «Патрулей боишься?»

Лейтенант поднялся. Поправил маскхалат. Осмотрел бойцов. Подал знак стоявшему в дозоре Батурову: «Присоединяйся». Потом повернулся к Хромову:

— Дело говорят ребята. Проскочить через дорогу нелегко. И вообще: держи ушки на макушке. Ликовать дома будем. А пока не сидеть на крыльчке, быстро к речке.

У Бугрова по каждому поводу поговорка. А то и две. «Доходит быстрее любой телеграммы», — пояснял он. Среди бойцов ходили разговоры, что раньше комвзвода преподавал литературу в одной из ленинградских школ и чуть не стал писателем. А явившись по мобилизации в первый день войны, попросился в разведку, хотя никогда никакого отношения к этому делу не имел.

Как всегда, дорога домой оказалась значительно короче — шли почти по прямой. За сутки преодолели добрую половину обратного пути. И вот теперь, на исходе дня, вышли к реке.

По сигналу лейтенанта бойцы остановились.

— Осмотримся, — прошептал Бугров.

Замаскировались у склона в тени прибрежных кустов.

Место было знакомое. Разведчикам приходилось бывать тут и раньше.

— Разрешите проверить брод, — обратился к лейтенанту Власов.

Бугров понимающе кивнул. Ясно, надо проверить, нет ли поблизости врага. Брод — место открытое. Заметят — не возрадуешься.

— Действуй, — лейтенант тронул Власова за плечо. — Только осторожно.

Федор бесшумно спустился к реке. Дело привычное. Таясь на каждом шагу, нужно пройти вдоль берега и убедиться, что здесь нет вражеской засады. Вообще нет ни одной живой души.

Вернулся он быстро. Тяжело дышал, но лицо было спокойное. И голос, когда докладывал, звучал твердо:

— Все в порядке. Путь свободен. Вокруг тихо.

Странное чувство испытывает разведчик, когда «вокруг тихо». С одной стороны, опасаться вроде нечего. С другой — кто же не знает! — тишина на войне обманчива. Особенно в тылу врага, где опасность может появиться в любую минуту. Наверное, поэтому ни вздохов облегчения, ни ослабления тревожной напряженности слова Власова не вызвали. Даже несмотря на то, что он при докладе непроизвольно улыбнулся. Будто радовался тому, о чем говорил.

Все ждали, что скажет командир взвода.

Бугров немного подумал, потеревил бородку. Исподлобья еще раз посмотрел в сторону дальнего леска, что темнел за лугом на той стороне реки. Перевел взгляд на бойцов.

— До наступления темноты надо успеть туда, — голос его звучал, как всегда, тихо, но властно. — Пошли. Власов впереди.

Восков и Батуров со мной. Хромов замыкающим. Смотреть в оба.

Приминая сапогами жухлую траву, пробираясь между кустами и деревьями, разведчики устремились вниз по склону.

Речка была неширокая и извилистая, с крутыми, но невысокими берегами. Текла она медленно, спокойно, словно подчеркивая свою непричастность ко всему происходящему вокруг.

Федор первым подошел к берегу. Из-под ног выпрыгнула лягушка. Она плюхнулась в воду и исчезла в глубине, оставив на поверхности разбегающиеся кружки волн.

Федор вздрогнул, затаился за кустом, опасливо осмотрелся.

— Ишь, чертяка, — буркнул он себе под нос, — нашла время забавляться.

Тревога оказалась напрасной, и Федор двинулся дальше. Быстро пробежал под обрывом до того места, где был брод.

Здесь течение убыстрялось. Поток журчал, переливаясь через гряды мелководья.

Федор шагнул в воду. Почувствовал под сапогом песок. Легкий холодок обдал икры ног. Выбравшись на другой берег и преодолев густые заросли ивняка, оказался у большого луга, покрытого высокой травой. Остановился. Точно, дальше началась неглубокая ложбина, по которой можно было ползком и перебежками добраться до темнеющего метрах в шестистах леса.

Теперь следовало подождать остальных. Снова осмотревшись, Федор, подражая крику чибиса, подал условный сигнал.

— Как обстановка? — Бугров появился рядом с Власовым незаметно и бесшумно, как из-под земли вырос. — Порядок?

— Впереди спокойно. Только трава сырая, ползти будет неудобно.

— Ничего, нам не привыкать. — Лейтенант обернулся: — Все подтянулись?

— Все, — подтвердил Восков.

— Тогда вперед!

— Есть вперед!

Власов нырнул в траву первым. Он привык находиться впереди. Сколько раз он первым бросался на врага. Врывался на фашистские позиции. Форсировал минные поля. Пролезал под колючую проволоку. И не было в этом для него ничего особенного. Сейчас надо было преодолеть нескошенный луг.

Ползти было тяжело. Густая высокая осока, прогретая

летним солнцем и политая осенними дождями, сопрела и местами полегла. Она цеплялась за сапоги, за автомат. Колючие стебли хлестали лицо. То и дело попадались крупные кочки, которые приходилось огибать, извиваясь и лавируя между ними.

Но Федор полз и полз. Временами останавливался, чуть-чуть приподнимался и, стараясь не очень высовываться из травы, осматривался. Потом кричал чибисом и ждал, пока появится из зарослей напряженное лицо Бугрова. И снова полз.

Лес приближался. Темная стена его, отчетливо выделявшаяся на фоне предвечернего неба, становилась все выше. Скорее бы! В лесу разведчик чувствует себя более уверенно. Там все приспособлено для защиты. А здесь, на лугу, словно на тарелке. Ни сесть, ни встать. Ни передохнуть по-человечески.

Выстрел раздался слева. Неожиданный и резкий, как треск разбитого стекла.

Федор припал к земле.

«Что это? Случайный выстрел трусливого часового или...» В худшее верить не хотелось. Но откуда здесь часовая? Может, появилась новая артиллерийская позиция?

Надо проверить. Все-таки ты впереди, Федор. За тобой идут боевые друзья. Они на тебя надеются. Ты их никогда не подводил. Не подведешь и теперь. Только подниматься надо осторожно. Так, чтобы не заметили. И выяснить, кто и почему стрелял.

Никого не видно. Значит, враг прячется. А может, действительно случайность?

Нет, снова стрельба. На этот раз очередью. Где-то позади просвистели пули. Фашисты! Звук немецкого автомата Федор узнавал безошибочно. Значит, обнаружили. Почему — разбираться поздно. Может быть, кто-нибудь из разведчиков неосторожно повернулся. Может, спугнули птицу. Не было ли сороки поблизости? Кажется, нет. Не выдала ли их колыхающаяся трава? А может, обнаружили их раньше, еще вчера? И лишь сейчас, на открытом месте, решили... Словом, разбираться поздно. Требуются действия. Быстрые и решительные.

Крик чибиса над лугом на этот раз прозвенел особенно тревожно.

Сзади подполз Бугров. Деловито придвинулся, лег рядом. Плечом к плечу. Зачем-то спросил:

— В чем дело?

Голос его несколько не изменился. Вопрос прозвучал тихо, спокойно. Даже обыденно. Так он говорил и на занятиях.

— Стреляют слева, — доложил Федор, стараясь по примеру комвзвода не выдавать волнения.

Но лейтенанту это удавалось лучше.

— Кто стрелял?

— Пока неясно. Посмотрю еще раз.

— Давай. Всем высовываться нельзя.

Федор отполз в сторону. Осторожно поднялся. В сумерках виделось плохо. И все же в конце луга, там, где начиналась дорога, он заметил серую фигурку. Кто-то пробежал несколько метров и скрылся.

— Видел немца. Сделал перебежку и спрятался. Похоже, засекли нас, — доложил Федор.

Три короткие фразы он выпалил быстро, безостановочно. И, переведя дыхание, уставился на Бугрова. Что на этот раз скажет командир?

С нетерпением ожидали командирского слова и остальные бойцы.

Бугров и сам успел увидеть немца.

— В одиночку немец в драку не ползет, — сказал комвзвода.

— Стреляют как-то непонятно, — усомнился Федор.

И как бы в подтверждение этих слов издали опять послышалось несколько одиночных выстрелов. Пули просвистели в стороне.

— Пошли за молоком, — протяжно начал было Иван Хромов, но, встретив холодные взгляды друзей, осекся. Уяснил — не до шуток сейчас.

— Очень понятно стреляют, — ответил Бугров. — Выманить нас хотят. Навязать открытый бой. А мы рисковать не имеем права. На этом чертовом лугу нас перестреляют, как куропаток. — Он перешел на командный тон: — Огня не открывать. Ползти к лесу. Направление на отдельно стоящую сосну справа.

Разведчики поползли цепочкой. В центре — командир взвода, по сторонам — остальные. На какое-то время над лугом установилась прежняя тишина. Однако на этот раз она казалась слишком натянутой, готовой вот-вот взорваться и обрушиться на людей чем-то неожиданным и жестоким.

Когда до леса оставалось метров двести, послышался рокот мотора. Бугров жестом остановил цепь и отполз в сторону, где трава была выше и гуще. Осторожно приподнялся. То, что он увидел, заставило его быстро вернуться к бойцам.

— Грузовик с гитлеровцами движется по дороге вдоль опушки. Кажется, хотят нас отрезать. — Он сделал паузу, потом решительно закончил: — Постараемся опередить. В крайнем случае будем прорываться с боем.

Перед каждым бойцом лейтенант поставил задачу. Теперь ползти было некогда. Оставшееся расстояние следовало преодолевать стремительными бросками: на глазах у фашистов скрываться далее бесполезно.

— Готовы? — Он окинул бойцов испытующим взглядом. Понял: они ждут команды. — Вперед!

Очень любил он это слово — «вперед!». Боевое, летучее слово. Короткое и емкое, как лозунг. И команда, и призыв. Произносил его, Бугров как-то по-особенному: отрывисто, резко. И, несмотря на тихий голос лейтенанта, команда производила впечатление воинственного клича.

Пять фигур поднялись из травы и устремились к лесу. Теперь они уже не таились, не скрывались. Принимали открытый неравный бой.

Фашисты замешкались. Уж очень необычными показались им действия советских разведчиков. Грузовик замедлил ход. Прямо из кузова немцы открыли беспорядочную стрельбу. Пули засвистели совсем близко.

— Ложись! — приказал Бугров.

Разведчики залегли. Несколько секунд было выиграно. Лес приблизился на добрых тридцать метров.

— Пугнуть бы их, — сказал Восков.

Бугров прикинул: до леса еще порядочно. Только спортсмены преодолевают стометровку за двенадцать секунд. По гладкой дорожке. Бойцу в полной боевой выкладке, да еще в маскхалате, в такое время не уложиться. Нужно по меньшей мере полминуты. Тридцать секунд. Перекосят фашисты ребят.

— Пугнем, — согласился Бугров. — Огонь!

У разведчиков был опыт. Они всегда занимали позиции, удобные для ведения огня, а оружие держали наготове. Через секунду пять автоматов стали посылать навстречу вражескому грузовику горячие смертоносные порции свинца. Над лугом поднялись синеватые дымки, запахло пороховой гарью.

Расчет лейтенанта оказался верным. Машина остановилась. Солдаты из нее как горох посыпались на землю. Послыша-

лись отрывистые команды. Не ожидали, видимо, фашисты такого отпора. Стрельба с их стороны ослабла.

— Удирают! — восторженно крикнул Хромов, которого уже полностью захватила горячка боя. — Добавим им перцу!

На его слова никто не обратил внимания. Хорошо, конечно, что гитлеровцев согнали с машины, но этого мало. Только Федор на мгновение повернул к нему возбужденное лицо. Кивнул другу: мол, знай наших.

— Прекратить огонь! — снова скомандовал лейтенант. — Вперед!

Как и в первый раз, пока вокруг не засвистели пули, разведчики успели пробежать метров тридцать. И опять залегли. И открыли ответную стрельбу.

Фашисты, убедившись, что противник не собирается их атаковать, а лишь старается скрыться, стали действовать напористее. Развернувшись цепью и поливая луг огнем из автоматов, пошли прямо на разведчиков.

Власов подполз к командиру взвода.

— Товарищ лейтенант, разрешите, я их задержу. А вы уходите.

Бугров испытующе посмотрел на бойца. Он не сомневался, что Власов выполнит любое приказание. Скажи ему: «Надо сейчас во весь рост пойти на фашистов», — Власов пойдет. И теплое отцовское чувство поднялось в нем к этому вихрастому, белобрысому парню.

— Одному трудно будет, — сказал лейтенант.

Власов будто не услышал этих слов. О чем речь! Трудно? Ясно, нелегко. Но разве в этом суть?

— Я вас догоню, — он уверенно выдержал взгляд лейтенанта.

Фашисты приближались. Огонь их автоматов усиливался. Пули все чаще цокали по соседним кочкам, сбивали стебли осоки.

— Добро, действуй, — сказал он Власову, не прекращая стрельбы. — С тобой останется Батуров.

Салават Батуров был невысокого роста крепыш с круглым лицом. Во всей его фигуре было что-то тугое, пружинящее, производившее впечатление взведенного курка. Неразговорчивый и немного угрюмый на вид, он всегда был готов к немедленным действиям. А действовал с каким-то остервенением, быстро и решительно. Во взводе Батуров был недавно, пришел после гибели краснофлотца Романчука.

Все было яснее ясного. Группа располагала ценными сведениями. Кто-то должен был доставить эти сведения командованию, а кто-то обеспечить отход.

Власов и Батуров не заставили себя ждать. Они сделали короткую перебежку вправо. Заняли удобную позицию. И ударили по фашистской цепи во всю мощь своих автоматов.

Гитлеровцы залегли.

Бугров, Восков и Хромов воспользовались этим: быстро преодолели расстояние, отделявшее их от леса, и спрятались за деревьями. Там огонь врага был уже не так опасен. Разведчики вышли во фланг фашистам и взяли их под обстрел.

Федор понял, что теперь можно отходить. Он крикнул Батурову:

— Салават, пошли. Пора и нам!

Батуров и сам догадался.

— Давай, давай! — только и услышал от него Федор.

Он увидел, как Батуров неожиданно подпрыгнул, бросил в гитлеровцев гранату и крупными скачками побежал к лесу.

Немного выждав, Власов устремился следом.

Лес приближался. Федор все отчетливее видел кусты на опушке, толстые стволы деревьев, заветную сосну, которая как бы манила его под сень своих ветвей.

Федор не добежал каких-нибудь пятидесяти шагов. Мощный толчок заставил его остановиться. Неведомая сила подбросила его над землей, и какое-то мгновение он парил в воздухе. Затем неуклюже взмахнул руками и упал на траву.

«Не успел, — мелькнула у Федора досадливая мысль. — Отстал. Выбрались бы ребята».

Словом «ребята» он объединял всех, с кем жил на войне, дружил, делил хлеб и табак, опасности и тяготы походной службы. В том числе и лейтенанта Бугрова, и командира отделения Воскова, и веселого друга Ивана Хромова, и угрюмого, неразговорчивого Салавата Батурова. Он так привык быть вместе с ними...

Через несколько часов разведчики вышли к переднему краю и перешли линию фронта. Но не было у них той радости, с которой обычно бойцы возвращаются из разведки домой. К землянкам подходили понурые и будто чем-то недовольные. Не было с ними испытанного боевого друга краснофлотца Власова.

А Федор в это время лежал на лугу и широко открытыми глазами смотрел в безоблачное небо. Он видел над собой вы-

сокие стебли травы, рельефно выделяющиеся на фоне звездного свечения. Видел безбрежный, темно-синий простор вселенной. И постепенно осознал, что остался один под этим небом, на этом лугу. Попытался повернуться — не смог. Прислушался — ни звука. Ни стрельбы, ни голосов, ни шелеста травы. Может быть, посигналить? Прокричать чибисом? Или просто истощным человеческим голосом? Но он смог выдавить из себя только слабый стон.

«Ушли, ушли, — застучало в голове. — Теперь все в порядке. Скоро будут дома. . . И все в порядке».

Даже сейчас Федор беспокоился не о себе, а о товарищах. И когда окончательно понял, что произошло, почувствовал какое-то необычное, странное успокоение. Звезды потускнели. На глаза надвинулся туман. . .

2

Федор пришел в сознание от холода. Над ним висела глубокая осенняя ночь. Вокруг стояла тишина. «Будто и не на войне», — подумал он. А может, и впрямь все уже изменилось за ту вечность, которую он отсутствовал? Может быть, он уже у своих? Лежит у лазаретной землянки в ожидании врача? Ведь сколько случаев на фронте бывало, что человек терял сознание на поле боя, а приходил в себя много часов и дней спустя где-нибудь в незнакомом шалаше или на лежаке в подвале разрушенного дома..

Но на этот раз, кажется, все не так. Тишина была чужая. И только небо над головой было свое, родное. Туманная лента Млечного Пути, угловатый ковш Большой Медведицы, тусклый свет Полярной звезды напоминали о школьных годах, о парусах яхт над Финским заливом, о первых юношеских мечтаниях. Помнится, под таким небом провел он с Зиной последний вечер перед уходом на фронт.

Захотелось встать и побежать навстречу этим звездам, туда, где небо сливается с землей. Побежать, разрезая грудь упругий ветер, вдыхая до головокружения живительный поток воздуха. И, уже позабыв обо всем, что с ним произошло, он попытался подняться, преодолеть проклятое земное притяжение. Попытался и не смог. Резкая боль во всем теле схватила железными клещами, и он, едва оторвавшись от земли, снова приник к ней.

«Нет, самому не выбраться, — решил Федор. — Надо ждать. Может быть...»

Гадать, что «может быть», не имело смысла. Вариантов тысячи, всех не предугадаешь. Но ждать действительно надо.

Обреченному на бездействие лучше всего вспоминать. Воспоминания будят новые видения. Это как повторение жизни в грезах. А какой человек откажется повторить жизнь?

Как это было там, в далеком первом рейде? Почти два года назад. Брезжил рассвет, почти так же, как сейчас. Разведчики вышли к небольшому селу, притулившемуся у лесной опушки. В предутренней туманной мгле избы казались игрушечными.

Не выходя из леса, остановились.

— Здесь привал, — бросив вокруг изучающий взгляд, сказал Бугров. Тогда он был еще младшим лейтенантом.

— Передохнуть не вред, — сказал Кузьма Романчук.

— Неплохо бы и позавтракать, — заметил Хромов.

Он в любой обстановке как дома.

— Может, тебе кофе со сливками подать? — уставился на него старшина Восков.

Шутки шутками, а есть действительно хотелось. Отмахали столько километров.

— На кой хрен мне кофе, — не замечая иронии, ответил Иван. — Кружка горячего кипятку, это я понимаю. По-охотничьи.

— И кипятку не будет, — успокоил всех Бугров. — Можно по глотку спирта. Сухари, сало запивать водой. Консервы пока не трогать. И главное, никаких следов.

— Чтобы не получилось, как у Юлия Цезаря: пришел, увидел, наследил, — блеснул эрудицией Романчук.

Бугров понимающе улыбнулся ему и добавил:

— Каждый след нам во вред.

— А про птичек забыли? — сказал Иван. — Они сейчас дюже голодные. Все склюют.

— На птичек надейся, а сам не плошай.

Верен себе командир взвода.

— Птички твой прах склюют, если будешь балабонить, — покосился на Ивана Восков.

Получилось что-то вроде легкой разминки. Говорили тихо, но горячо, понимая настроение друг друга и давая разрядку напряженным нервам. Но кончилась минутная потеха, и люди вернулись к суровой действительности.

— Хромов, в дозор. Выдвигайся на опушку и наблюдай за селом, — отдавал распоряжения Бугров. — Бородин, возьми под наблюдение просеку. Остальным завтракать и прочее.

Власов не участвовал в общем разговоре. Он только слушал.

Впервые тогда он попытался разобраться в своих ощущениях. Война — несчастье. Это — истина, не требующая доказательств. Но, как ни странно, он, Федор Власов, добившись отправки на фронт, почувствовал себя счастливым. Он был полон тем необъяснимым подъемом, который испытывает альпинист, с риском для жизни забирающийся на отвесную скалу, или водолаз, спускающийся на неизведанную глубину и не знающий, увидит ли еще раз небо над головой. Значит, и в его жизни наступил период, когда он должен показать, на что способен. И доказать, что не зря он дышал воздухом родной земли.

Из кустов на опушке, что метрах в пятидесяти от места привала, раздался тревожный крик чибиса. Три раза. Разведчики прислушались.

Крик чибиса был у них кодом, условным сигналом для того, чтобы привлечь внимание товарищей. Выбран он был не случайно. Чибис — птица в Ленинградской области довольно распространённая. Живет в лесистых и заболоченных местах. Кричит, будто зывает о помощи. Лучшего сигнала не придумаешь.

— Хромов, — сказал Восков. — Сигнал подает.

Всем ясно, дозорный зря тревожить не будет. Что-то заметил. Но что? Пока разведчики завтракали да отдыхали, утро полностью вступило в свои права. Может быть, в деревне началось какое-нибудь движение?

— Сбегай, узнай, в чем дело, — приказал Воскову командир взвода.

— Есть узнать, в чем дело, — чуть слышно ответил Восков и, пригнувшись, побежал к Хромову.

— К бою, — скомандовал Бугров остальным. — Усилить наблюдение по секторам.

Потянулись секунды ожидания. Иногда Федору казалось, что главное в работе разведчиков — ожидание. Сначала ждешь задания. Потом выхода на задание. Удобного момента для перехода через передний край. И в тылу врага тоже часто приходится выжидать: терпеливо наблюдать за противником, за изменением обстановки, долго выбирать удобный момент для

передвижения. Ждать связи, ждать сигнала. Ждать донесения. Ждать, наконец, результатов своей работы. Как-то они там, добытые сведения? Пригодились или нет? Не требуется ли уточнить что-нибудь?

Восков возвратился возбужденный. Не часто с ним это случилось — хладнокровие и спокойствие командира первого отделения Николая Воскова, в недалеком прошлом студента института иностранных языков, были известны всей роте. Умные, спокойные глаза, поджарая фигура, легкая походка сочетались с ловкостью и силой. В добавление ко всему Николай неплохо владел немецким, мог допросить пленного. Мог и команду подать по-немецки, чтобы в суетоке ближнего боя сбить врага с толку.

Бугров с нетерпением ждал доклада.

— Ну, что там?

Восков встал рядом с Бугровым и повернулся к опушке.

— Справа, — он показал рукой, — от деревни в лес зашел человек, похоже женщина.

— Не разглядел, что ли?

— По одежде не разобрать, а лица не видел. Но походка... женская.

— Ясно дело, баба, — усмехнулся Романчук. — Откуда там сейчас мужику взяться?

Бугров молча повернулся к Романчуку. Взгляд у командира взвода тяжелый, строгий. Ухмылка на лице Кузьмы вытянулась в виноватую улыбку.

— Продолжай, — снова обратился Бугров к Воскову.

— Когда человек зашел в лес, из деревни тем же курсом вышли два немца.

— Точно два?

— Точно.

— Где они сейчас?

— Подходят к лесу.

Младший лейтенант ухватился за бородку, словно там считывал найти необходимое решение. А мысль, конечно, работала сама собой. Шестеро против двух — можно рискнуть. Но кто тот, который вошел в лес первым? С кем будет он?

— Восков, Романчук и Власов пойдут со мной. Хромов и Бородин остаются здесь. Прикроют нас в случае чего, — повернулся он к Николаю. — Сходи, объясни им задачу. И догоняй.

— Есть. Понятно.

Старшина снова скрылся в кустах.

Услышав свою фамилию, Федор подался вперед — вот и решительный момент. Надо приготовиться к действию. Потрогал гранату на поясе, крепче сжал автомат. Он еще не вполне представлял, что происходит вокруг, но был готов ко всему. И вдруг ощутил на себе пристальный, критический взгляд Бурова. Перехватил ироническую усмешку Кузьмы. Понял: неспроста. «Что-то делаю не так», — мелькнуло в сознании. Неужели они не понимают, что ему не терпится добраться до настоящего дела?

— Действовать внезапно и бесшумно, — сказал Буров. — Стрелять только в крайнем случае. — И, обращаясь специально к Власову, добавил: — Гранаты отставить. Деревня рядом, услышат. Штык готовь.

Вот так, новичок, привыкай к обстановке. Учись уму-разуму. Да вида не подавай, что досадуешь на себя. Где он, этот штык? Федор правой ладонью нащупал рукоятку. Почувствовал себя увереннее.

— Не горюй, браток Федя, — Кузьма снисходительно подтолкнул Власова в бок. — И с холодным оружием бывают горячие схватки.

Федор недовольно отодвинулся.

Пошли цепью. Командир взвода в середине, рядом с ним Восков, Романчук слева, ближе к опушке, Власов — справа.

Весенний лес плохо приспособлен для маскировки. Деревья и кусты почти голые, травы нет. Помогали пни и валежник. Да утренняя сумеречность. Выручали маскхалаты, натренированность и острый глаз. Главное — увидеть врага раньше, чем он тебя. Остальное — дело техники.

Первым фашистов заметил Власов. Так уж получилось. Подал знак командиру взвода, притаился у корневища большой сосны, поваленной ветром, и стал наблюдать. То, что он увидел, поразило его. В глубь леса, не соблюдая дороги, петляя между деревьями, бежала женщина. Никаких сомнений — женщина. Пальто у нее расстегнулось. Платок сбился с головы и висел на плечах. Поверх него в такт бегу метались в беспорядке рассыпавшиеся пряди светло-каштановых волос. Следом за женщиной бежали два немецких солдата. Вскоре стали слышны их выкрики.

— Хальт, фрау! Хальт! — кричали они вразнобой.

Женщина бежала, не оборачиваясь и не отвечая. Она тяжело, прерывисто дышала и часто отбрасывала рукой спадавшие на лицо волосы.

Слово «халт» было знакомо Федору. «Ловят партизанку, — была первая мысль. — Но почему не стреляют? И почему только двое? Против партизанки фашисты выставили бы не меньше взвода».

Он посмотрел на Бугрова. Тот подавал сигнал: «Тихо, спокойно». Федор уже знал манеру командира не торопиться ни при каких обстоятельствах. Надо продолжать наблюдение.

Между тем немцы настигли свою жертву. Произошло это метрах в тридцати от того места, где притаился Федор. Он видел, как женщина в изнеможении остановилась и повернулась лицом к фашистам.

— Что вам от меня нужно? — крикнула она. — Уходите!

Женщина была невысокого роста, щупленькая, с бледным осунувшимся лицом. Голос ее звучал по-детски жалобно, и в то же время в нем чувствовалась гневная сила протеста. Она сжала кулаки, будто приготовилась драться, и даже сделала угрожающий шаг навстречу своим преследователям.

Солдаты остановились. То ли от неожиданности отпора, то ли от нерешительности. Постояли несколько секунд с направленными на женщину автоматами. Один — длинный, сухой. Другой — короткий, толстый. Чем-то они напоминали Пата и Паташона. Только не такие безобидные.

Заговорили оба одновременно.

— Фрау гут. Зашем лес? — сказал длинный.

— Нихт лес. Вир, — ткнул пальцем себя в грудь короткий, — гут.

Говорили не воинственно. Скорее — вкрадчиво. Так манят курицу, когда хотят поймать.

— Уходите, — глухо сказала женщина и снова угрожающе шагнула навстречу немцам.

Они, как по команде, сняли автоматы и положили их на землю. И одновременно с двух сторон накиннулись на женщину.

Завязалась борьба. Фашисты повалили женщину на землю и стали срывать с нее одежду. Женщина кричала: «Отстаньте!» Она, как могла, отбивалась. По сырой, еще не согретой весенним солнцем земле катался клубок борющихся тел.

Федор смотрел и не верил глазам. Он ожидал чего угодно, только не этого. Ему захотелось немедленно вскочить и ринуться на помощь женщине. И лишь сила дисциплины удержала его. Он ждал команды, бросая нетерпеливые взгляды на командира взвода и удивляясь, почему тот медлит. А когда уви-

дел сигнал, встал во весь рост и, тяжело ступая, глядя прямо перед собой и видя только ненавистные фигуры врагов, устремился вперед.

Четверо разведчиков подошли к месту схватки одновременно с трех сторон.

— Хальт! Хенде хох! — сказал Бугров.

На мгновение фашисты замерли. Они очумело оглянулись



на незнакомых, появившихся как из-под земли людей. Увидев направленные на них дула автоматов, медленно выпрямились, подняли руки.

— Яволь... — залопотал длинный.

— Хватит, на́воевались, — сказал Романчук. — Складывай шмутки.

Он подошел к длинному, ощупал карманы — нет ли пистолета.

Федор подошел к короткому. Незнакомый, чужой солдат уставился на него выпученными, налитыми кровью глазами. Растерянность и бессильная ярость светились в них. Вдруг фашист зло вскрикнул, толкнул Федора в живот и метнулся к лежавшему на земле автомату.

Федора словно подбросило. Едва удержавшись, чтобы не упасть, он одним прыжком подскочил к гитлеровцу и изо всех сил обрушил на него приклад своего автомата. Попал по толстой, мясистой скуле. Удар получился глухим и сочным. Так бьет деревянный валеk по мокрому белью.

Фашист упал на четвереньки, но автомата не выпустил. Второй удар пришелся ему по черепу.

— Сволочь! — выдавил из себя Федор и выплюнул спекшуюся слюну.

Распластанное на земле тело врага вызывало брезгливость.

— Готов, — деловито сказал Восков, выдернув оружие из рук убитого.

Федор, тяжело дыша, посмотрел на поверженного фашиста, на приклад своего автомата. Подумал: «Хорошо, что не стал стрелять. Кажется, обошлось без лишнего шума».

Длинный трясся нервной дрожью. Быстрая и нелепая смерть приятеля окончательно вывела его из равновесия. Он считал, что и его конец близок.

— Штаны застегни, вояка, — сердито ткнул его Романчук стволом автомата.

Вибрирующие пальцы не слушались. Гитлеровец глупо осклабился, поднял глаза к небу.

— Медхен... — В горле у него что-то перекатывалось. — Девочка... Весна... — Он боязливо посмотрел на женщину, одиноко стоявшую в стороне, и неожиданно добавил: — Гитлер капут.

Ему не хотелось умирать.

— Капут, капут, — согласился Романчук. — Скоро всем вам, фашистам, капут. Чтобы не пакостили.

На всякий случай он связал немцу руки за спиной.

— Власов, этого, — командир взвода показал на убитого, — спрячь получше. Пусть его подольше поищут.

— Есть спрятать.

— Ты, Восков, допроси живого. А я с ней поговорю, — Бугров кивнул на женщину.

Она с недоумением наблюдала за всем происходящим, не совсем понимая, откуда пришло избавление.

Младший лейтенант подошел.

— Охальники. Кобели проклятые, — сказала она, не то ругаясь, не то оправдываясь, и стыдливо прикрыла грудь, проглядывавшую сквозь разорванное платье.

— Кто такая? Откуда? — строго спросил Бугров.

— Из деревни, — она кивнула в сторону опушки.

— Звать как?

— Клава.

«Молодая, — подумал Бугров. — А почему выглядит такой старой?» И понял: старили Клаву одежда не по росту и синие отеки под глазами.

— Зачем пришла в лес?

— Убежать хотела.

В настороженных глазах мелькнул озорной огонек. Испуг постепенно проходил. Клава разговаривала все смелее.

— Из дома в глухой лес? — сказал Бугров. — Храбрая.

— От них, окаянных, хоть на край света беги.

— Понятно, — Бугров помедлил. — Много немцев в деревне?

— Не считала. Три дня назад прибыли. С пушками.

— А жители есть?

— Старики да старухи. Кто успел, эвакуировались. Другие в лес подались. Я с больной бабушкой осталась. Но тоже не выдержала.

— Разве не видела, что они за тобой идут?

— В лесу уж увидела. Когда нагонять да лаять по-своему начали.

— Ясно, — разговор надо было заканчивать. — Придется тебе, Клава, с нами пойти.

Глаза у Клавы радостно блеснули. И опять потускнели.

— С вами? Куда?

Младший лейтенант не мог сказать правду.

— Потом узнаешь.

— К партизанам?

— Может, и к партизанам, — он встал, поправил автомат. — Пошли.

Клава пошла за ним.

— Что у тебя? — спросил Бугров, подходя к Воскову.

Николай поморщился.

— Говорит, в деревне батарея тяжелых орудий. Дальнотбойная артиллерия.

— Новички?

— Да.

— Откуда прибыли?

— Из Франции.

Лейтенант понимающе кивнул. Ценные показания дал трусливый вояка.

— То-то по бабам ударяют, — многозначительно заметил Кузьма.

Бугров чуть заметно улыбнулся, а Восков нахмурился.

Подошел Власов.

Романчук с удивлением уставился на него. Что-то новое, пока еще едва заметное, появилось у Федора в манере держаться. Молодой боец будто повзрослел. Стал крепче, увереннее. Доложил спокойно:

— Все в порядке, товарищ командир.

Даже голос у него стал тверже.

И Бугров заметил, что меняется человек на глазах. «Первая победа. Обретает уверенность. Хорошо», — подумал про себя, а вслух спросил:

— Надежно?

— Как следует. Вот документы.

Бугров положил руку Федору на плечо. Словно приласкал.

— Добре. Теперь беги к Ивану. Пусть присоединяются к нам. Мы пока пойдем в этом направлении, — он показал рукой. — Сигнал прежний.

— Есть.

Власов, пригибаясь, убежал.

Романчук наклонился к уху младшего лейтенанта:

— А этого? — кивнул на немца.

— Возьмем с собой.

— И ее?

— Да. Будешь замыкающим. Смотри в оба.

Они цепочкой пошли в глубь леса. Вскоре с опушки послышался условный сигнал — крик чибиса. Хромов, Бородин и Власов присоединились к группе. Иван подошел к командиру взвода и доложил:

— В деревне спокойно.

Зашагали быстрее.

В лесу стало совсем светло. Усиливался ветер. Над верхушками деревьев появились серые бесформенные тучи. Повеяло сыростью. Разведчики растворились в этом лесу, будто их и не было здесь.

Потом было возвращение. Вообще-то много их было — возвращений. По-разному трудных и рискованных. Но первые воспоминания все-таки самые яркие. Тогда они шли весь день. Сначала вдоль фронта, затем — к передовой. К линии фронта подошли ночью. Темень была непроглядная. Продвигаться стали медленнее, тщательно проверяя каждый метр пути. На любом шагу могла таиться опасность. Слушай, разведчик! Смотри в оба! Не оступись, не зашуми. Не из-за боязни — ради дела, которое тебе поручено.

Федор не испытывал страха, но все время ожидал, что вот-вот откуда-нибудь из засады по ним ударит пулемет или накроет минометный залп. И тогда нужно будет вести бой.

Но вокруг было тихо. Лишь изредка впереди, над ничейной землей, взмывали вверх блуждающие звезды войны — осветительные ракеты. Они мирно, почти по-праздничному, пролетали в вышине и гасли так же неожиданно, как и загорались.

Перед последним броском остановились. Сгрудились вокруг командира взвода, ловили его приглушенный голос.

Бугров распределил обязанности. Пленного солдата и Клаву поручил Романчуку. Наблюдать слева должен был Бородин, справа — Власов. Впереди пошел Хромов, замыкающим — Восков. Сам командир взвода шел в центре группы следом за Хромовым и впереди Романчука.

— Метров через двести будет спуск, — объяснял младший лейтенант, — пойдем по дну оврага. Затем поле, невспаханное, конечно, заброшенное. Тут надо особенно быстро, могут засветить. За полем кустарник, болото. Это — ничейная зона. А дальше уже наш передний край. Там ждут.

— У немцев тут траншеи и дзоты, — сказал Восков, — справа и слева над оврагом.

Восков бывал здесь и знал обстановку лучше других.

— Траншеи есть, верно, — подтвердил Бугров. — И проволока есть. И мины. Оборона немцев кончается за уступом. Надо воспользоваться темнотой и проскочить. В заграждениях подготовлены проходы. В случае чего действовать по обстановке.

Перед спуском в овраг разведчики сделали последние приготовления. Хотелось пить. Хотелось курить. Хотелось перебраться парой слов с товарищами. Но все терпели и молчали. Каждый внутренне готовил себя к трудному броску в неизвест-

ность. Готовился самостоятельно и в то же время чувствовал себя не одиноким, а частицей дружного и единомыслящего коллектива.

Разведчики молча всматривались и вслушивались в темноту. Весенний лес тихо шумел голыми ветвями. На небе не было видно ни звезд, ни зарниц. С севера, с ничейной земли, веяло ледяным холодом — чувствовалась близость Финского залива.

— Третий час, — сказал, выждав положенное время и не обнаружив ничего подозрительного, Бугров. — Пора. Скоро луна взойдет, посветлеет.

Командир взвода лучше всех понимал, что наступает самый ответственный момент. Ему хотелось, чтобы и другие члены группы прониклись такой же ответственностью.

Двинулись осторожно, медленно. На ходу стали выстраиваться цепочкой.

Когда дошла очередь до Романчука и его подопечных, он указал немцу место впереди себя и предупреждающе шепнул:

— Руе, штиль. Чтобы без фокусов. Иначе хана. Крышка. Понял?

Фашист ничего не мог сказать — рот у него был забит кляпом. Он лишь понимающе закивал головой и заторопился за Власовым, неуклюже поводя плечами и всем туловищем. Не имея возможности помогать себе руками, которые были связаны за спиной, он довольно быстро передвигался в общей колонне и ловко обходил встречавшиеся на пути преграды. Нет, ему определенно не хотелось умирать, и он сейчас не меньше своих конвоиров желал быстрее и безопаснее перебраться через передний край.

Клава машинально шла за Романчуком. Всю дорогу она находилась в состоянии какой-то душевной отрешенности и мало понимала, что происходит вокруг. Ощущая на себе настояренные, любопытствующие взгляды разведчиков, не знала, какое значение придать им. Однако не сомневалась, что попала к своим, советским людям. И терпеливо ждала, когда кончится этот сумасшедший марш по весеннему, пробуждающемуся лесу. Время от времени она исподлобья, с ненавистью поглядывала на пленного гитлеровца, с которым ей все время волей-неволей приходилось быть рядом. Интуитивно Клава чувствовала, что неопределенность и опасности не кончатся до тех пор, пока продолжается их невольное соседство.

Снег в овраге почти полностью сошел, и почва всосала влагу. Прошлогодний травяной покров шершавым ковром рассти-

лался по берегам узкого ручья, протекавшего между корнями деревьев и кустами. Пахло прелостью. После ночного заморозка по краям ручья образовались ледовые пластинки.

Власов думал: только бы не наступить на эти проклятые пластинки, не споткнуться, не зашуршать веткой. Изредка он видел впереди проскальзывающие мимолетной тенью силуэты Хромова и Бугрова. Более четко различал он Бородину и старался идти с ним след в след. С беспокойством улавливал чутким ухом легкое чавканье сапог, торопливое, приглушенное дыхание людей.

К счастью, немногочисленные звуки так и тонули на дне глухого оврага, не подымаясь на высоту его склонов. Сонная ночь была не только безмолвна, но и глуха.

И все же пройти незамеченными им не удалось. До уступа оставалось совсем немного, когда впереди послышались голоса. Чужая речь. Значит, враги. Да и откуда там в ту пору было взяться своим?

Попали на дозорную тропу. Плохо.

Бугров остановился, подал сигнал. Остановилась вся цепочка.

Впереди треснула сломанная ветвь. Рукой или сапогом сломали ее — поди разберись. Ясно — прут напролом. Шуршат кусты, трещит сушняк, звенят раздробленные льдинки — враг идет, не стесняется. Как по своей земле.

Говор все ближе и ближе. Гортанный. Нахальный. Подвыпили, что ли? До пасхи вроде далеко. Так нажрались, для храбрости. И разговорились, как в саду у своего дома.

Впрочем, оно и лучше. Разведчикам отступить некуда. А шумливых легче бить. Особенно в темноте.

— Похоже, патруль, — шепнул командир взвода Хромову, Бородину и Власову. — Человека три. Подпустим поближе.

Ясно: из засады в упор сподручнее.

Три силуэта надвинулись разом. Разве можно так безмятежно ходить по фронтовым оврагам, господа? Вот, получайте. Три смертельных удара под ребра.

Впрочем, нет. Не смертельных. К сожалению, лишь один сделал свое дело сразу. Младший лейтенант Бугров. Бывший филолог. Как всегда, сработал без осечки. Самого рослого фашиста распластал и оставил лежать бездыханным.

— Амба!

А старший краснофлотец Хромов сцепился со своим про-

тивником врукопашную. И катаются по земле, рвут и мнут друг друга.

— А-ах! — крикнул гитлеровец и захлебнулся.

Хромовский кинжал заткнул-таки ему глотку.

— Подлюга, — бормотал Иван. — Чуть не сорвался.

Хуже дела у Власова. Видно, по-молодости. Нож попал во что-то твердое и соскользнул. Фашист рванулся в сторону, махнул через кусты и стал карабкаться в гору. Не тут-то было! Гора — не плац. На ней много препятствий. И не искусственных, а естественных. Их брать потруднее. Тем более ночью.

— Власов, не упускай! — крикнул командир взвода. — Бородин, помоги ему. Остальные за мной!

Бугров повел разведчиков на прорыв.

Конечно, он знал, на что идет. Пройдет час, возможно и меньше, не успеет взойти луна, и все должно кончиться. Как? Неизвестно. Может, благополучно. А может, кто-то из них расстанется с жизнью, так и не увидев больше ни луны, ни неба, ни своих родных и близких, ни той земли, ради которой бился и погиб в промозглой темноте весенней ночи. Да, он, командир, понимал это лучше других. И все же шел на это. Шел сознательно, потому что другого решения в сложившейся обстановке не было. Только открытый бой, быстрый прорыв через передний край могли обеспечить разведчикам успех.

Бежавший от Федора гитлеровец зацепился за куст и упал.

— О-о-о! Э-э-э! — дико орал он, ошалев от испуга.

Он не стремился вложить смысл в свой крик. Он просто хотел, чтобы его услышали. Чтобы встрепенулись все вокруг. Кто дремлет в окопе. Кто спит в блиндаже. Кто смотрит не в ту сторону. Встряхнитесь и помогите ему выбраться из беды!

— У-а-а! О-э-э!..

Власов бежал на эти звуки, и ему казалось, что сам сатана вырвался из преисподней. И откуда берутся такие несусветные голоса!

Немец изловчился и вскинул автомат. Раздался стук затвора. Федор метнулся за ближайшее дерево, а по тому месту, где он только что находился, стеганула огненная плеть.

Федору стало не по себе.

— Ах, ты так! — яростно шептал он, будто все еще имело значение, говорит он тихо или громко. — Тогда получай!

И Федор пустил из своего автомата ответную длинную очередь в то место, откуда лилась струя трассирующих пуль.

Немец стих. Он перестал кричать. Умолк его автомат.

На мгновение в овраге установилась прежняя безмятежная тишина. Но теперь она никого обмануть не могла. Фашисты знали, что у них в тылу находятся советские бойцы. Бугров и его друзья знали, что они обнаружены.

Теперь все решалось в открытом бою. Натиском и быстротой. А это значило, что ход времени убыстрялся по меньшей мере в шестьдесят раз — секунды приобретали цену минут.

— Ловко ты его, — слышался рядом голос Бородина.

Он вывел Власова из оцепенения.

— Жаль, нашумели, — сказал Федор.

— Ничего не поделаешь, так вышло. Давай догонять своих.

— Догоним.

Своих Федор чувствовал интуитивно. Он слышал их стремительный бег, узнавал направление движения. Это придавало ему сил, и он бежал, почти не ощущая препятствий. Давно ли он вот так же бежал на учениях? И хотя сердце у Федора учащенно билось, а в мозгу мелькали десятки мыслей, рожденных происходящим, действовал он целеустремленно и уверенно, как никогда. Последние двое суток больше закалили его, чем предыдущие три месяца.

Между тем фашисты исполошились. Наверху раздались крики. Алярм, алярм — тревога! Через овраг, с одной стороны на другую, полетели осветительные ракеты.

— Пошевеливайся! — услышал Федор окрик Хромова. — Командир впереди.

Голос Ивана звучал на этот раз серьезно и властно. Власов понял — даже бесшабашному весельчаку Ивану сейчас не до шуток.

Бугров остановил группу.

— Посоветуемся, — сказал он. — Главное, опередить их и выйти в самом неожиданном месте.

— Поверху, — сказал Восков.

— Точно, — подтвердил Бугров. — Пусть ловят нас здесь, внизу. А мы выйдем наверх и будем пробиваться там, где нас не ждут.

Справа застрекотал пулемет. Бил он вдоль оврага. Туда, где только что отгремела схватка. Три длинные очереди — и опять тихо. Явно брали на испуг. Выясняли, где теперь прячутся советские разведчики.

— Не отвечать, — приказал Бугров.

Несколько секунд паузы, и снова пулеметный клекот. На этот раз все очереди в противоположную сторону.

Ракеты, ракеты. Целый фейерверк. Бледный свет в крошечной тьме. И опять тишина. И полная темнота. И весенний бриз, доносящий запахи родной земли, перемешанные с пороховой гарью.

Разведчиков на испуг не возьмешь. У них маскхалаты. У них сейчас — только слух и зрение. У них железные нервы. А у «языка» кляп во рту, который ни выбросить, ни проглотить. И рядом могучий Романчук — соколиный взгляд и мертвая хватка.

— Кажется, успокоились, — предположил Власов.

— Главное только начинается, — сказал Бугров. — Пройтись будем по правой стороне. Приготовить гранаты.

Вот когда пригодились гранаты.

— Пулемет бы снять, — сказал Восков.

— Пулеметом займутся Хромов и Власов.

Командир знает, кому поручать. Хромов и Власов — давние друзья, один к одному, боевые и ладные.

— Есть заняться пулеметом.

— Действовать решительно. Идти только вперед.

Фашисты не заставили ждать себя. Густая цепь их уже двигалась по оврагу, обшаривая каждый куст, каждую ложбину. Конечно, советские разведчики здесь. Не могли же они провалиться сквозь землю.

Все отчетливее слышалось приближение врага. Частые автоматные очереди. Глухой топот сапог. Шелест сухих ветвей. Сдержанные слова команд. В ярких вспышках ракет — тени между деревьями. Сколько их там? Двадцать? Пятьдесят? Сто? В таких случаях врагов не считают — их бьют.

— Пора, — сказал Бугров.

Он пригнулся и быстро полез вверх по склону. За ним устремилась вся группа. Туда, откуда спустилась мечущаяся во мраке свора фашистов. Туда, где лежал теперь кратчайший путь к своим.

Власов шел левее Бугрова, стараясь не терять с ним контакта. Он чувствовал рядом и Ивана Хромова, узнавал друга по дыханию, по шороху маскхалата. Мысленно Федор видел перед собой ближайшую цель — пулеметное гнездо вверху над обрывом. Там был передний край, а за ним — спасение, победа.

Ничто другое его сейчас не интересовало, ничто не имело значения, кроме одного — уничтожить вражеских пулеметчиков, пройти через все преграды, добраться до родных, пропах-

ших порохом и солдатским потом окопов своей морской бригады.

А пулемет, как назло, теперь молчал. И нужно было цепко держать в памяти то место, где он находился. И точно сохранить направление. В ночной мгле. Под боком у надвигающихся гитлеровцев. Ежесекундно рискуя получить в упор смертельную порцию свинца.

Перед тем как выбраться на обрыв, залегли. В нескольких шагах впереди, на фоне ночного неба, нечетко выделялся край оврага. Над ним, как тени, мелькнули силуэты гитлеровцев.

Бугров швырнул в них гранату.

Раздался взрыв. Послышались отчаянные крики. В воздух взлетело сразу несколько ракет. И снова застрочил пулемет. Наконец-то! Оказывается, он был совсем рядом. Но бил теперь почему-то в сторону, в глубь оврага. Наверное, фашисты думали, что советские разведчики будут отходить обратно.

Иван локтем толкнул Федора:

— Видишь?

— Вижу.

— Пошли?

— Пошли.

В такой момент не разговоришься. Надо понимать друг друга с полуслова.

Дождавшись, когда погасла ближайшая ракета, друзья сделали перебежку. Выбрали удобную позицию и почти одновременно метнули гранаты.

Пулемет замолчал, будто захлебнулся.

А рядом уже снова голос командира взвода:

— Всем вперед! Только вперед!

— Бей их! — подхватил Хромов.

Одна за другой полетели гранаты. В глубь оврага, где двигалась немецкая цепь. И на верхний выступ, куда нужно было пробиться. Взрывы, крики, стоны. В этом хаосе трудно было разобрать, где свои, где чужие.

Но у советских разведчиков было преимущество. Они держались тесной группой и знали, куда двигаться. В их руках была инициатива. Вместе со своим командиром они уверенно прокладывали себе путь.

— Сюда! За мной! — слышался голос Бугрова.

Он был уже наверху.

За ним, подталкивая пленного, устремились Романчук и Бородин. Мелькнула на склоне тоненькая фигурка Клавы —

в горячке боя она где-то скинула с себя громоздкое пальто. Власов и Хромов поджидал Восков.

— Кажется, все! — удовлетворенно выдохнул он, увидев друзей. — Здорово вы их. Молодцы.

Старшина был доволен — пулемет сняли мастерски.

Власов вытер пот со лба.

— Так задумано было, — сказал Хромов.

— Ладно, — заключил Восков, — догоняйте командира. Я прикрою.

Гитлеровцы явно растерялись. Они не понимали, что происходит. По силуэтам, мелькающим между деревьями, не угадаешь, где свои, а где чужие. Взрывы гранат в разных концах сбивали с толку. А тут еще Восков бросил на другую сторону врага гранату и на чистейшем немецком крикнул:

— Форвертс! Фойер!

Куда «вперед»? Куда «огонь»? Команду надо выполнять. Немецкий солдат так приучен.

Началась беспорядочная стрельба. Взрывы, выстрелы, выкрики слились в сплошной гул, разобраться в котором было невозможно.

А разведчики вновь притихли. Ни криков, ни выстрелов. Только шаги. Широкие, быстрые. Воспользовавшись переполохом в стане врага, они уходили все дальше. Через десять минут были уже у проволочного ограждения, а еще через десять — на ничейной полосе. И никому из них, кроме, пожалуй, пленного немца, не казалось чудом, что они вышли из уготованного им ада. Так и должно быть, если воюешь умело.

И еще был тот августовский день. Пожалуй, один из самых памятных в его короткой жизни. Начался он обычно, а кончился неожиданно. И привычное течение событий изменил необыкновенно.

— Краснофлотец Власов, — скомандовал лейтенант Буров на утреннем построении, — выйдите из строя.

Сердце у Федора екнуло. Мысль отчаянно заработала. Ставят перед строем? Зачем? Может быть, он, сам того не подозревая, в чем-нибудь провинился? Нет, совесть у него чиста. В бою, который недавно провело отделение, вел себя, как все. Всыпали они фашистам по первое число, хотя врагов было раз в десять больше.

Однако команду полагалось выполнять. Федор, стоящий в первой шеренге, сделал два шага вперед.

— Не робей, Федя, все в порядке, — успел шепнуть ему Хромов. — Картошки на камбузе все равно нет, чистить не придется.

«Иди ты к черту со своими подначками», — подумал Федор и бросил на друга косою взгляд. Когда он повернулся кругом, весь взвод оказался у него перед глазами. На физиономиях бойцов блуждали загадочные улыбки. Шире всех осклабился Иван. Скривил губы Батуров. Он еще держался стеснительно, хотя заменил погибшего Романчука месяц назад — срок на войне неимоверно большой. Как всегда, серьезным и непроницаемым оставалось лицо Воскова. Не было в строю лишь Геннадия Бородина. В недавней схватке с фашистами он был ранен и сейчас находился в госпитале. С поля боя его вынес Федор Власов, который теперь стоял перед строем растерянный, будто в чем-то виноватый.

Командир размеренным шагом прошел вдоль строя, будто измеряя его длину. Затем остановился рядом с Власовым. В его бородке пряталась ничего не говорящая усмешка. Свою речь Бугров начал необычно громким для него голосом.

— Товарищи бойцы! — Торжественно-официальное начало насторожило строй, натянуло, как тетиву лука. — У разведчиков нелегкая служба. И очень приятно, когда нам удается выполнять ее так, чтобы добиться успеха и заслужить похвалу командования. Вообще-то для нас это не редкость: есть в нашем взводе и ордена, и медали. Но сегодня мне особенно приятно объявить, что за образцовое выполнение боевого задания и за спасение товарища краснофлотец Власов получает краткосрочный отпуск с правом поездки домой, к семье.

У Федора смешались мысли. Никогда он не испытывал такого вихря чувств. Он поедет в Кронштадт. Увидит мать, сестер, Зину. Побродит по родным улицам. Ощутит уют домашнего очага. Узнает сразу все семейные новости. Действительно, как во сне. Какая-то новая сила пробудилась в нем и постепенно росла, крепла, пробивалась наружу.

— Ну, повезло тебе, поздравляю, — сказал Иван, первым обнимая друга после того, как Бугров скомандовал: «Разойдись!»

— От лица комсомольской организации, — пожал руку

комсорг Саша Мнев. — Передай кронштадтцам, морская пехота стоит крепко.

— С тебя причитается, — с завистью сказал Сомов, который вообще не знал, где находится его семья, эвакуированная из Смоленской области в самом начале войны. И грустно добавил: — Хорошо, когда дом рядом. А мне вот даже и не нужен такой отпуск. Все равно домой не попасть.

Что ему ответить? Выручил Иван Хромов.

— Не горюй, Коля. В случае чего тебе отпуск орденом заменят, — успокоил он Сомова. — Только разворачивайся.

Бойцы засмеялись. Вместе со всеми смеялся и Сомов.

А Власову было радостно и неловко. Радостно потому, что предстояла поездка домой. Неловко потому, что не мог поделиться с друзьями хотя бы частицей того, что ожидало его дома.

4

Мысли Федора, как в тумане, воспроизводили картины прошлого. Бои, бои, бои... Скупые часы фронтового досуга. И, наконец, поездка домой, встреча с матерью, женитьба, горячие, ласковые объятия худеньких рук Зины...

И вот он лежит на поле боя один и беспомощный.

Первый луч солнца упал на лицо Федора. Не подарил тепла — осеннее солнце не греет. Лишь осторожно приласкал. Засветил белыми искрами росинки на траве. Только теперь Федор понял, что лежит лицом на восток. Там, впереди, — Ленинград. Федор шел к нему и не дошел. Какой он сейчас, город трудной героической судьбы? Зимой разорвали кольцо блокады. Однако враг пока близко, грызается в бессильной злобе.

Если бы он, Федор, смог сделать для Ленинграда еще что-нибудь! От этой мысли захватило дух. Федор попытался приподнять голову. Удалось! Коснулся губами ближайшего стебля. Светлая росинка-бусинка упала в полуоткрытый рот. Обдала холодком иссохший от внутреннего жара язык.

Успех придал сил. Федор потянулся к другому стеблю. Поймал еще росинку. Потом еще и еще. Наверное, уставший виноградарь не с таким удовольствием пьет янтарное вино, с каким израненный и измученный боец Федор Власов глотал невероятно тяжелые и холодные капли утренней росы. С пожелтевших трав родной земли. Из-под лучей охладевшего

к осенней природе солнца. И чувствовал, как по телу разливается облегающая бодрость. Боль притупилась. Сознание заработало четче.

«Теперь все зависит от того, кто найдет меня, — Федор уже ясно представлял всю сложность своего положения. — А если никто не найдет? Уж лучше никто. . .»

Нет, не следует думать об этом. Думай о чем-нибудь другом!

Интересно, дошли ребята или не дошли? Конечно, дошли. Как только стемнело, стрельба утихла. Значит, оторвались. Ушли лесом. Бугров знал, что делает. Расчетливый командир. Командованию нужны сведения, которые они достали. Сведения очень ценные. Они помогут спасти жизни сотен, а то и тысяч бойцов, выиграть операцию. Ради этого любой из них мог пожертвовать своей жизнью. Каждый в отдельности и все вместе. В конце концов, любой разведчик знает, на что он идет. И на месте Федора сейчас мог лежать любой из них.

Конечно, они его потеряли. Когда был ранен, в горячке боя не заметили. Потом искали. Наверняка искали. Не почудилось же ему — он сам слышал, как Салават кричал его имя. Звал, общаривал все вокруг. Но не нашел. И голоса не услышал, потому что Федору только казалось, что он отвечает. А на самом деле он не издал ни звука. Не мог. Не мог прокричать даже тревожную трель чибиса. Не мог двигаться. Как не может сейчас. И ребята ушли. Наверное, подумали, что он убит. Ушли, потому что боевое задание прежде всего. Боевое задание выполняю, чего бы это ни стоило. . .

Стоп мысли! Что это? Невдалеке послышался шелест травы. Раздались голоса. До Федора донеслась отрывистая, чужая речь. Догадаться нетрудно — фашисты.

На какое-то мгновение Власов забыл, что ранен. Что не может двигаться. Судорожным движением рванулся вперед, попытался встать. Непослушными пальцами правой руки ощутил холодный приклад автомата. Вспомнил, на поясе осталась граната. И штык — верный помощник в рукопашной. Одна мысль сверлила мозг: «Действовать. . . действовать. . . во что бы то ни стало действовать. . . драться до последней возможности. . .»

Но острая боль и эта непонятная тяжелая сила опять не позволили ему подняться. Он остался лежать, как лежал. Беспомощный и беззащитный. Под тусклыми лучами осеннего солнца.

От досады и бессилия Федор закрыл глаза. А когда открыл, понял — произошло худшее.

Над ним в позе циркового дрессировщика стоял немецкий офицер. В темной фуражке с высоким околышем, увенчанном замысловатой эмблемой. В расстегнутой шинели. С лощенной физиономией интеллигентного мясника. С наглой усмешкой на губах. С парабеллумом в правой руке.

«Штурмфюрер, — определил Власов, окинув взглядом пришельца. Уроки командира взвода Бугрова не прошли даром, Федор научился распознавать врага с первого взгляда. — Эсэсовец. Пистолет на боевом взводе». Где-то он уже видел такую фигуру. Кажется, в кинофильме «Профессор Мамлок», который они с Зиной незадолго до войны смотрели в Матросском клубе. Или в боевом охранении, когда на окопы лезли обезумевшие от шнапса гитлеровцы, подгоняемые вот таким же типом.

Для первого знакомства было достаточно. Для окончательного вывода — тоже. Федор не мог себя обманывать, он знал, чем грозила ему эта встреча. И чем она могла закончиться. Он никогда не думал о смерти. Не хотел думать и сейчас. Смерть неизбежна. И ни один человек не знает, где она настигнет его. В этом, может быть, одна из главных прелестей жизни. В неведении конца. Но коли смерть придет — встретить ее надо достойно. Это у Федора было в крови.

— Ком хэр! — крикнул офицер, махнув кому-то левой, свободной рукой.

«Зовет на помощь, — понял Власов. — Один боится. Или брезгует».

Рядом с офицером выросли еще две фигуры. Солдаты с автоматами на изготовку.

Штурмфюрер, не опуская пистолета, небрежно пнул Федора ногой. Отрывисто, презрительно сморщив губы, сказал:

— Дас ист эр.

Мускул на правой щеке у него нервно подергивался.

Настроение у штурмфюрера фон Гросса было препаршивое. Вчера вечером после короткой и жаркой схватки на лугу у опушки леса он был уверен, что отряд русских разведчиков полностью истреблен. Поэтому он даже не очень огорчился,

не досчитавшись шести человек в своем взводе. А сегодня утром, обходя поле боя, лишь удивлялся. Хотя удивляться ему не полагалось. Фон Гросс происходил из старинного прусского рода, в котором все мужчины были военными. Многовековая муштра отучила их удивляться, как, кстати говоря, проявлять открыто и другие человеческие эмоции.

Но сегодня не удивляться было нельзя. Штурмфюрер обнаружил уже три трупа немецких солдат, а русских и следов не было. Россыпи стреляных гильз и больше ничего. Вот тебе и хваленая фонгроссовская интуиция! Он с досадой подумал о том, какую нахлобучку получит в штабе. И вдруг наткнулся на этот полутруп. Русский был жив и кое-что соображал. Исступленный взгляд, которым он обжигал офицера, говорил сам за себя. Тело беспомощно, мысль жива. Можно попытаться открыть коробочку и реабилитировать себя перед начальством.

Штурмфюрер, убедившись, что пленный не способен причинить вреда, наклонился и заглянул в его открытые глаза. Он слышал рассказы о стойкости советских бойцов, но не очень верил им. Фон Гросс считал, что лучшие воины — немцы. Остальные — навоз, который необходимо убрать с поверхности земли. Рассматривая расprostертого на траве вражеского солдата, он рассчитывал обнаружить в его поведении смятение, страх, мольбу о пощаде.

Но не нашел. Никаких признаков. Страдание было, страха — нет.

Власов, увидев вблизи мутно-водянистые, словно зачумленные глаза фашиста, содрогнулся. «Примеряется. Будет допрашивать. И пытаться. Сразу видно — злой и жестокий. Двинуть бы по его судорожно дергающейся скуле».

Другого оружия, кроме ненависти, у Федора не осталось. Только ненавидеть. Ненавидеть до последнего вздоха. Тогда все кончится быстрее.

Фон Гросс умел читать взгляды. Он отпрянул, будто уклонялся от удара, и визгливо крикнул:

— Ауфштеен!

Власов не шелохнулся. Если бы он мог встать! Он встретил бы врага стоя, а не валялся у его ног.

— Ауфштеен! — повторил офицер и добавил по-русски: — Встать!

Ствол пистолета угрожающе нацеливался на Федора.

С холмов из-за реки подул легкий ветер. Он колыхнул

верхушки трав, волнами прокатился по лугу. Федору показалось, что воздух стал свежей, повеяло запахами леса и жирными соками земли.

А что, если встать? Назло всему и все невозможная! Какая-то небывалая живительная сила пробудилась в нем и распрямилась подобно спущенной пружине. Федор приложил усилие, оперся на непослушные руки и сел. Ни один мускул на его лице не дрогнул, хотя все оно было напряжено до предела. Лишь кривая, недобрая усмешка играла на запекшихся губах.

— Зо, — обрадовался ээсовец. — Нох айн маль... Озталось зовсем мало.

Он делал подбадривающие движения руками снизу вверх, показывая, как Федор должен действовать, чтобы встать на ноги.

И Федор поднялся. По непонятным законам естества. Наперекор природе. На удивление себе и своим врагам. Он встал, широко расставив ноги, и злым, немигающим взглядом уставился на опешившего гитлеровца.

— Вот... встал... — Федор выдавливал слова, как горячие уголья. Из рта у него бежала узкая струйка крови. По подбородку она стекала на открывшийся из-под воротника гимнастерки полосатый уголок тельняшки. — Смотри... А хочешь... я тебя...

Вид у Федора был угрожающий. Он сделал шаг вперед. Покачнулся, но не упал. Правой рукой потянулся к поясу за гранатой.

— О, матроз, — удивленно промямлил фон Гросс.

Он инстинктивно отпрянул назад и поднял пистолет. Стоявшие по сторонам от него солдаты оцепенели, боясь что-либо предпринять без команды офицера.

— Ты... попляшешь... — простонал Федор.

Рука не послушалась его. Боль раскаленной плетью хлестнула по всему телу. Мир перевернулся в глазах Федора. Он тихо застонал и, медленно оседая, потерял сознание.

Штурмфюрер досадливо поморщился. Подумав, спрятал пистолет в кобуру. Вынул сверкающий белизной носовой платок, неторопливым движением коснулся уголков рта, восстановив таким способом душевное равновесие.

Очнувшись, Федор не сразу понял, где находится. В глаза бросились кудрявые ветви берез, висевшие над ним. Нежно-желтые, оранжевые, коричневые и еще зеленые листья беззвучно трепетали в воздухе, словно рой разноцветных бабочек.

Небо совсем закрылось облаками, и определить время было трудно. Похоже, дело шло к вечеру.

Боль немного утихла, но в голове пульсировал звук, похожий на шум отдаленного дождя. Веяло сыростью и прохладой. Жар сменился ознобом. Хотелось двигаться. Федор попробовал шевельнуть рукой — послушалась. Осторожно ощупал себя. Лежал на плещ-палатке, без ремня, без оружия, без шинели. Пахло лекарством. Подумалось: «Неужели лечили? А почему бы нет? Я им нужен». И снова тревожная мысль: «Будут допрашивать. Держись, Федор».

Попытался повернуть голову. Удалось. Увидел лесную полянку. На другом конце ее, метрах в двадцати, горел костер. Оттуда доносились голоса. А рядом, кажется, никого.

«Может, попробуем, Федор? — сказал он себе. — Попробуем».

Теперь нужно было постараться встать. Для начала хотя бы на четвереньки. А там...

— О, гут! — голос раздался совсем рядом. — Мы желайт шпацирен? Немного гуляйт? Аусгецайхнет. Отлишно.

Федор снова откинулся навзничь и увидел над собой склоненную фигуру штурмфюрера. Та же фуражка. Та же самоуверенная физиономия, лоснящаяся от недавнего бритья. Те же мутно-водянистые глаза. И успокоившаяся скула. Не было только шинели. Офицер был во френче, подпоясанном широким ремнем.

Действительно, фон Гросс чувствовал себя превосходно. Он сытно пообедал, отдохнул и был в гораздо лучшем расположении духа, чем утром. Еще бы! Его доклад о поимке советского разведчика произвел впечатление в штабе. Друзья по телефону поздравляли его с успехом. А начальство ждало от фон Гросса достойного завершения дела. Матроса-фанатика нужно было заставить говорить. Пусть расскажет, что делается на Ораниенбаумском плацдарме советских войск. У немецкого командования имелись смутные опасения, что зимой русские снова попытаются наступать. Но откуда? Непосредственно из Ленинграда? Или из-под Мги? А возможно, как раз с этого «пяточка», за который они так упорно держатся уже больше двух лет?

Пленный должен хоть немного пролить свет на эти вопросы. Не говоря уже о таких, как дислокация и численность войск, система оборонительных укреплений, тактика действий разведгрупп. Обязательно надо заставить его разговориться.

Фон Гросс осмотрелся, прикидывая, как поудобнее устроиться. Откинув полы френча, сел на ствол поваленного ветром вяза. Поставил ногу на лежавший рядом небольшой камень-валун, поросший бархатистым зеленовато-коричневым мхом. Выжидающе посмотрел на распростертого перед ним бойца.

— Ви ист дайн наме? — спросил он так, как учитель спрашивает у прилежного ученика выученный урок.

Голос у офицера звучал вкрадчиво. Стараясь довести до пленного всю суть своего незамысловатого вопроса, он произносил слова медленно и четко, каждое в отдельности. Федор немного понимал по-немецки. Учил в школе. Да и в разведке приходилось сталкиваться. Он без труда понял вопрос. Простейшее дело — спрашивают имя. Мог бы не стараться этот пижон так приглаживать слова. Яснее ясного — на каждом вопросе прежде всего спрашивают фамилию, имя, отчество. Даже если они известны. Ничего особенного в этом нет. Вроде знакомства. Может, ответить?

Конечно, лучше бы в открытую. Смотрите, мол, и знайте, что я — рабочий человек, кронштадтский матрос Федор Власов. Да, я боец Красной Армии, разведчик! И плюю на вас, поганых фашистов, с высокой колокольни, хоть и лежу перед вами прижатый к земле. Лежу не потому, что трус или побежден, а потому, что получил тяжелые раны в честном бою... Сказать, отвести душу, а там — будь что будет.

Но нет, нельзя. Не должны узнать враги, что он — Власов. Что ходил в разведку и отстал от своих пятерых друзей. Это уже ниточка, за которую могут ухватиться. Не давать. Разумеется, они не глупые и кое о чем догадываются. Ну и пусть. Пусть думают что хотят. А он будет молчать. Документов разведчики не носят, значит, и говорить не надо. Слова, сказанные на допросе, тоже документ. Молчи, Федор, будто ты онемел. Будто ничего не слышишь.

Штурмфюрер выдержал паузу.

— А-а, ты по-немецки не понимайт, — спокойно резюмировал он. Словно и не рассчитывал сразу получить исчерпывающий ответ. — Тогда я немного могу по-русски. Ты говорийт по-русски?

Вопрос прозвучал издевательски. Комедия кончилась. Начинался настоящий допрос.

Фон Гросс резко встал. Медленно прошелся по полянке. Закурил. Снова приблизился к Власову. С иронией в голосе спросил:

— Ну. Как есть твое имя? Кто есть ты?

Все-таки очень досадно, что нельзя сказать этому лощеному, исходящему самомнением фашистскому офицеру свое имя и профессию. Тогда немец сразу понял бы, что его потуги напрасны. И все бы кончилось мгновенно. Впрочем, нет, не кончилось бы. Добившись ответа на один вопрос, фашист с еще большим рвением стал бы добиваться ответа на второй. И на третий, четвертый... Лучше молчать, Федор.

— Ты не желайт говорийт, — с сожалением констатировал штурмфюрер. — Но я имейт терпений. Я есть спрашивайт. Мне надо необходимо получайт ответ.

— Ничего ты не получишь, — прошептал Федор, почти не разжимая побелевших губ. — Зря время теряешь.

Скорее, это был стон, в котором нельзя разобрать ни слова.

Но фон Гросс обрадовался и стону. Хоть что-нибудь выжать из этого упряма.

— Как? Что ты говорийт? — оживился он. — Повторяйт.

На лице фон Гросса появилось даже подобие улыбки. Но, встретившись с ненавидящим взглядом Федора, он понял, что радоваться нечему. Похоже, пленный издевается над ним.

— Ты не желайт? — язвительно спросил он. — По-немецки не понимайт. По-русски не желайт. Придется помогайт. Я имейт хороший помощь.

Федор закрыл глаза. Кажется, дело приближается к развязке. Ненадолго же хватило медоточивого гитлеровца. Топрится...

В памяти всплыли картины недавнего прошлого. Изборозженное морщинами, но по-прежнему ласковое лицо матери. Прощальный поцелуй Зины, крепкий, долгий. И полушутя-полусерьезно сказанные слова: «Не забывай, пиши почаще». Как можно забыть? Даже здесь, во вражеском плену, на пороге смерти он ясно представляет ее озорную улыбку, ласковые глаза, кудряшки шелковистых волос, выбивающихся из-под косынки.

Расставаться с мечтой не хотелось. Но Федор пересилил себя и открыл глаза.

По-прежнему трепетали над ним осенние листья. Облака медленно рассеивались. Между ветвями скользнул оранжевый пучок солнечных лучей. И опять спрятался, будто испугался происходящего на земле.

Штурмфюрер стоял в излюбленной позе. Сразу видно — кадровый вояка, любит работать стоя. Правую ногу, обтянутую

лакированной кожей сапога, держит на валуне, попирая его древнее происхождение своим величием и абсолютной властью.

Рядом с офицером — три солдата. Стандартные, не выражающие мысли и чувств лица. Пьяный туман в глазах.

И готовая взорваться лесная тишина вокруг. Хоть бы какой-нибудь жалостливый чибис издал свой пронзительный зовущий крик в знак приближения опасности!

— Я не хотел делать тебе больно, — штурмфюрер все еще пытался скрыть свое раздражение и говорить примирительным тоном. — Но теперь надо необходимо говорить. Ты желайт имейт нормальный беседа?

«На кой черт с тобой разговаривать, — мысленно ответил Федор. — Не о чем нам беседовать, фашистская морда».

Вслух Власов не сказал ни слова, но фон Гросс прочел ответ в его глазах.

— Напрасно ты упрямый, — с деланным сожалением сказал штурмфюрер. — Вредно себе делает, — он не спеша зажег потухшую сигарету. — Ведь мы все знаем. Мы два раза слыхайт ваш раций. Мы все понимаем.

«Ни черта они не знают», — неожиданно улыбнулся Федор. Он почувствовал себя увереннее.

— Нихт лахен! — взвизгнул штурмфюрер.

От раздражения он забыл нужное русское слово.

Теперь Федор уже спокойно и с чувством превосходства смотрел на гитлеровца. Он ясно видел путь и способ борьбы. Пусть он никогда больше не вернется к своим. Пусть погибнет. В конце концов, погибнуть на фронте можно в любой момент. Многие погибают, не успев побывать в бою. А он, Федор Власов, пока сражается. И будет держаться до конца.

— Нам надо необходимо мало, — штурмфюрер, тяжело дыша, впери в Федора покрасневшие глаза. — Шифр? Код? .. Где переходит фронт? .. Какие части есть в Ораниенбаум?

Власов слушал как во сне. Жить или умереть — ему было сейчас безразлично. Главное — не потерять контроль над собой. Ведь иногда — он знает об этом — в таких случаях проговариваются подсознательно. Лучше думать о чем-нибудь другом. Какое сегодня число? Уходили семнадцатого сентября. Прошло... раз... два... три дня. Значит, двадцатое. Или двадцать первое? А год? Это он помнит хорошо. Одна тысяча девятьсот сорок третий. Интересно, скоро ли кончится война? Будет мир, мир, мир. Каким он будет? Увидеть бы хоть чуточку, самую малость. Как хорошо все же в лесу! Давно, еще

в школе, Федор читал, что в древности на этом месте было море. Теперь где-то здесь зароят его. На дне бывшего моря. В пятидесяти километрах от родного Кронштадта. И печальные березки будут вечно склоняться над ним...

— Кто есть твой командир?.. Где твой дом? — кричал офицер.

Правая скула у него снова дергалась. Он потянулся рукой за пистолетом.

И вдруг из глубины леса донесся крик чибиса. Федор отчетливо услышал его. И узнал. Он узнал бы его из тысячи птичьих голосов. Потому что подражать чибису так искусно умел только один человек — разведчик Иван Хромов.

«Они вернулись, — мелькнула у Федора мысль. — Они пришли за мной». Он был уверен, что боевые друзья не оставят его в беде, при малейшей возможности попытаются выручить. Такое правило у разведчиков. Таков закон войскового товарищества. И вот они здесь, совсем рядом.

Словно радостная волна подхватила Власова. Не обращая внимания на окрики эсэсовца, он закричал чибисом. Он отвечал Ивану. Подтверждал, что жив. Что немцев мало и можно действовать.

Дальнейшие события разворачивались стремительно. Не успели фашисты сообразить, в чем дело и чем объяснить странное поведение пленного, как на поляну с трех сторон выскочили Восков, Хромов и Батуров с автоматами на изготовку.

— Хенде хох! — крикнул Николай.

Немецкий офицер вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Его опередил Бугров, который, скрываясь недалеко за сосной, держал эсэсовцев на прицеле. Сраженный пулей лейтенанта, фон Гросс неестественно взмахнул руками и запертво рухнул на землю. Опешившие солдаты послушно подняли руки.

— Вот так-то лучше, — поучал Восков, отбирая у них оружие.

Иван подбежал к Власову, заботливо, как медсестра, растегнул гимнастерку, разрезал окровавленную тельняшку. И отпрянул: на груди у Федора зияли четыре пулевые раны.

— Федя, браток, потерпи. — Иван склонился над Власовым, стараясь уловить его дыхание. — Немного потерпи. Мы тебя мигом в медсанбат доставим.

Он открыл флагу и влил в рот Федору несколько глотков.

— Спасибо, Ваня, — еле слышно проговорил Федор, чув-

ствуя, как в груди у него разливается тепло. — Я выдержу... Мы еще споем в нашем лесу... Обязательно...

— И к Зине вернешься, Федя. Она ждет, — продолжал подбадривать Иван.

При упоминании о Зине Власов слабо улыбнулся и закрыл глаза.

Подошел Бугров, спросил осторожно, тихо:

— Жив?

— Будет жив, — отозвался Иван. — Крепкий балтиец.

— Тогда в путь-дорожку. Задерживаться нельзя.

Федор почувствовал легкий толчок и покачивание. Понял: его подняли и понесли. Усилием воли открыл глаза. Носилки, на которых он лежал, несли пленные немцы. Рядом шагал лейтенант Бугров. Его рыжебородое лицо было суровым и сосредоточенным. Впереди мелькала кряжистая фигура Ивана. Сквозь раскидистые кроны деревьев виднелось темнеющее небо.

Покачивание убаюкивало. Власову показалось, что качается не он, а весь лес вокруг него. Опять закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Глаза заволокло туманной пеленой.

Где-то далеко в стороне тревожно прокричал чибис. Настоящий луговой летун-забияка. Его голоса Федор не услышал. Тяжелое забытие навалилось на него.

Владимир Пидгаевский

НА УЧЕНИЯХ

Безропотная ночь на полигоне.
Луна ушла прожилками тропинок.
Мой БТР в последнем эшелоне
Упорно разбуковывал суглинок.

Туман был крепче выхлопов бензина,
Въедался в души,
Разъедал глаза.
Ревела многоосная машина,
Царапала поверхность и ползла.

Ночную темень вспарывали взрывы.
И не было врагов как таковых,
И впереди шагали командиры,
Не видевшие в жизни штыковых...

НА РОДИНЕ

Прошагать бы росой предзакатною,
Пусть кукушки еще не спят
И озера
Стреляют щурятами,
Кряквы крякают на утят.

Камыши раздвигая бережно,
Заглянуть в голубой простор,

Где натруженный месяц селезем
Чистит перышки перед сном,

Где дремучесть лесов без края,
Где кузнечик спит на листке...

Засыхает заря ржаная
Хлебной корочкой
На окне.

Виталий Иванов

В КИНО

Смотрели прямо на меня
Края кровавые воронки,
И я был посреди огня
В кричащем маленьком ребенке.

Прямой наводкой смерть вела
Огонь из тысячи орудий.
Война давно уже прошла,
Ее почти забыли люди.

И это — фильм. При чем здесь я,
Для нового рожденный века?
Как дико! Словно муравья,
Вдруг раздавили человека!

При чем? Но если это мать
В орущем месиве воронки
И мне придется умирать
Вот в этом маленьком ребенке?!

В кино иль жизни? Тишина.
Все пушки бьют. Темно от боли.
Меня с ума свела война,
И я умру в случайной роли,

Умру, разбивши свой мирок.
Из лун, туманов, синеветий,
Воскресну вновь и выйду в бой
За все, что дорого на свете!

Владимир Скородумов

КОМАНДУЮЩИИ

РАССКАЗ

После поражения фашистской армии под Москвой геббельсовская пропаганда вопила, что причина отступления — плохие русские дороги. А проиграв войну, уцелевшие гитлеровские генералы заявили — виноват фюрер и плохие дороги в России. И выходит: они проиграли войну из-за наших плохих дорог, а мы ее выиграли из-за этих самых дорог.

Увы! И у нас дорожки эти в печенках сидели, хотя они и наши. Поведешь радиороту, бывало, после дождика — и стоп! Задние колеса крутятся, а машина ни с места. И пошло: раз, два, взяли! Раз, два, взяли! В других частях легче, а каково было мне? В роте восемьдесят человек без малого, и хотя все они в шинелях, но сорок солдат носят юбки. И когда эти солдаты начинают визжать: раз, два, взяли! — то и остальные сорок ослабевают от смеха.

Однажды в самую распутицу по раскисшим дорогам штаб фронта совершал марш. Войска наступали, ушли далеко вперед.

К вечеру с большой натугой рота сосредоточилась наконец на новом месте. Не прибыла только одна радиостанция. Но я не беспокоился. Она была оставлена на старом месте для поддержания связи. Прибудет позже. К тому же на ней один из лучших водителей роты, ефрейтор Дудкин. Действительно, часа через два, когда рота была уже накормлена и все понемногу утряслось на новом месте, появился Дудкин. Он был встревожен. Его тревога передалась и мне.

— Где радиостанция? — был мой первый вопрос.

— Радиостанция на месте.

— Исправна?

— Исправна!

Я успокоился. А шофер стоит, мнетяся.

— Что же случилось? Что тянешь резину? Или как у прекрасной маркизы — радиостанция исправна, но машина сгорела?

— Товарищ капитан, — решился наконец водитель, — командующий фронтом приказал передать вам, чтобы меня откомандировали в боевую часть.

В первое мгновение я совершенно не мог уяснить значения его слов, хотя вроде бы все понял. Радиостанция роты обслуживала непосредственно штаб фронта, но командующий был для меня фигурой настолько недосягаемой, что я заорал на водителя:

— Чего чушь мелешь? Какой еще командующий?

— Наш командующий, товарищ капитан, генерал-полковник.

«Что за чертовщина!», — подумал я и опять напал на шофера:

— Где ты его встретил? Куда ты полез?

— На дороге встретились, товарищ капитан, а к нему я не лез. Позвал сам.

И водитель доложил следующее.

Его радиостанция еще два часа продолжала работать на старом месте, затем, свернув связь, выехала к новому месту дислокации. Движение на шоссе шумное и бойкое. И справа, и слева на каждом километре буксует машина. Но водитель радиостанции опытен, он успешно ведет машину в нескончаемом потоке, умело обходя опасные места. Он удачно миновал город — новую базу снабжения фронта, перед которым было особенно интенсивное движение, и выехал на проселочную дорогу в направлении штаба фронта. И вдруг сзади раздался настойчивый сигнал. В зеркало водитель увидел легковую машину. Сигнал повторился — уступай дорогу. Но свернуть с середины дороги — значит застрять, у радиостанции только один мост ведущий. И водитель прибавил скорость, надеясь где-нибудь впереди пропустить назойливый «виллис». Но тот не стал ждать — это же вездеход. Он свернул с дороги, обогнал радиостанцию и остановился. Дверца заднего сиденья мгновенно распахнулась, из «виллиса» выпрыгнул офицер в

кожаной куртке и подбежал к водителю радиостанции. Откинув дверцу, скомандовал:

— К командующему!

А там разговор короткий:

— Почему не уступал дорогу?

— Не слышал, товарищ генерал!

— Из какой части?

— Из радиороты штаба фронта.

— Передай командиру роты, чтобы откомандировал тебя в боевую часть!

«Виллис» рванул вперед, а водитель поплелся к своей кабине.

У меня не было причин не верить Дудкину — все, что он рассказал, звучало правдоподобно. Отчитывать его не было никакого желания. Что толку?! Но его дважды повторенное: «Когда прикажете убыть, товарищ капитан?» и бодрый голос вызвали во мне подозрение. Далеко не всем нравятся служба в штабе фронта. В роте, пожалуй, не сыскать было ни одного солдата, который не обратился бы ко мне с просьбой отправить его на фронт.

Солдат есть солдат. Раз война — он жаждет подвига, ему нужен бой. Он стремится сойтись с врагом лицом к лицу, видеть противника. Если он водитель, ему необходимо крутить баранку пусть под обстрелом, бомбежкой, но чтоб его машина шла: везла бы боеприпасы, тянула бы за собой пушку, подбрасывала бы прямо на передовую доблестную пехоту. Короче, шофер хочет чувствовать бой. Вот это дело. Тут и радостное напряжение, тут и мужество, и опасность. А что в нашей роте?

Радиостанция стоит, и шофер стоит. Или часовым возле нее, или дневальным по роте. А то и картошку чистит на кухне. Один из водителей, жалуясь на судьбу, прямо сказал: «Что я отвечу дома, когда спросят после войны, как воевал? Уже год на фронте, а немца еще не видел, даже пленного».

Трудно мне было отбиваться от этих назойливых атак, как ни напрягал я свое красноречие, как ни прибегал к высоким словам, доказывая, что в штабе фронта тоже вершится подвиг. Но попробуй убедить молодого, цветущего парня, что чистить картошку на кухне за сто километров от фронта — это подвиг. В конце концов приходилось прибегать к безотказному аргументу: «Служи там, где приказано. Кругом! Шагом марш!»

Девчата, вот те молодцы. Ни одна ни разу не заикнулась, чтоб ее отправили в часть. Тоже солдат, и службу несет хорошо, а все же оставалась женщиной. А женщина, как известно, быстро привыкает к родному очагу, и ничего другого ей не надо.

Были попытки и у Дудкина распрощаться с безопасной, но прозаической службой в радиороте. «Уж не легенду ли сочинил Дудкин? — мелькнула у меня мысль. — Все выглядит правдоподобно, мог думать он, не пойдет же ротный к командующему проверять».

Но нет. Когда ефрейтор почуял подозрение, проскользнувшее в моих вопросах, он с обидой сказал:

— Товарищ капитан, ведь я кандидат в члены партии. Мне в самом деле давно хочется на фронт, и я вас просил об этом, но обманным путем не стал бы добиваться.

— Хорошо, Дудкин, верю, что так и было. Но как ты смел командующему не уступить дорогу? Ты же не мог не знать, что за такое по головке не поглядят.

— Не знал я, что это командующий. Думал, простой полковник.

— И полковнику уступать надо!

— Если бы уступил, и сейчас бы сидел в кювете. И вам бы лишние хлопоты — искали бы меня.

— Спасибо, Дудкин, за заботу обо мне. Но хлопот мне ты сделал больше.

— Виноват, товарищ капитан.

— Ну, ступай, — махнул я рукой.

Дудкин переступил с ноги на ногу и продолжал стоять.

— Иди! Отдыхай!

— Так я, значит, буду собираться, товарищ капитан... Кому прикажете передать машину?

— Не торопись!

— Товарищ капитан, ведь командующий приказал...

Пришлось на Дудкина прикрикнуть. Только после этого он вышел.

На другой день я доложил начальнику связи фронта о происшествии с Дудкиным и закончил свой доклад просьбой:

— Товарищ генерал, разрешите не отправлять Дудкина!..

— Как это разрешите не отправлять, приказал-то командующий... Отправляй, и точка.

Я не унимался:

— Товарищ генерал, водитель — опытный, хороший, надо доложить командующему. . .

— Нет уж, благодарю. Если командующий тебе приятель, то можешь доложить, а у меня нет никакого желания докладывать ему по такому вопросу.

И генерал повесил трубку.

История с ефрейтором Дудкиным продолжала меня волновать и на следующее утро. Разговор с генералом меня не удовлетворил. Во всем этом происшествии меня настораживало одно — откомандируй я Дудкина, при следующем перемещении ни один водитель радиостанции не будет уступать дороги. Хоть все маршалы будут сигналить сзади — не уступят. Отправляйте, мол, на фронт, и баста!

Дудкина надо отстоять, но как? Решил переговорить с адъютантом командующего майором Пугавкиным. Лично с ним я был знаком. Правда, знакомство состоялось при довольно щепетильных обстоятельствах. Пугавкин до потери дара речи был влюблен в радистку моей роты Галю Блатову. Но сердцеедов, а их было немало, в роту я не допускал, отлучки из роты также были исключены. В этих вопросах я был непреклонен и беспощаден. Когда однажды мне доложили о самовольной отлучке радистки Зои Ляшенко, я приказал открыть недействующую трансформаторную будку и посадил ее туда на трое суток. С тех пор ни одного нарушения.

Майор Пугавкин дважды обращался ко мне по секрету с просьбой: разрешить Гале после вечернего дежурства побыть с ним часок. Первый раз я отказал. При этом напомнил, что рядовой Блатова — солдат. И если ему так хочется побыть часок с солдатом, то как майора и адъютанта командующего могу его уважить и отпустить своего ординарца ефрейтора Митьку, балагура и плясуна. Пугавкин, помню, обиделся и, ничего не сказав, ушел.

Второй раз не отказал. То ли он более настойчиво просил и убедил меня в самых благих намерениях, то ли мелькнула мысль, что, может быть, нужда заставит и самого меня когда-нибудь обратиться к нему за помощью, не помню. Во всяком случае, отпустил солдата Галю, к его великой радости. И вот теперь, действительно, вынужден обратиться к нему.

«Ну что ж, — думал я, — не поможет, пусть забудет, где Галя служит, — близко к роте не подпущу».

Предварительно позвонил адъютанту. Он был свидетелем вчерашнего конфуза с Дудкиным.

— Ведь вот шельмец, — высказал свое негодование Пугавкин, — хотя бы остановился. Мы пошли на обгон по обочине, а он себе жмет на всю железку!

Я кратко изложил истинную причину его упрямства и высказал свое желание не откомандировывать водителя. Но как это сделать, мол, не приложу ума.

— А с начальником связи вы не разговаривали? — спросил Пугавкин:

— Куда там! Не хочет идти к командующему.

— Да! — вздохнул адъютант. — Все они его боятся.

И он замолчал. Молчу и я. Держим трубки у уха — я чувствую его дыхание, он — мое.

Наконец Пугавкин заговорил:

— Мне одному заводить разговор с командующим будет некорректно, вы понимаете. Но если вдвоем — операция может пройти успешно.

Разработали следующий план. К пяти часам дня прихожу к домику командующего, охрана будет предупреждена, меня пропустят. Адъютант встретит у входа. Командующий с двух до четырех, когда не в войсках, отдыхает. Ровно в пять пьет чай в садике возле дома. В этот момент мы вместе с адъютантом подойдем к нему.

— Не влетит нам? — с опаской спросил я.

Подумав, Пугавкин ответил:

— Не думаю. В это время у него, как правило, хорошее настроение. Склонен к шутке. Разговаривает по-домашнему... Самое худшее — прогонит обоих, как и твоего водителя.

— Так вы рискуете, товарищ майор? — забеспокоился я о нем.

— При некоторых обстоятельствах полезно и рискнуть, — недвусмысленно ответил он.

Зеленым прибоем цветущих ветвей захлестнуло домик командующего. Они прорывались через забор, который начал просматриваться только с того момента, когда я вплотную подошел к нему. Калитка также была опоясана зеленым кольцом сверху донизу, и нежные листочки фруктового дерева скользнули по щеке, как бы пожелав мне успеха и пропуская в сад.

Возле приземистого побеленного домика стоял большой стол, накрытый скатертью, вокруг стола — стулья.

Командующий в кителе, накинута на плечи — день был солнечный, теплый, — сидел за столом, а повар в белом фартуке ставил перед ним посуду. Только подойдя ближе, я увидел и самовар, стоящий на столе. Легкий пар весело подымался над ним и таял в прозрачном воздухе.

Сердце учащенно забилося, когда я переступил порог каютки и увидел массивную фигуру генерал-полковника. У него, казалось, все было необычных размеров: ноги, руки, голова. И от этого я почувствовал себя совсем незначительным. Однако задумчивая зелень ветвей вокруг, сверкающий самовар и полная тишина в саду подействовали успокаивающе.

При нашем приближении — я шел сзади — командующий поднял голову. В этот момент повар ставил перед ним большую фарфоровую чашку чая. Черты лица генерала были выразительные и крупные. Меня вновь охватил трепет, когда я встретился со взглядом его больших выпуклых глаз. Я уже вышел из-за спины адъютанта и стал рядом.

— Товарищ командующий! — уверенно проговорил адъютант. — Командир радиороты просит разрешения обратиться к вам.

— А что случилось? . .

Я сообразил, что настало время говорить мне.

— Товарищ командующий. . . — Голос мой сильно дрожал, после первых же слов в горле что-то сжалось, и мне пришлось откашляться. Начал снова и громче, боясь, что опять перехватит дыхание: — Вчера водитель радиостанции вас задержал. . .

— Так что же? . .

В голосе командующего прозвучала ироническая нотка, и заранее приготовленная фраза, выученная мной наизусть и, казалось, самая убедительная и трогательная, сразу вылетела из головы. Я выпалил на одном дыхании:

— У наших радиийных машин очень низкая проходимость — один мост ведущий. На такой дороге чуть в сторону — и сиди. Вот он и погнался вперед что есть духу, надеясь разминуться. Не знал, кто за ним. Перепугался, когда узнал. . .

Командующий нахмурился и, мне показалось, призадумался. Затем я услышал его твердый густой бас:

— Петя, соедини-ка меня с начальником связи.

И тут я почувствовал, как задрожало мое правое колено.

Потом мне показалось, что туловище стало медленно клониться вправо. Разумом понимал, что по-прежнему стою по стойке «смирно», но физическое ощущение было таким, словно я вот-вот упаду. Нарушение моего душевного равновесия не ускользнуло от командующего.

— Садись, капитан. Васька! Налей ротному чаю.

В ту же секунду появился исчезнувший повар в белом фартуке и ловко наполнил из самовара и сервизного чайника чашку. Я сразу было хотел исполнить приказание командующего, но не смог. Еще ощущал, что стою, перегнувшись вправо, и боялся сдвинуться с места, чтобы не упасть.

Адъютант между тем подошел к телефонному аппарату, стоявшему слева от стола на простой солдатской тумбочке, и, услышав ответ, подал трубку командующему. Шнур был длинный — командующему не пришлось менять положение. Только теперь я заметил закатанный брезент, лежавший на металлических кронштейнах под самой крышей. В случае дождя над накрытым столом сразу возникнет крыша.

— Товарищ К., — заговорил командующий в трубку. — Ко мне пришел командир вашей радиороты. . .

При этих словах я чуть не свалился со стула, на который, справившись с волнением, только что сел. «Ну, — думаю, — теперь прикажет и меня отправить вместе с Дудкиным».

Но то, что произнес командующий дальше, поразило меня не меньше, хотя и не было связано с Дудкиным. А он продолжал:

— И подал хорошую мысль: переставить основные радиостанции на новые машины. Через неделю-две такая возможность будет.

Он замолчал, слушая ответ. Затем опять заговорил:

— Да! Да! Совершенно верно — первую партию до последней машины я приказал отправить в иптаповские полки. А со второй сумеем выделить для радиостанций. — Опять слушает, а потом заканчивает: — Хорошо! Завтра с начальником штаба доложите расчет, — и он вернул трубку адъютанту.

Я сидел, боясь пошевелиться. К чаю, конечно, не прикоснулся.

Голос командующего вывел меня из оцепенения:

— Пей чай, а то простынет!

Он вновь поднял блюдце, из которого уже пил перед этим, и продолжал прихлебывать. Мне ничего не оставалось, как тоже взять свою чашку.

Для меня это чаепитие с командующим было настоящей пыткой, я не мог дождаться, когда оно закончится. Лоб мой покрылся испариной — не от чая, конечно, от волнения. У командующего-то лоб был совершенно сухой.

Наконец командующий поставил блюдце на стол и опрокинул на него пустую чашку.

— Ну, теперь за работу! — Он энергично встал из-за стола и направился к двери домика.

Словхавшись, что вопрос с Дудкиным еще не решен, а командующий уходит, я мгновенно вскочил с места:

— Товарищ командующий, разрешите не откомандировывать Дудкина?

Генерал-полковник обернулся, и по лицу его скользнула мягкая, доброжелательная улыбка:

— Ну, что же с тобой поделаешь, оставь Дудкина. Только смотри, чтобы твои водители все же уступали дорогу командующему. Дудкин опоздает — это еще не беда. А командующий не имеет права опаздывать.

Сказано это было просто, по-отечески, с тонким крестьянским юмором. Я ничего не мог ответить от волнения.

Только я, вернувшись от командующего, вошел в ротную канцелярию, писарь вскочил со стула и встревоженно доложил:

— Товарищ капитан, звонил генерал, сказал: как только появитесь — пулей к нему.

Этот вызов был неизбежен, я чувствовал себя скверно.

— Заходи, заходи, голубчик, не робей, — съязвил генерал, наблюдая, как я робко открываю дверь в его штабквартиру.

«Подвел меня командующий — зачем ему было говорить, что я подал хорошую мысль. Ведь никакой мысли я не подавал. Просил только за Дудкина».

Печатая шаг, по-строевому подошел к столу начальника связи, приложил руку к головному убору и начал:

— Товарищ генерал! . .

Но генерал не унимался:

— Да брось ты! С командующим запросто чаи распиваешь, а перед каким-то генералишкой вытягиваешься. Ну право, мне даже неудобно. . .

Я уже давно убедился, что от связистов невозможно что-либо скрыть. Просто непостижимо, как они порой умудряются

узнать то, что никак не может просочиться в телефонную трубку. Кажется, укуси начальство блоха, и связист точно скажет: когда это произошло и в какое место начальник был укушен. Поэтому мое злополучное чаепитие с командующим не могло оставаться в секрете больше пяти минут.

Стараясь быть точным и ничего не скрывая, я рассказал генералу о своем невероятном визите к командующему, и генерал смягчился:

— Тогда все понятно. Командующий думал было меня поддеть — что ж, дескать, хлопаешь глазами — не просишь тягачей под радиостанции. . .

Но он, оказывается, этот вопрос уже ставил перед начальником штаба, о чем и доложил генерал-полковнику. Теперь он потирал руки от удовольствия.

— Вообще-то неплохо, что ты посетил командующего. Это нам на руку. Я не смел много машин запрашивать. Теперь буду просить больше.

По дороге в роту меня перехватил Дудкин:

— Товарищ капитан! Когда меня откомандируете?

— Никогда, товарищ Дудкин!

Шофер понуро опустил голову, чувствуя, что рушится его надежда улизнуть из роты на фронт. Но он еще не сдавался:

— Так ведь командующий приказал.

— Приказ отменен, Дудкин!

— Кто же отменил? Наш генерал не имеет права.

— Правильно, по уставу приказ может отменить только тот, кто его отдал, или старший начальник.

— Вот именно, — обрадовался Дудкин.

Но я продолжал, не обращая внимания на его восклицание:

— Следовательно, приказ отменил сам командующий. . .

Дудкин недоверчиво посмотрел на меня. Чтоб окончательно рассеять его сомнения и похоронить робкие надежды, которые он еще питал, сказал ему в заключение:

— Командующий велел передать тебе, чтобы впредь ты ему дорогу уступал и соблюдал правила вождения автомашины, понял?

— Понял, товарищ капитан! — вздохнув, ответил Дудкин.

А через неделю он погнал свою радиостанцию в автомастерские для перестановки на новую машину. Однако я не заметил, чтобы он был в восторге от этого. Ему жалко было расставаться со своим старым, неприхотливым «газиком».

Виталий Горбатюк

ИЗ НЕВЫДУМАННЫХ РАССКАЗОВ

СОЛДАТЫ

Вначале все было как во сне. От моей великолепной прически не осталось и следа. Взглянул я на себя в зеркало. Пучеглазый какой-то стал, смешной-пресмешной.

Подошел дружок, с которым вместе ехали с призывного пункта.

— Точно глобус, — хихикнул он, поглаживая себя по шершавой стрижке.

Но больше всего меня злило, что определили в пехоту. Денис, мой однокашник, с которым вместе в школе учился, тот вон попал в танкисты. Тоже не бог весть что, но все же...

Яков Паламарчук, очень веселый сержант, заметив мой унылый вид, проговорил:

— Что с вами, рядовой Ветлов? Мотострелку скисать не положено. У мотострелка самая что ни на есть героическая профессия.

«Тоже мне — героическая», — почесал затылок я.

— Берите пример с Бегункова, — добавил сержант.

Бегунков действительно всех удивлял. Фамилия точно соответствовала его характеру. Он так живо справлялся на занятиях, особенно по физподготовке, что даже выдавшие всякое командиры качали головой. Бегункову кроссы бегать было все равно, что мне в столовой свою порцию съесть.

Так вот этот самый Бегунков обставлял нас, новичков, по всем статьям на длинных и коротких дистанциях. Зависть не

зависть, но было не особенно весело, когда Паламарчук, показывая на Бегункова, только причмокивал:

— Ай да орел! Вот так всем бы бегать.

Как будто от этой беготни вся служба зависела. Но гонял нас сержант порядочно. И спуску не давал. Чуть поотстанешь, сразу раздается зычный голос:

— Подтяни-и-ись, пехота!

Ох, этот Паламарчук! Хитрущий-прехитрущий. И так-то он тебя умастит и уговорит, что деваться некуда.

Как-то раз на кроссе чувствую, что сдаю. Не дотянуть до финиша, и все тут. Бегункова и след простыл. А я в хвосте. Злость меня взяла. Поднажал. Но чувствую, дыхания не хватает, ноги стали ватными. Засеменил.

Вдруг, как из-под земли, Паламарчук:

— Что же так, рядовой Ветлов?

Я молчу, едва плетусь.

Паламарчук подхватил меня под локоть:

— Дыхание ровней и глубже.

Сержант втянул в себя холодный воздух и залпом выдохнул.

— Немного осталось. Не подводи отделение, Антон, — с придыханием сказал сержант.

Еще какое-то время он тащил меня на буксире. Потом я почувствовал, что ноги и руки и все тело как бы наполнились новой силой. И легко стало. Побежал быстрее и быстрее.

Летели дни за днями. Пообвыклись мы, молодые солдаты. И волосы отросли. Да и кроссы стали для меня обычным делом. Выглядел я на них теперь не хуже самого Бегункова. Но в остальном пока радостного было мало.

Особенно трудно привыкал к строгому распорядку дня. Любил я дома подольше понежиться в постели. Поднимался по утрам без будильника — мать обычно стаскивала с меня одеяло и причитала, какой я лежебока, и при этом говорила, что скоро кончится моя малина. В армии, мол, приучат к порядку.

Что правда, то правда. Перво-наперво по сигналу «подъем» стаскивал с меня одеяло Бегунков. Я его за это потихоньку поругивал, но в душе благодарил, что спасал он меня от наряда вне очереди за нарушение распорядка дня. Позднее привык к утреннему голосу дневального и быстро прощался с теплой солдатской постелью.

Изредка были и ночные подъемы. Однажды по учебной

тревоге ездили на железнодорожный вокзал разгружать груз, прибывший для части. А еще в другой раз лопнула водопроводная труба. Вода фонтаном хлестала, заливая все вокруг.

Спросонья, протирая руками глаза, мы бросились на улицу. Водопроводную трубу перекрыли, и разбушевавшийся фонтан поутих. Мы принялись за смёрзшуюся землю. Каждому отвели участок в полтора метра. Не много это, но и не мало. Долбили землю ломами до утра.

Смотрю на Бегункова. Он почти добирается до трубы. А у меня пока все беспросветно. Руки наливаются кровью, гудят. Лом не слушается, выскользывает. Я вспомнил о рукавицах, которые забыл в казарме.

Бегунков закончил свою работу, выскочил из траншеи — и ко мне:

— К завтрашнему утру справишься. Давай помогу?

— Сам как-нибудь, — буркнул я недовольно.

— Да чего уж там...

Вдвоем мы вскоре одолели цементированную землю. Отдышавшись, затаились сигаретой.

Появился Паламарчук. Строго окинул взглядом нашу работу, расплылся в улыбке:

— Вот это по-нашему...

Сержант зашагал дальше, а мне было ой как приятно. И не потому, что Паламарчук нас похвалил за выполненное задание. В душе у меня все круто перевернулось. И даже стыдно стало за то, как относился я к Бегункову. Мне все время казалось, что он из кожи вон лезет, выслуживается. Сержант при каждом удобном случае нахваливал Бегункова, ставил в пример. Меня же почти не замечал.

— Хороший ты парень, Валя, — сказал я Бегункову.

— Ты чего это? — уставился он.

— Да так, понимаешь, пришло в голову.

— Ну, хватит философствовать. Забирай лом — и айда на завтрак.

С Бегунковым мы стали закадычными друзьями. И не раз он меня выручал.

И как-то на учениях бороздили мы раскисшие от слякоти и мокрого снега полигонные дороги. Перебирались от одного рубежа к другому, штурмовали безымянные высоты. Все шло хорошо. Но в одном месте застряли намертво.

Молоденький водитель Михаил Шевчиков лихо направил транспортер между двумя огромными валунами. Затем по-

чему-то резко тормознул, и наша машина, чихнув раз-другой, остановилась.

Выглянул сержант Паламарчук, за ним — остальные солдаты. Мать честная! Глазам своим не поверили: бронетранспортер наполовину окнулся в глубокую яму, наполненную до краев водой.

Слева от нас остановился транспортер соседнего взвода. Паламарчук замахал рукой, подзывая на помощь.

Шевчиков достал трос, размотал его, размышляя над тем, как лучше подцепить на крюк.

— Разрешите, товарищ сержант? — спросил Бегунков.

Паламарчук кивнул головой.

Бегунков сбросил с себя шинель, положил в сторону автомат, снаряжение, захватил конец тяжелого троса. Я и ахнуть не успел, как Бегунков скрылся под водой.

Прошло с полминуты. Бегунков все не показывался на поверхности воды. В одно мгновение я рванул с себя шинель и бултых в воду. Барахтаясь и захлебываясь, нащупал в воде Бегункова. Но тут же мы вместе оказались на поверхности.

— Ты чего? — зло выпалил Бегунков.

— Как чего? Думал...

— Давай на берег и поддержи лучше трос.

И он снова окнулся в студеной купель.

Прошло еще некоторое время. Нашу машину подцепил соседний транспортер, вытащил из ямы. Мы с Бегунковым быстренько вынули из вещмешков запасное белье, переоделись. Все закончилось благополучно. На привале только и разговоров что о нас. Командир роты объявил нам с Бегунковым благодарность и сказал:

— Вы поступили, как настоящие солдаты.

Затем нас ждала аппетитная гречневая каша с мясом. Уплетали за обе щеки. Бегунков вдруг посмотрел на меня, на мой быстро опустевший котелок, взял его у меня из рук:

— Пойду за добавкой...

ТИХОЕ ПОЛЕ

Сухощавый комбат приглушенно кашлянул, распрямил плечи, приосанился. Время было позднее. Офицер еще раз прикинул, все ли он сделал, не упустил ли чего, и шагнул к двери.

Затрещал телефон. Комбат повернулся и нехотя потянулся к трубке. Говорил дежурный по военкомату. Просил помощи. В деревне Осельково произошло несчастье: подрвался на mine пастух. О том, как это случилось, дежурный ничего определенного сказать не мог. Офицер пообещал с рассветом выслать в Осельково саперов.

.. Земля еще стыла в дремотной лени. Выстукивая барабанную дробь, как бы нехотя катил по цементированному проселку новенький «ГАЗ». Молоденький водитель Николай Захарчук жмурился от пронзительных солнечных бликов, сверкавших на лобовом стекле, изредка перебрасывался словами с лейтенантом Гуциным. Офицер молчал, отвечал Захарчуку кивком головы.

За последние две недели Гуцин вот уже в третий раз выезжает на разминирование. Лейтенант размышлял над тем, что наступит время, когда не останется в земле не только ни одного снаряда, но и самого маленького осколочка. И люди будут спокойно ходить, не думая о том, что где-то под ногами притаилась смерть.

Машина подкатила к деревне, замедлила ход. Разом во дворах забрежали собаки. Из ближайшей калитки вывалили и бросились с лаем наперерез машине два огромных волкодава. И наседали, наседали.

Из кузова показалась голова.

— Да цыть же вы, ошалелые, — махнул на собак рукой сержант.

Но собаки не отстали, пока машина не остановилась у домика сельсовета.

От крыльца торопливо шел немолодой мужчина.

— Это они со вчерашнего дня так взбесились. Ихнего хозяина покалечило, — бросил он на ходу, показывая на волкодавов. И протянул лейтенанту руку: — Петров. Никодим Иванович. Председатель сельсовета. Беда у нас, дорогие товарищи. Возвращался парень с поля со стадом и подрвался.

— Где это случилось? — спросил лейтенант.

— Тут, неподалеку. Я вас провожу.

По дороге Никодим Иванович сообщил, что в этих местах воевал и что знает здесь каждый кустик, каждый бугорок. Предполагал он, что в земле остались неразорвавшиеся снаряды и мины.

Подъехали к порыжевшему и выцветшему за лето при-

горку. Побуревшая трава была покрыта налетом холодной росы. Над полем висела немая тишина.

Саперы, собрав свое имущество, стали прочесывать пригорок и его окрестности. По словам Петрова, именно тут проходили бои, да и вчерашняя трагедия, происшедшая у пригорка, подтверждала, что поиски следует начинать на этом месте.

В наушниках миноискателей монотонно звучали зуммеры. Саперы расположились уступом в линию. Впереди — лейтенант Гущин, за ним — почти двухметрового роста прапорщик Андрей Строганов, и дальше шел сержант Куропаткин. Они осторожно поводили вправо и влево, будто хоккеисты клюшкой, поисковыми рамами. Изредка кто-нибудь из них останавливался, напряженно вслушивался в изменявшийся тон зуммера, втыкал в землю металлический флажок и продолжал поиск.

К полудню, когда солнце переключалось на вторую половину небосклона, саперы в первый раз присели. Изрядно перемазавшись землей, они полукольцом распластались у пригорка. Дымили молча. И враз, как по команде, поднялись.

— Андрей, останешься здесь. Осмотри еще раз все, а мы займемся «гостинцами», — распорядился лейтенант.

Андрей, смуглолицый прапорщик, долгим взглядом проводил уходящий к крутояру «ГАЗ», в кузове которого на песчаной подушке были уложены полтора десятка немецких мин и снарядов. Затем он медленно подошел к зиявшей темно-пепельной воронке от вчерашней разорвавшейся мины. Постоял и невольно кинул взгляд в сторону деревни. Оттуда катились две черные точки. С каждой секундой они разрастались, и теперь Андрей отчетливо видел тех самых двух волкодавов, которые надвигались с невероятной прытью. «С чего бы это?» — подумал он. И как ужаленное дернулось у него плечо. Он даже отпрянул назад и оглянулся туда, куда ушла машина. Но тут же взял себя в руки.

Расстояние между ним и собаками все сокращалось и сокращалось. И когда между ними остались считанные метры, тихое поле разразилось оглушительным, дробящим взрывом, раскатистым эхом, донесшимся от крутояра.

Замер на мгновение Андрей. Остановились как вкопанные собаки. И залаяли в бездонное небо.

Первым оживился человек. Понял — все в порядке, товарищи взорвали мины. Поле снова стало тихим и безмятежным.

Пришли в себя волкодавы. Вильнув хвостами, они приблизились к темно-пепельной воронке, обнюхали ее, поскребли лапами, прилегли, тяжело дыша.

Андрей смотрел на собак, и вдруг его охватило какое-то невыразимое чувство сострадания к животным. Он присел на корточки, погладил одну, затем другую собаку и только сейчас разглядел, что рядом на бруствере и в самой воронке валялось множество стреляных гильз. Невольно его взгляд остановился на одной из них, со сплюснутым дульцем. Андрей приподнял ее, повертел в руке и опустил на землю. Гильзы в большинстве своем были искорежены, разорваны, очевидно, вчерашним взрывом.

Андрей размышлял, как могло все это произойти. Быть может, пастух нашел одну из патронных гильз, стал рыть землю и наткнулся на мину, а может быть, что другое...

Андрей снова посмотрел на сплюснутую гильзу. Она торчала вверх капсюлем, который был, к его великому удивлению, целым и невредимым.

Собаки еще немного полежали, потом медленно, след в след, засеменили к деревне. Андрей тем временем разжал сплюснутую гильзу и извлек из нее крохотный клочок бумаги. Губы его задрожали, глаза не верили тому, что можно было разобрать из оставшегося текста на выцветшей, пожелтевшей бумаге. Но то, что за последней, стершейся строчкой: «Умрем, но...» отчетливо сохранилась подпись: «Старшина Строганов Алексе... Осип...», подпись его без вести пропавшего отца, — это был факт неоспоримый...

Анатолий Храмутичев

* * *

Воркута. Воркующее слово.
Вот куда спустились с поднебесья.
Обогрелись, выспались, и снова
вертолет заводит свою песню.

К Северу летим, навстречу осени,
но уйдут из памяти едва ли
пара лебедей на тихом озере,
пара чумов на крутом увале.

Припаду к округлому окошку,
чтобы и отсюда разглядеть,
как бредет за спелую морошкой
одинокий, сумрачный медведь.

Экипаж — старательная троица,
в недоступных слуховых шеломах, —
грозового облака сторонится,
над горой проходит эшелоном.

Горы подползают к волнам шалым,
в море окунаясь с головой,
чтоб далёко за Югорским Шаром
объявиться Новою Землей.

* * *

Займища, рощи, урочища,
вас не спалила война.
Вслушаться, вдуматься хочется
в звучные имена.

Где-то у старой колодины
Рось начинает разбег.
Древние тайны Родины
дремлют в названиях рек.

Новые дали осваивая,
из неприметных пока
жизнь отбирает названия,
чтоб сохранить на века.

Евгений Александров

* * *

Мне дали место у станка:
— Стой посреди круговорота... —
А я считал: кишка тонка.
Считал: не для меня работа.

Соцобязательства и нормы.
Проценты. Планы... Шум и гам.
Но я стоял огнеупорно...
И пот катился по щекам.

Не очень многого добился.
Не очень-то разбогател.
Но я душою распрямился,
Я звезды века разглядел!..

Анатолий Жульков

* * *

Иду сквозь полумрак густой
В погожий августовский вечер.
Плывет хлебобв ржаной настой
С полей заречных мне навстречу.

Врезаясь фарами во тьму,
Гудят, торопятся комбайны.
И сразу видно по всему:
Год нынче выпал урожайный.

Чтоб годной рожь была вполне,
Чтоб янтареи переливалась,
На каждом вызревшем зерне
Лучами солнце расписалось.

* * *

Просыпался рано на заре,
В час, когда туман редел над бором
И кричали бойко на дворе
Петухи разноголосым хором.

Соловьи звенели в ивняке
Под листвою сочною, густою,

И купалось облако в реке,
И горело — ярко-золотое.

Стыли травы в капельках росы,
Нежные, зеленые созданья,
И не знали, что удар косы
В одночасье их смертельно ранит.

Штурмовали пустошь трактора,
Спор ведя с упрямой целиною. . .
Жизнью, растревоженной с утра,
Открывался мир передо мною.

Николай Пудиков

НА ТАЕЖНОМ ПЕРЕГОНЕ

ПОВЕСТЬ

1

От станции Дениславль до разъезда Черный Волок было двенадцать километров. На этом перегоне, в пяти километрах от Дениславля, в двух рубленых старых домах жили рабочие-путейцы.

Одну половину двухквартирного дома занимала чета пенсионеров — Василий Никитич и Анна Семеновна. Правда, Василий Никитич хоть и получал пенсию по старости, но поста путевого обходчика пока еще не покинул.

В другой половине этого дома хозяйничали две двадцатисемилетние девушки Зина и Валя, перешедшие в ремонтную бригаду из мостопоезда несколько месяцев назад. Обе они были пересмешницы, хотя никогда не смеялись зло. Просто любили они над кем-нибудь безобидно позубоскалить. И, несмотря на превратности своих судеб и скитальческую жизнь, девчата не унывали. Их не очень-то смущало и то, что из-за какой-то там несчастной пачки сигарет приходилось пересчитывать шпалы до Дениславля. Не собирались же они здесь куковать до старости. . .

А вот в однокомнатном домике коротали время трое парней, недавно прибывших сюда по распределению после окончания железнодорожного училища: Алька Басов, Сенька Пинаев и Юрка Шмелев.

Шла вторая половина августа.

Ранним субботним вечером парни лежали на койках поверх

одеял и читали книги. В Дениславль они идти не собирались, потому что на ужин у них были и хлеб, и концентраты, и тушенка, а фильм, который показывали сегодня в Дениславле, они уже видели. Книги в библиотеке ребята поменяли всего два дня назад. Плохо, что не запаслись сигаретами, маху дали, но ни Сенька, ни Юрка ни за что бы не пошли на станцию ради одних сигарет. Альке хорошо, он не курит, а остальным каково? . .

Тишину комнаты нарушал только шелест страниц да изредка скрип койки, когда кто-нибудь поворачивался с боку на бок.

— Гм, вот здорово! — подал голос Юрка Шмелев, читавший довольно потрепанную книгу Панаса Мирного «Разве режут волосы, когда ясли полны?». — Послушайте, как написано: «— Чипка! — крикнул Лушня. — Да ты не рехнулся ли? Какого черта ты катаешься и рвешь на себе волосы?»

Неожиданно раздавшийся смех привел Чипку в себя.

— Братцы! — произнес он жалобно, как ребенок. — Хоть чарочку... хоть капельку... Хоть капельку, а то пропаду! Жжет меня... давит... Пить мне... пить!

— Ну и пей, дурень! — крикнул Лушня, подавая ему штоф водки». Ну как?

Алька с Сенькой молча переглянулись и усмехнулись.

— Эх, пропустить бы сейчас стаканчик портвейна, — сказал Юрка, поднимаясь с койки. Он положил открытую книгу на стол и, похлопав по карманам брюк, спросил:

— Сенька, сигареты есть у тебя?

— Нет, ты же знаешь.

— Я забыл.

— Сходи к Зинке, даст сигаретку.

— Не пойду. Я у нее и так полпачки выкурил.

— Тогда прогуляйся до Дениславля.

— Вот еще, — недовольно проворчал Юрка и, согнув лоточком листок отрывного календаря, стал выковыривать из щели пола трубочный табак.

— Еще два захода, и мне хватит табаку на козью ножку, — сказал Юрка, сидя на корточках.

— Оставишь и мне затянуться, — сказал Сенька, позавидовав находчивости Юрки.

— Посмотрим, — нехотя отозвался Юрка. Он закурил, взял в руки книгу и снова вытянулся на койке. Но тут зазвонил селектор.

— Это тебя, бригадир, — сказал Сенька, не пошевелившись на койке. — Наверно, Денисов интересуется, как у нас дела.

— А чтоб прокис этот мастер! — раздраженно проворчал Юрка и повернулся на другой бок. — Опекает, как детей. Будто без него не знаем, что и как делать... Сенька, возьми трубку.

— Ему же бригадир нужен, ты и возьми, — промычал Сенька.

— Значит, курить не получишь, — пригрозил Юрка.

Селектор настойчиво звал к себе, и Алька, не выдержав, встал с койки и подошел к аппарату.

— Да, семьдесят второй слушает!

С минуту Алька молчал, слушая, потом сказал:

— Хорошо, сейчас передам.

— Денисов? — спросил Юрка.

— Нет. Дежурный из Дениславля... К нашим пенсионерам внучка приехала. В гости. На станции сидит. Встретить надо.

— Сама дорогу не найдет, что ли? — сказал Сенька.

— У нее чемодан тяжелый, — ответил Алька. — И сетка. Пойду скажу старикам.

— Они же все равно сами не смогут встретить, — сказал Сенька.

— Надо с майдероном идти, — заметил Юрка. — Большая внучка-то? В смысле, взрослая?

— Студентка.

— Да? — удивился Юрка. Он проворно соскочил с койки и подал окурок Сеньке. — Я пойду встречу. Заодно и сигарет куплю. Прогуляться до Дениславля — пара пустяков. Это мы мигом. Час туда, час обратно, — оживленно говорил Юрка, зашнуровывая ботинок.

— За два часа не обернешься, — сказал Алька, ложась на койку.

— Это почему же? — насторожился Юрка.

— Хромая эта студентка, — пошутил Алька. — Ходит медленно. Может, ее вместе с чемоданом придется везти на майдероне.

Сенька разочарованно присвистнул, а Юрка сморщился и стал медленно снимать ботинки.

— Ногу вчера натер, — пробормотал Юрка. — Распухла, кажется. Ходить не могу.

Алька с Сенькой переглянулись и усмехнулись.

Юрка затолкал ботинки под койку и, больше не сказав ни слова, лег и уткнулся в книгу.

— Что ж, придется идти мне, — сказал Алька и стал одеваться.

— Не забудь сигарет купить, — обрадовался Сенька.

— Не влюбись в студентку, — напутствовал Юрка, не отрываясь от книги.

— Постараюсь, — усмехнулся Алька.

После его ухода ребята некоторое время молчали. У Юрки на душе стало как-то скверно. Ему уже не читалось. Койка под ним беспрестанно скрипела. Он думал о том, что здесь, «в этом захолустье», ему предстоит прозябать два долгих года, в то время как его сверстники будут служить в армии. А после армии надо будет приобретать другую профессию, так как он давненько понял, что бригадир пути — не его призвание. Уж слишком туманно он представлял себе эту профессию при поступлении в училище.

Юрка встал, выпил на кухне кружку воды, вернулся в комнату и остановился у Сенькиной койки.

— Ну почему мы здесь торчим? — раздраженно спросил Юрка.

Толстый, неповоротливый Сенька оторвался от книги и непонимающе захлопал глазами.

— Да, почему мы здесь? — вопрошал Юрка. — Почему не по своей воле я должен два года забивать костыли в шпалы? Не-е-ет, вы с Алькой как хотите, а я отсюда сметаюсь.

Он заметно нервничал и говорил повышенным тоном, будто с ним спорили. Он прошелся взад-вперед по комнате и, присев на корточки, стал бумажкой выскребать табак из той же щели в полу.

— Смотраться отсюда не плохо бы, но кто отпустит? — лениво отозвался Сенька, наблюдая, как Юрка сворачивает козью ножку.

— Ничего, отпустят, — заверил Юрка. — Надо сделать так, чтобы они сами тебе предложили убраться. Не угодить начальству раз-другой — вот и все. Собирай чемодан.

— Характеристику плохую дадут, — вслух подумал Сенька.

— Плевал я на их характеристику! В армию с любой характеристикой возьмут. А там можешь показать себя хоть гением... Если ума хватит.

— Надо подумать, — сказал Сенька и, поднявшись с койки, стал добывать табак на самокрутку по методу Юрки.

— Только учти: я тебя не агитирую, — развалившись на койке и затыгиваясь козьей ножкой, сказал Юрка. — Я сам по себе. А когда я помашу вам ручкой, тебя или Альку назначат бригадиром. А другого переведут куда-нибудь...

— Я здесь останусь, — сказал Сенька, выпустив изо рта дым. — А то поселят километров за десять от станции, так взвоешь.

— Смотри, тебе виднее.

2

Алька зашел в помещение дежурного по станции и увидел девушку, сидевшую на стуле. Рядом стоял небольшой чемодан, а к нему была прислонена чем-то набитая капроновая сетка.

— За гостьей? — кивнул на девушку дежурный, пожилой мужчина.

— Да, я с семьдесят второго, — сказал Алька.

— Вы за мной? — обрадовалась девушка. Она быстро поднялась с места, засуетилась, стала поспешно поправлять свои короткие черные волосы, синюю кофточку, потом схватилась за чемодан, но Алька молча отстранил ее руку.

— Пошли, — сказал Алька и направился к двери.

Девушка подхватила сетку и последовала за ним, но у дверей обернулась к дежурному:

— Спасибо вам большое. Извините за беспокойство.

— Пустяки, — махнул рукой дежурный. — Передай, дочка, привет деду с бабкой. От Михалыча.

— Хорошо, передам, — улыбнулась девушка и вышла на улицу.

Пройдя несколько шагов, Алька остановился и опустил чемодан на землю.

— Подождите меня здесь, я куплю сигарет, — сказал Алька и побежал в железнодорожный магазин.

Купив шесть пачек «Шипки», Алька рассовал их по карманам и вернулся к девушке.

— Зря вы бегали за сигаретами, — сказала она Альке. — У меня целых три пачки «Столичных». Не верите? Я ведь иногда курю. Только не говорите об этом бабушке и дедушке, а то они сердиться будут.

— Ладно, — усмехнулся Алька и спросил: — Как вас звать?

— Давайте познакомимся. Меня зовут Галей, — улыбнулась девушка и протянула Альке маленькую загорелую руку.

— Алька, — сказал Алька и пожал Галину руку, заметно смутившись.

— Признаться, я не думала, что меня придет встречать... чужой человек, — сказала Галя. — Что-нибудь случилось с нашими? Они здоровы?

— Василий Никитич приболел немного, а Анна Семеновна утром приходила сюда... В общем, я не сказал о вашем приезде.

— Значит, они не знают, что я приехала?

— Нет.

— Вот будет для них сюрприз! — радостно воскликнула Галя. И тут же, немного посерьезнев, добавила: — Спасибо вам, что встретили меня. А то как бы я одна...

— Пожалуйста, — не оборачиваясь к семенящей за ним Гале, отозвался Алька. — Я ведь это так... Шел за сигаретами сюда.

Они пришли к тому месту, где на обочине запасного пути Алька оставил привезенный им майдерон. Когда Алька взгромоздил его на рельс, Галя искренне удивилась:

— Ой, какая смешная тележка! Я такой, кажется, никогда не видела. А может, забыла. Я ведь здесь не была уже четыре года.

— Майдерон называется, — сказал Алька. — На нем инструмент возим, а если понадобится, то и шпалы.

Он положил на него вещи и кивнул девушке:

— Все в порядке. Пошли.

Тихо и монотонно загудели колесики майдерона. Алька шел размашистым шагом, ступая и по шпалам, и по балласту между шпал; в своих кирзовых сапожищах ему было все равно. Зато Галя в модных туфельках частила по шпалам, наступая на каждую, и быстро утомилась, раскраснелась и стала отставать от Альки. Он обернулся, увидел, что Галя далеко отстала, и остановился.

— Я совершенно не умею ходить по шпалам, — виновато сказала Галя, подходя к Альке.

— Да нет, это я расшагался...

Дениславль остался за спиной уже в двух километрах, и по обеим сторонам железной дороги возвышалась мрачная тайга.

Солнце садилось. Его лучи освещали желтым, неярким светом только макушки вековых елей и сосен.

Теперь Галя шла впереди Альки, по рельсу, балансируя руками и часто оступаясь. Синяя кофточка и темные брюки изящно облегли ее невысокую, плотную фигурку. Алька не сводил глаз с Гали, любуясь ею, и ему вдруг захотелось взять ее на руки и отнести домой вместе с вещичками. Но тут Галя обернулась и весело спросила:

— Алик, вы давно там живете?

В первый миг Алке показалось, что Галя угадала его мысли, но о другом спросила только из приличия, чтобы не смущать его. Он весь вспыхнул, но, придя в себя, проговорил:

— Второй месяц. Нас здесь трое ребят. После училища...

— И вам не скучно?

— Когда как. Но в общем-то ничего, терпимо. Летом здесь хорошо. Зимой, наверно, будет тоскливо.

— А работа вам нравится? — спросила Галя.

— Да я, пожалуй, не задумывался над этим. Но, наверно, нравится. Я ведь никогда не думал о другой профессии. Еще в детстве знал, что стану железнодорожником. А из игрушек у меня были почти одни паровозы.

— И сколько лет вам нужно отработать?

— Два года.

— Да? Это же пустяк. У нас срок будет больше. Я учусь в строительном институте. На второй курс пойду. Живу в Ленинграде. Нас тоже, наверно, направят работать куда-нибудь в тайгу. Но я не боюсь. Везде же люди живут, правда? К тому же важнее работа, а не местожительство. Если же выполняешь работу не по призванию, то она ведь в тягость тебе. Правда? И часто человек от этого начинает хандрить и ныть, перестает верить во все доброе. Разве не так? А вот мама никак не хочет понять, что строитель — мое призвание. Она уже заранее меня оплакивает. Боится, что я потом далеко от нее уеду. Поэтому она была против строительного. Хотела, чтобы я стала искусствоведом или историком. Но ведь искусствоведение — не главное для меня, а всего лишь увлечение. Смешно вспомнить, но она и на два-то месяца меня провожала со слезами. Я ведь была в строительном отряде. А теперь по пути в Ленинград решила навестить бабушку с дедушкой. Я так по ним соскучилась!..

Галя была жизнерадостная, восторженная, и казалось, что она вот-вот от счастья запрыгает на одной ножке.

— А как было хорошо и весело в отряде, если б вы знали! — воскликнула она. — Это же настоящий отдых! Мы там колхозникам давали концерты, часто жгли костры, пели, смеялись... В общем, так было здорово! Всего не расскажешь... И работали мы здорово! Один наш отряд за два неполных месяца построил детские ясли и свинарник. Нас так благодарили колхозники! Ну, правда, мы все это сделали на совесть. Свинарник мы так отделали, что хоть сам живи в нем. Как дворец, честное слово! Не верите? А уж о яслях и говорить нечего. Мы, девчонки, за это время заработали по триста сорок рублей! А ребята еще больше. Представляете? Это мой первый в жизни заработок! Мама, конечно, разрешит мне половину этих денег потратить по своему усмотрению. Не верите?

Алька шел не спеша, слушал эту прелестную девчонку и в душе проклинал себя за то, что пошел встречать ее в сапожках и замусоленной вельветовой куртке, в которой обычно ходил в лес за грибами. Будто нельзя было принарядиться. Пусть бы поухмылялись Юрка с Сенькой, но ведь его-то не убыло бы от этого.

Когда они подошли к домикам, было еще довольно светло, и Алька заметил физиономии Юрки и Сеньки, прильнувшие к стеклу. Алька свернул влево, на другую тропинку, и домик ребят остался за его спиной. Галя следовала за Алькой и ребят не заметила.

— А здесь, кажется, ничего не изменилось за четыре года, — сказала Галя.

— А что здесь может измениться? — усмехнулся Алька, поставив чемодан на крылечко.

Скрипнула дверь, и из дома бойко вышла Анна Семеновна.

— Никак Галя? — всплеснула руками старуха.

— Я, бабушка, я! — обрадовалась Галя и кинулась в ее объятия.

— А я смотрю в окно, ты это или не ты. Уж, думаю, не мерщится ли мне, старой. Да и узнать-то тебя не просто. Совсем невестой стала! — волновалась Анна Семеновна. — Так ты чего не написала, что приедешь-то? Или хоть бы со станции позвонила, встретили бы.

— А я звонила. Привет вам от Михалыча! — весело сказала Галя. — Меня Алик встретил. С тележкой за мной приехал.

— Ах ты господи! Чего ж ты мне не сказал? — повернулась старуха к Альке.

— Сюрприз хотел преподнести, — сказал Алька. — Пойду я... До свидания.

— Ну спасибо тебе, сынок, — сказала старуха.

— Заходите к нам, Алик! — крикнула Галя. — Не стесняйтесь! Я погощу дней десять!..

— Ладно! — откликнулся Алька.

Юрка и Сенька встретили его громким гудом. Алька хотел быть серьезным, но это ему не удалось — расплылся в широкой улыбке, махнул рукой:

— Да хватит вам!

— Сигарет принес? — тотчас же осведомился Сенька.

Алька вытащил из карманов все шесть пачек «Шипки» и швырнул на стол.

— Алька у нас — отец родной! — воскликнул Сенька, потянувшись за сигаретами. — Качнем его?

— Вставить неохота, — отозвался Юрка. — Вот студентку я бы качнул. Как ее звать?

— Галя, — ответил Алька.

— Напрасно интересуешься, — усмехнулся Сенька. — Упустил ты ее. Зря поверил, что хромая... Она в Альку вторилась.

— Хороша, черт возьми, — не обращая внимания на слова Сеньки, мечтательно произнес Юрка. — За такой товар я бы всю получку отдал. И аванс.

— Какой ты щедрый! — нарочито изумился Сенька. — Но учти, что она тебе не по зубам. Это тебе не Тоська-размазня. Кстати, она, наверно, уже колыбельные напевает... Дружили, называется... Ну, а до Гали тебе не добратся. Так сказать, не хватит интеллекта завоевать ее расположение.

— И откуда ты все знаешь, философ? — презрительно глянул Юрка на приятеля. — Если на то пошло, то мы еще посмотрим... Не таких убаюкивали...

— Ну это ты брось! — рассердился Алька. — Я тебе не позволю!..

— А ты-то чего психуешь? — удивился Юрка. — Жениться на ней собрался, что ли?

— Может, и жениться! — с вызовом сказал Алька. — А ты о ней не мечтай. Для тебя она слишком чиста. Понял?

— Да плевал я на всех вас чистеньких с высокой горы! — сверкнул глазами Юрка и повернулся к стенке.

Юрка стал замечать, что после работы, «прибарахлившись», Алька стал потихоньку исчезать из дому. Хоть больше и не заводили они разговора о Гале после той ссоры, но Юрка догадывался, что Алька проводит вечера в ее обществе.

Все увидели перемену в Альке. Уж очень странно вдруг повел он себя: подбойкой махал играючи, не уставая, костыль в шпалу загонял с одного удара, а идти в Дениславль за продуктами вызывался сам, однако домой с покупками возвращался далеко за полночь.

В присутствии Альки Юрка с Сенькой делали вид, что им безразлично, где пропадает их товарищ, но зато без него Сенька то и дело «заводил» Юрку, подтрунивая над ним по поводу его «беззубости», «уступчивости» и «мягкотелости». Юрку это бесило, и он, вконец обозлившись, приказывал Сеньке заткнуть глотку.

На работе Юрка много балагурил, но Альку старался не замечать даже при Гале, когда та неожиданно пришла на семьдесят четвертый километр, где работала бригада.

Галя попросила Юрку дать ей поработать суфляжом, и тот великодушно разрешил.

Суфляж — кусок жести, длиной чуть больше метра, а шириной двадцать сантиметров. На суфляж насыпается балласт специальной банкой с делениями и тонким слоем укладывается под шпалы приподнятого домкратом пути. Суфляж, инструмент, много лет назад запрещенный, Юрка нашел в кладовой и воспользовался им. Работать суфляжом гораздо легче, чем подбойками, но как ни старайся, а точно не определишь, сколько балласта нужно положить под ту или иную шпалу. И оттого многие шпалы на балласт ложились неплотно, провисали.

Алька был против суфляжа, объясняя Юрке, что от этой халтурной работы весь путь зимой окажется в перекосах, а стало быть, замучаешься выправлять их, подбивая под подкладки деревянные карточки. А весной ту же работу придется проделать заново. Но Юрка только сердито отмахнулся от Альки.

Работая, Галя раскраснелась, вспотела и выглядела еще привлекательнее и вроде бы загадочнее. Юрка крутился около нее, все пытался ей помочь, во весь рот улыбался, часто подмигивал и напевал:

Эх, Галка, не мучь меня, Галка!
Галочка, дай ответ.

Под дождем я весь промок,
Но уйти никак не мог,
Галочка, все из-за тебя! . .

Валя с Зиной переглядывались и усмехались. Они уже давно поняли, что Юрка — парень ветреный, несамостоятельный, о чем не раз и говорили ему в глаза. Он, бывало, пытался и их «закадрить», все норовил то одну, то другую обнять и поцеловать, но и Валя и Зина, хотя и смеясь, быстренько его отшивали.

Когда Юрка промурлыкал свою песенку и снова нахально подмигнул Гале, она насмешливо спросила его:

— Юра, почему ты все время моргаешь? У тебя нервный тик?

Все рассмеялись, а Юрка сконфузился, не нашел, что ответить, не очень вежливо взял из рук Гали суфляж и с остервенением стал шуровать балласт под шпалы, хотя бригадир должен только руководить людьми и следить, не приближается ли поезд.

Увлечшись делом, никто и не заметил, как подошел дорожный мастер Денисов, пожилой щуплый мужчина, живший со своей семьей в Черном Волоке.

Увидев в руках Юрка суфляж, Денисов даже забыл поздороваться.

— Откуда это у тебя? — спросил он, кивнув на суфляж.

— В кладовой нашел. А что?

— Как это что? — возмутился Денисов. — Не положено этой железкой работать! Пора бы знать!

— Мало ли что не положено, — буркнул Юрка. — Думаете, подбойкой легко вкальвать? А сколько шпал пройдешь с ней? Смехота!

— Зато намертво. А этой железкой только перекосов наде-лаешь.

— Ну и хрен с ними. Перекосы жрать не просят, — усмехнулся Юрка.

— Ты думаешь, что говоришь?! — взорвался Денисов. — Хочешь поезд под откос пустить?

— Может, и хочу, — ухмыльнулся Юрка.

— Ты что, свихнулся, что ли?! В тюрьму захотел?! — закричал Денисов.

— Может, и захотел. Хоть на готовый хлеб! — хохотнул Юрка.

— Ну, знаешь что?! С сегодняшнего дня я тебя освобождаю от обязанностей бригадира! Зря тебе доверили бригаду!.. Сегодня же доложу о твоих выходках начальнику дистанции.

Остальную часть дня бригадой руководил Денисов.

Всех ошеломило сумасбродство Юрки. Но никто не мог понять мотивировки столь откровенной его дерзости. Озадачило всех еще и то, что снятие с должности Юрку не огорчило. Напротив, он сиял от счастья и чувствовал себя героем дня. Только после того, как ушел Денисов, Юрка не выдержал и сказал во всеуслышание о своем нежелании отрабатывать положенные два года и о стремлении попасть на военную службу ближайшей осенью.

На другой день утром начальник дистанции Коваль неожиданно вызвал по селектору Альку. Справившись о самочувствии и настроении, Коваль попросил Альку приехать к нему в Комариху, где находилось управление дистанции пути.

Хоть Коваль и не сказал Альке по селектору о причине вызова, но Алька догадался, что его хотят назначить бригадиром. Конечно, он знал, что рано или поздно окажется на этой должности, но ответственность ощущал как-то отвлеченно, абстрактно. Лишь сейчас в его груди что-то заняло, зашевелилось.

Коваль, мужчина лет пятидесяти, седой, крепкий, встретил Альку приветливо, поздоровался за руку и усадил его в глубокое кожаное кресло, обтянутое белым чехлом. Никогда еще Альке не приходилось сидеть в таком кресле. . .

Закуривая, Коваль молча разглядывал смущенного Альку, будто оценивая.

— Слышал я о вчерашнем инциденте в вашей бригаде, — наконец заговорил Коваль. — Признаться, меня, старого железнодорожника, он покорибил. . . Какая преступная безответственность! Не ожидал. А мы так надеемся на молодежь! И вдруг такое. . . Кстати, почему Шмелев повел себя так? Ты не знаешь, Басов?

— Он хочет в этом году пойти в армию.

— Вон оно что, — протянул Коваль. — Ну что ж, пусть пишет заявление. Мы его держать не станем. Расстанемся без слез.

Коваль прошелся по кабинету, потом снова сел на стул напротив Альки и сказал:

— Хотим мы тебя, Басов, назначить бригадиром. Не возражаешь?

Алька робко улыбнулся и пожал плечами.

— Знаний у тебя хватит, а вот как насчет морального духа? Не оробеешь? Не задрожат коленки?

Алька еще больше смутился, не зная, что ответить.

— А я тебе так скажу, Басов: если ты будешь честно исполнять свои обязанности, а душа твоя все равно будет ныть, буд-то ты что-то недоделал или сделал не так, как следовало бы, то ты станешь настоящим бригадиром. Стало быть, на тебя можно будет положиться. Значит, ты на своем месте. Кстати, каждый человек должен знать свое место. То единственное, душой и сердцем указанное. А значит, и жить на свете будет радостно. Это уж я из своего опыта знаю. Вот ты сейчас закрой глаза и вообрази, что твой участок находится в отличном состоянии и тяжеловесные поезда могут по нему шпарить с предельной скоростью. Разве в душе не будешь этим гордиться?

— Буду, конечно, — краснея, чуть слышно сказал Алька.

— Я тоже так думаю, — кивнул Коваль. — Ну а уж если ты, скажем, ошибся в выборе профессии, не по велению сердца пошел на железную дорогу, то рано или поздно это выявится, даже может вылиться во что-нибудь нехорошее. Случай со Шмелевым — тому пример. Он явно был не на своем месте. Его душа и сердце наверняка противились, не желали связываться с железной дорогой, а он не послушал их, и вот результат. . .

— Не знаю, выйдет ли из меня бригадир, — тихо промолвил Алька. — Я попробую. . .

— Попробуй. Но только не горячись. Постарайся обходиться без суетливости. Больше хладнокровия. Это очень важно, потому что на железной дороге горячей голове делать нечего. Нам в работе ошибок допускать нельзя. Потому что наша ошибка может обернуться преступлением. Может случиться так, что поезд пойдет под откос. А если еще и пассажирский? Это только представить надо, вообразить! А чтобы ты мог острее ощутить трагичность крушения, представь себе такую картину: на твоем участке поезд ушел под откос. Среди погибших пассажиров оказались и твои родители, ехавшие к тебе в гости. . .

Коваль снова поднялся со стула и стал молча прохаживаться по кабинету, поглядывая на сникшего Альку.

— Ты извини меня, Басов, что я коснулся твоих родных, но согласись: лучше вообразить их жертвами, чем увидеть тако-

выми на самом деле, — сказал Коваль, остановившись напротив Альки.

— Я понимаю, — глухо ответил Алька, не поднимая головы.

— Вот и прекрасно. Это самое главное. Ну, а теперь мне остается пожелать тебе больших успехов в работе. Трудностей не бойся. На первых порах поможет Денисов. Поработаешь бригадиром, отслужишь в армии, приходи снова к нам. Назначим мастером, будешь целым околотком командовать.

На Алькином лице замерцала слабая улыбка.

4

Алька стал бригадиром, и ему все мерещились перекосы, трещины на рельсах и падающие вагоны. Теперь он даже в Дениславль ходил с опаской, будто в его отсутствие на перегоне могло что-нибудь случиться. А однажды, возвращаясь с Галей поздним вечером из кино, Алька все прибавлял и прибавлял шагу. Галя, запыхавшись, семеняла рядом, крепко ухватившись за согнутую Алькину руку. А когда они стали подходить к своему жилью и когда прогрохотал встречный поезд, Алька понял, что его тревоги были напрасны. И оттого ему стало вдруг легко и даже весело. Кажется, ни с того ни с сего Алька вдруг сгрэб Галю своими ручищами и понес, как ребенка. Сначала Галя взбрыкивала ногами, не зная еще, сердиться ей или смеяться, но тут же затихла, обхватив руками Алькину шею, касаясь губами уха, и тихо засмеялась. Ей стало так уютно в сильных руках нежданно-негаданно полюбившегося парня, что она, наверное, впервые в жизни ощутила себя маленькой и беззаботной.

— Отпусти меня, устал же, — прошептала Галя, еще крепче сжимая Алькину шею.

Алька поцеловал Галю и осторожно опустил ее на землю. Притихшие, они долго стояли в более железной дороге, пока их не осветил прожектор выскочившего из-за недалежного поворота поезда. Они сошли на обочину и переждали, пока мимо них с вихрем и оглушительным шумом сплошной черной стеной пронеслись вагоны бешеного товарняка.

— И как только им не страшно! — сказала Галя, когда вихрь и шум улетели вдаль.

— Кому? — не понял Алька.

— Машинистам.

— Привычка.

— Можно бы и потише ехать. Целее бы дорога была.

— Хоть одна за нас, путейцев, заступница нашлась, — рассмеялся Алька, но, посерьезнев, добавил: — Но тут ничего не поделаешь! На железной дороге время дорого. Движенцы надеются на нас, как на себя. Иногда мне кажется, что они настолько в нас уверены, что за скоростями и графиками забывают о нас. Это вроде тех плодов, которые хвастались своей сочностью и красотой, совсем забыв о корнях... Слишком незаметна наша работа. А вот у движенцев — дело другое. Там все на виду. Лишний вагон к составу прицепил — портрет в газете. На минуту график опередил — пожалуйста в президиум.

— Алик, но неужели начальство не понимает, что путейцы — корни дерева? — запальчиво сказала Галя. — Ведь обидно же...

— Ну да ладно, — махнул рукой Алька.

— Но ведь несправедливо же! — не унималась Галя.

— Чего зря расстраиваться?.. Может, и нас когда-нибудь похвалят. Да ведь и дело не в похвале. Главное, чтобы безопасность движения была обеспечена, чтобы спалось спокойно. Этого бы мне вполне хватило.

— И больше ничего?.. — удивилась Галя.

— Не считая тебя, конечно, — заулыбался Алька.

— Я не про то спрашиваю.

— А я все про то же. — Алька снова взял Галю на руки и закружил ее на лужайке около дома.

— Сумасшедший, упадем же! — воскликнула Галя и, спохватившись, прошептала: — Сейчас все сбегутся.

— Все уже спят. Видишь, нигде не горит свет, — сказал Алька и, поставив Галю на землю, поцеловал. — Я боюсь, что ты забудешь меня, когда уедешь отсюда, — промолвил Алька, заглядывая в черноту девичьих глаз.

— Нет, Алик, не забуду, — склонив голову, ответила Галя. — Я буду ждать твоих писем. А когда получишь отпуск, то...

Она вдруг замолчала, устремив тревожный взгляд в темноту.

— Алик, там кто-то стоит, — прошептала она.

— Где? — так же шепотом спросил Алька.

— Вон там, за углом.

— Тебе померещилось.

— Нет. Кто-то вышел из-за угла и опять скрылся за ним.

— Пойду посмотрю, — сказал Алька.

— И я с тобой, — испуганно произнесла Галя и, не отпуская Алькиной руки, двинулась за ним.

Зайдя за угол дома, они никого там не обнаружили. Алька хотел уж было сказать своей спутнице, что она, верно, ошиблась, как тут они отчетливо услышали удаляющиеся шаги. А спустя полминуты знакомо скрипнула наружная дверь дома, в котором жили ребята.

— Это свои, не бойся, — сказал Алька.

Галя облегченно вздохнула.

Когда через четверть часа Алька расстался с Галей и пришел домой, Юрка с Сенькой тихонько похрапывали в темноте. Алька не стал зажигать свет, чтобы не потревожить ребят, и, быстро раздевшись, счастливый от свидания с Галей, лег спать.

Он мало думал о том, кто бы мог стоять там за углом. В конце концов, мог же, например, Сенька возвращаться от Зины и Вали, к которым иногда ребята запросто заходили поболтать, послушать пластинки. Но, подумав так, Алька ошибся. Он не подозревал, что Юрка, затаив на него обиду из-за Гали, вот уже который вечер выслеживает их, намереваясь таким образом вторгнуться в тайну их отношений.

5

На другой день после работы Юрка должен был идти в Дениславль за продуктами, но не пошел, сославшись на сильную головную боль. Сенька сразу заявил, что очередь не его, а потому идти за продуктами отказался. Альке ничего не оставалось делать, как отправиться на станцию. Когда он уже собрался выйти из дому, Юрка вдруг оживился и сказал ему, что, как только выздоровеет, сходит в Дениславль два раза подряд.

Как только Алька ушел, Юрка соскочил с койки и, ни слова не сказав Сеньке, вышел на улицу и направился к Гале.

Старики заканчивали свое долгое чаепитие, а Галя сидела у окна с книгой.

Юрка вежливо поздоровался и спросил Галю, не желает ли она сходить в лес за грибами. Галя обрадовалась предложению, но тут же спросила:

— Алик с Сеней тоже пойдут?

— Нет, — бодро ответил Юрка. — Алик на станцию ушел, а у Сеньки голова разболелась.

— Тогда пригласим девочек, — сказала Галя. — Зина с Вале-
лей охотно согласятся.

— Нет, они в Дениславль пойдут, — сказал Юрка, вспо-
мнив, что они на работе говорили об этом.

Галя вопросительно посмотрела на бабушку.

— Иди, иди, — сказала Анна Семеновна. — Чего тебе дома-
то томиться? Сейчас в лесу благодать. Вишь, погода-то как
разгулялась. Ни тучки, ни облачка... Только далеко не заби-
райтесь. Время-то к вечеру.

Галя стала поспешно собираться, а Юрка, сказав, что будет
готов через пять минут, пошел к себе.

Сенька дремал на койке в обнимку с книгой, а когда
вошел Юрка, то приоткрыл один глаз и снова погрузился в
дремоту.

Юрка положил в корзинку буханку хлеба, припрятанные
от ребят две банки консервов, банку килек, бутылку водки,
кружку, флягу с водой, маленький топорик, сунул туда же бре-
зентовый плащ, затолкал корзинку в рюкзак, снял с гвоздя
двустволку, достал из чемодана патронташ и толкнул Сеньку
в бок.

— Пойду с ружьем пошатаюсь, — сказал Юрка. — Может,
до утра. Завтра выходной, так что за меня не беспокойтесь.
Найдусь.

— Ладно, — сонно промычал Сенька. — Только без рябчи-
ков не приходи.

У крылечка Юрку уже ждала Галя. На ней были черные
брюки, бабушкины резиновые сапоги, толстая кофта и платок,
повязанный шалашиком. Даже в таком наряде она оставалась
прелестной.

— Ты будешь охотиться? — удивилась Галя, увидев у Юрки
ружье.

— Да это так, на всякий случай. Может, рябчик подвер-
нется.

— Юра, а мне дашь выстрелить?

— Не побоишься?

— Не знаю, — немного смутилась Галя. — Но ведь ты меня
научишь...

— Постараюсь. Главное, приклад к плечу плотнее прижи-
мать надо, а остальное пустяки.

Они медленно шли по бархату мха в сосняке и напряженно
просматривали местность вокруг себя, но грибов что-то не по-
падалось. А вот когда все чаще стали встречаться осины и бе-

резы, сразу же в корзине Гали оказалось с десяток крепких подосиновиков. Галя восторгалась подле каждого найденного гриба.

— Как жаль, что нет здесь наших девчонок!.. — воскликнула она.

— Это еще что, пустяки, — сказал Юрка. — Мы белых грибов наберем. Я знаю места.

— Правда? — еще больше обрадовалась Галя. — Вот здорово!

Однажды Юрка бродил по тайге с ружьем и случайно вышел к пади, поросшей буйной травой. Около километра длиной и не более двухсот метров шириной, она была стиснута толпой холмов, редко утыканных соснами и елями. Здесь он нашел много белых грибов и принес домой.

К этой пади и направился сейчас Юрка. По его подсчетам, она находилась километрах в пяти от железной дороги. Места тут тихие. Ни зверь, ни птица человеком не пуганы, ружья и в глаза не видали. Семь рябчиков-простофиль легли тогда в Юркин рюкзак.

Но сейчас Юрке было не до рябчиков. Он хоть и слышал их посвистывание, но ружья с плеча не снимал. Не хотел поднимать шума. У него на этот счет имелись свои соображения...

Петляя по тайге, Юрка все ближе подходил к заветному месту. Вот уже найден первый белый гриб... Второй... Десятый... Юрка вытряхнул съестные припасы из корзинки в рюкзак и стал собирать грибы: только белые. Подосиновикам и подберезовикам он не кланялся. В Галиной же корзинке скоро для белых грибов места не осталось, и, как ни жаль было подосиновиков, пришлось их выбросить.

Радовавшаяся обилию боровиков, Галя не заметила, как зашло солнце и стало быстро темнеть.

— Ой, кажется, уже темнеет, — спохватилась она. — Юра, пошли домой!

— Пошли, — отозвался Юрка из сумерек и двинулся за Галей, ликуя, что она направилась в противоположную от дома сторону.

Проблуждав в темноте около получаса, они снова подошли к пади, но уже с другой стороны. Остановившись на склоне холма, они прислушались. Тишина.

— Неужели мы заблудились? — растерянно спросила Галя

и с надеждой посмотрела на Юрку. Но его лицо скрывала темень.

Вдруг ухо уловило далекий гудок тепловоза. Галя закрутила головой, но понять так и не смогла, откуда донесся этот желанный звук. Казалось, он прилетел со всех сторон одновременно.

— Ты слышал, Юра?

— Слышал.

— В какой стороне?

— Не разобрал.

— И я тоже, — тяжело вздохнула Галя.

— Придется ждать утра, — сказал Юрка, снимая с плеч рюкзак.

— В лесу? — оробела Галя.

— А что делать? Домой же мы все равно сегодня не попадем. А утром по солнцу в два счета выйдем.

— Из-за меня же старики с ума сойдут, — сникла Галя.

— Не сойдут, — заверил Юрка. — Не одна же ты в лесу.

Галя вдруг почувствовала страшную усталость и присела на лежащую в траве сухую сосну.

Юрка уже всюю орудовал топориком, заготавливая сушняк для костра. А когда он развел костер и Галя удобно расположилась у огня, стал сооружать шалаш для ночлега.

Поставив шалаш, Юрка взял рюкзак, подошел к костру и сел на сушину рядом с Галей, курившей вторую сигарету подряд. «Видать, девочка еще та, — подумал Юрка, впившись глазами в раздумянившееся у огня Галино лицо. — Наверно, уже не с одним мужиком... А Алька, дурак, ее на руках таскает. Смехота».

— Надо подкрепиться, — как можно бодрее сказал Юрка, доставая из рюкзака продукты. Галя удивленно посмотрела на Юрку, но быстро отвела взгляд, ничего не сказала.

Юрка открыл ножом обе банки консервов, банку килек, нарезал хлеба, разложил все это на измятой газете у Галиных ног и достал бутылку водки.

— Это для согрева, чтобы не простудиться ночью, — словно оправдываясь за свой сюрприз, проговорил Юрка.

Он откупорил бутылку, налил полкружки водки и протянул Гале.

— Выпей. Никакая простуда не возьмет, — сказал Юрка и по привычке подмигнул Гале. Но тут же спохватился и мыс-

ленно обругал себя. Слава богу, Галя не заметила его промашки.

— Думаешь, поможет? — пристально посмотрела Галя на Юрку.

— Еще как! — подбодрил Юрка, прямолинейно истолковавший Галин вопрос.

Галя взяла из Юркиных рук кружку, с вызовом посмотрела на него и выпила водку.

— Закусывай скорее, — сказал Юрка. — Жаль, что не прихватил вилку, но ты ножом консервы-то, ножом... Кильки тоже горечь отшибают.

Юрка налил и себе водки, выпил и стал есть консервы подвернувшейся под руку щепкой.

С аппетитом закусив, Галя закурила и задумчиво усталилась на потухающий костер. Юрка повертел в руках бутылку, размышляя, выпить еще или нет, но решил, что лучше остаток водки прикончить утром, и оставил бутылку в покое.

— Пора спать укладываться, — сказал он. — Залезай, Галка, в шалаш. Я там лапнику настелил. Тепло и мягко... Плащ расстелил. Под голову рюкзак положи.

Галя пошевелилась, но не отозвалась, молчала.

— Иди, Галка, укладывайся, — напомнил Юрка после долгой паузы.

— Слушай, Юра, ты можешь мне объяснить, что все это значит? — вдруг заговорила Галя, повернувшись к Юрке.

— Ты о чем? — растерянно заморгал Юрка.

— О чем? Ты же сам все прекрасно понимаешь... Топор, водка, закуска... Тобою все было предусмотрено...

— А как же! — нашелся Юрка. — С тайгой шутки плохи. Надо все предусмотреть. А вдруг заблудишься или в какой другой переплет попадешь?.. И топор, и жратва, и водка — все пригодится. Ведь пригодились же сейчас...

— Нет, Юра, я не о каком-то там переплете, — перебила Галя. — В переплет попадают неожиданно, но ведь мы-то... Мне кажется, что если бы ты захотел, то нашел бы дорогу домой еще засветло.

— Не мели ерунды! — занервничал Юрка. Он вскочил на ноги и стал швырять в костер сушняк. Огонь быстро набрал силу и осветил аккуратный шалаш с черным лазом.

— Иди в шалаш, — не очень дружелюбно сказал Юрка.

— Не пойду, — упрямо ответила Галя. — Мне и здесь плохо.

— Ну как знаешь! — сказал Юрка и направился к шалашу.

— А как же я? — растерялась Галя.

— Тебе ведь и там неплохо, — отозвался Юрка, залезая в шалаш. — Пусть тебя волки обнюхивают и медведи обнимают.

— Я хочу в шалаш! — испуганно воскликнула Галя и опрометью бросилась вслед за Юркой.

Они лежали рядом в тесном шалаше и молчали. Вскоре Юрка стал похрапывать, делая вид, что спит, и вроде бы ненароком обнял Галю. Она осторожно убрала с себя его руку и поплотнее укрылась телогрейкой. Через минуту нетерпеливая Юркина рука опять нашла Галю. Девушка заворочалась, отстранилась от Юрки, но тут он уже обеими руками обнял ее, повернул лицом к себе и жадно поцеловал. Галя высвободила правую руку и вlepила Юрке увесистую пощечину.

— Ты чего, рехнулась, что ли? — обозлился Юрка.

— Это ты рехнулся! — сквозь слезы крикнула Галя и метнулась к выходу. Но Юрка поймал ее и уложил рядом с собой.

— Ну чего ты, дурочка... Ладно уж. Спи, — бубнил он. — Я же люблю тебя. Ей-богу. Женился бы. Поклясться могу...

Галя, не слушая, повернулась к нему спиной.

6

Уже в сумерках вернулся Алька домой. Сенька сразу же проснулся и сел на койке, протирая глаза.

— А где Юрка? — осведомился Алька.

— Юрка?.. За рябчиками ушел.

— Он же болен.

— Слушай его больше, — усмехнулся Сенька. — Просто ему не захотелось на станцию идти.

— А я вот ему таблеток принес, — разочарованно сказал Алька и положил на тумбочку два пакетика — аспирин и анальгин.

Сенька стал доставать из сумки продукты и класть на стол, а Алька вышел из дому и направился к старикам.

На крылечке Анна Семеновна выколачивала пыль из коврика и не заметила, как подошел Алька. Он поздоровался со старухой и спросил, дома ли Галя.

— Ой, Алик, ушла с Юриком по грибы, да вот до экой-то

поры и нет, — заволновалась старуха. — Как бы не заплутали в лесу-то.

Альку будто палкой ударили по голове, даже в глазах помутилось, — так подействовало на него это известие.

— В какую сторону они ушли?

— А вон в ту, — показала рукой Анна Семеновна. — От вашего дома сразу вправо. С крыльца-то мне хорошо было видно.

— Не заблудятся. Юрка места хорошо знает, — заставил себя произнести эти слова Алька. — А если поплутают немного, так ничего страшного: у Юрки ружье с собой.

— Дай-то бог, чтобы не заплутали, — вздохнула старуха. Ей почему-то и в голову не пришло спросить у Альки, откуда он знает, что Юрка ушел в тайгу с ружьем, а что с ним Галя, не знает.

Вернувшись домой, Алька с порога спросил у Сеньки:

— Почему ты сразу не сказал, что Юрка в лес ушел не один?

— Не один? — искренне удивился Сенька. — А с кем же?

— Будто не знаешь.

— Не знаю. Он же мне ничего не сказал. Только наказал, чтобы мы не беспокоились за него, если не вернется до утра. Сказал, что не потеряется.

— Так и сказал? — побелел Алька.

— Да. А что?

— Он же с Галей ушел!

Сенька даже присвистнул.

Альке уже не сиделось на месте. Он пометался по комнате, потом решительно скинул ботинки, натянул кирзовые сапоги и выскочил на улицу.

Недоброе предчувствие погнало его в тайгу. Он не задумывался, удастся ли ему найти Галю с Юркой, но сидеть дома было невыносимо.

Он долго бежал в одном направлении, обхлестываемый ветвями деревьев, пока совсем не стемнело. Наконец он остановился и прислушался. Но, кроме бухания своего сердца, ничего не услышал. Даже вековые ели молчали, не шумели.

Теперь Алька не бежал, а шел быстрым шагом, часто останавливался, слушал тайгу и снова шел и шел, не замечая, что петляет в темноте. За все время ходьбы он ни одного просвета в чаще не видел, ни одной полянки не встретил. Но когда уже

забрел на рассвет, он вышел на открытое холмистое место. Поднявшись на довольно высокий холм, он увидел внизу долину.

Долго стоял Алька не двигаясь, слушая тайгу и вглядываясь в рябь предрассветных сумерек. Он не знал, куда теперь податься, потерял уже всякую надежду разыскать Галю с Юркой, да и ноги гудели от страшной усталости, отказывались повиноваться. Он несколько минут всматривался в какой-то черный предмет на той стороне пади, но, что это могло быть, понять не мог. Стараясь не мигать, до рези в глазах смотрел Алька на этот предмет непонятной формы. От напряжения зрения Альке даже показалось, что загадочный предмет чуть-чуть шевелится. «Не медведь ли это?» — подумал Алька, но с места не стронулся. Он простоял еще минут двадцать, стало заметно светлее, и он понял, что это не медведь, а какое-то сооружение, похожее на кучу старых дров. «А может, это шалаш?» — мелькнуло у него в голове.

Не раздумывая, Алька сбегал вниз и устремился по высокой траве на ту сторону долины. Чем ближе он подбегал к сооружению, тем четче вырисовывалась его форма... Да, это был шалаш, островерхий, добротнo сработанный.

Когда до шалаша оставалось шагов десять, из него высунулась встревоженная Юркина физиономия. Только тут Алька убавил шаг и медленно подошел к шалашу. Юрка будто окаменел. Он даже потряс головой, зажмурившись, но, открыв глаза, он снова увидел Альку, взгляд которого не сулил ему ничего хорошего.

— Вылезай оттуда! — приказал Алька.

Юркина голова скрылась в шалаше, но через секунду снова появилась, и Юрка с ружьем в руке выбрался наружу. Вслед за ним вынырнула Галя.

— Алик! — кинулась она к Альке и уткнулась лицом в грудь. — Он...

Алька легонько отстранил Галю и шагнул к Юрке.

— Ты чего? Ты чего? Чокнутый, да? — пятясь назад, забормотал Юрка, насмерть перепуганный свирепым взглядом Альки.

Оттого что Алька шел на него молча, Юрке было страшнее вдвойне. Но когда Алька приблизился к нему настолько, что можно было достать его, Юрка вдруг остановился и вскинул ружье. Конечно, он не осмелился бы выстрелить, но тут Алька схватился за стволы ружья и изо всех сил крутанул.

Двустволка оказалась в его руках. Бросив ружье в траву, Алька кинулся к Юрке и так двинул ему в челюсть своим каменным кулаком, что Юрка на несколько шагов отлетел в сторону. Всю ненависть к Юрке вложил Алька в этот удар. Он подобрал ружье и со всего размаху трахнул им по шершавой сосне.

Не взглянув на корчившегося и мычавшего в стороне Юрку, Алька вернулся к Гале. Она сидела на поваленной сосне около погасшего костра, опустив голову и закрыв ладонями лицо. Плечи ее вздрагивали. Алька потоптался около нее в нерешительности.

— Алик, мы ведь теперь не будем встречаться, да? — после долгой паузы заговорила Галя, не поднимая головы. — И переписываться не будем, да? Завтра я поеду домой. И больше мы с тобой никогда не увидимся. Так будет лучше...

— Если я тебе совсем безразличен, то конечно... Лучше забыть...

— Зачем ты так?.. — всхлипнула Галя.

— Проводить хоть разреши, — сказал Алька. — Поезд-то твой ночью идет. Билет достану. Народу сейчас много едет.

— Спасибо, — кивнула Галя.

Она поднялась и пошла к своей корзине; но Алька опередил ее.

— Алик, а дорогу мы найдем?

— Дорог здесь нет, — ответил Алька. — Мы и без дороги не заблудимся.

Стало уже совсем светло. Заря на востоке разгоралась, и вот-вот должно было показаться солнце.

Не посмотрев в ту сторону, где за жидким кустом можжевельника скрывался Юрка, Алька с Галей двинулись на юго-запад.

Часа через полтора они вышли к железной дороге, в километре от своего жилья.

Галины бабка с дедом уже поджидали их у домика ребят. Тут же слонялся и заспанный Сенька.

По дороге домой Алька с Галей договорились о том, что и как говорить старикам, чтобы те не заподозрили недоброго. Поэтому, когда бабушка кинулась к ней с оханьем и слезами, Галя как можно беспечнее стала фантазировать об интересных приключениях в тайге, а когда бабушка спросила о Юрке, Алька поспешил ответить, что он остался в тайге пострелять на зорьке рябчиков.

Юрка притащился домой только к вечеру. Он молча скинул с себя телогрейку и сапоги и бухнулся на койку, повернувшись спиной к ребятам. Алька сделал вид, что не заметил его прихода, а Сенька хоть и удивился, что Юрка вернулся без ружья, однако промолчал, ни одного вопроса не задал. Но когда Юрка несколько минут спустя поднялся с койки и вышел на улицу, явно намереваясь поднять свое настроение в обществе Зины и Вали, Сенька вслед за ним выскочил на крыльцо.

— Слышь, Юрка! — окликнул он.

— Чего тебе?

Сенька поплотнее прикрыл дверь, помедлил немного и вполголоса спросил:

— Вы что, подрались с Алькой?

— А тебе-то что? — огрызнулся Юрка.

— Он что, застукал вас? ..

— Любопытство распирает? — зло усмехнулся Юрка.

— Зря ты за Галкой гоняешься. .. Она же Альку любит. Да и он ее тоже. Это сразу видно. Дурак я, что тебя на Галку науськивал. .. Не по-товарищески как-то. ..

Юрка, видать, передумал идти к Зине и Вале, присел на нижнюю ступеньку крыльца и закурил.

В понедельник Зина и Валя сразу заметили, что парни не в духе, но о крупной ссоре не догадались, а их плохое настроение отнесли на счет понедельника — «тяжелого дня».

Первым заговорил Сенька, когда увидел невдалеке Василия Никитича, торопливо шагающего к ним по шпалам:

— Во дает! Как молодой бежит. Видать, какую-то новость несет.

— Может, и несет, — озабоченно промолвил Алька. — Все шпалы подбиты?

— Все, — ответил Сенька.

— Убирай домкрат.

Сенька нехотя взялся за рукоятки домкрата, стал крутить. Полотно дороги осело, и Сенька вытащил домкрат из-под рельса.

— Ты чего, Василий Никитич? — спросил Алька подходившего старика.

— Ох, бригадир, неладное там, — сказал старик, снимая фуражку и вытирая ладонью вспотевший лоб. — Рельс не поет.

Помалкивает. Молоточек не подпрыгивает. Так и прилипает к рельсу.

— Далеко отсюда? — быстро спросил Алька.

— Метров пятьсот.

— Вот что, — повернулся Алька к Сеньке. — Оставляю тебя за старшего. Разровняйте балласт и покурите пока. Мы с Василием Никитичем пойдем осмотрим рельс. Если подам сигнал, соберите инструмент и приходите к нам.

Василий Никитич едва поспевал за Алькой, на ходу высказывая свои опасения:

— Думаю, что трещина, не иначе. По второй дыре, думаю. Молоточек меня еще не обманывал. На головке трещины пока не видно, но черт ее знает. . . Может, после первого же поезда обозначится. . .

Алька слушал путевого обходчика, а сам уже прикидывал, как заменить рельс и как расставить людей своей бригады во время этой ответственной работы.

— Вот он, — сказал Василий Никитич, остановившись. — Я тут колышек забил.

Он постучал по концу рельса маленьким молоточком, насаженным на длинный черенок, и подал его Альке.

— Попробуй сам, убедись, — сказал старик.

Алька постучал по обоим рельсам на стыке и понял, что старик прав. На одном рельсе молоточек легко и высоко подпрыгивал, издавая тонкий звук, зато на другом — «не плясал», а мягко и глухо шлепался.

— Снимай накладки, Василий Никитич, — сказал Алька. — Как следует проверим.

Старик достал ключ из своей промазученной сумки и, сев на рельс, стал откручивать гайки.

— Два болта вынь совсем, а на остальных четырех только ослабь гайки, — сказал Алька. — Надо дождаться поезда.

— Это понятно, известное дело, — охотно согласился путевого обходчик.

Поезда долго ждать не пришлось.

Как только мимо промелькнул последний вагон товарняка с углем, старик снова взялся за ключ.

Когда был вынут последний болт, Алька откинул накладки и склонился над стыком. Трещину он увидел сразу. Она шла от подошвы рельса через второе отверстие для болта в головке.

— Все ясно, — сказал Алька поднимаясь. — Надо менять рельс.

Василий Никитич лег грудью на рельс и подслеповатыми глазами долго разглядывал трещину.

— Надо менять, — подтвердил старик. — И откладывать не следует. Сегодня надо. А то ведь и ночь спать не будешь.

Василий Никитич с помощью Альки установил накладки и наживил гайку на первый болт.

Когда была затянута гайка на третьем болте, показался поезд, груженный лесом. Только тут Алька вспомнил, что, прежде чем снять накладки, по инструкции положено установить сигналы. «Даже «Свисток» не поставил». При этой мысли по Алькиному телу дрожью пробежал запоздалый страх.

Мимо с грохотом проносились вагоны, и в этом оглушительном шуме Василий Никитич что-то кричал Альке, показывая на стык. Алька понял путевого обходчика... Под каждой парой колес стыковые шпалы глубоко оседали и тут же поднимались снова, будто под ними были установлены мощные пружины. Стык «дышал».

— Видал? — спросил старик Альку, когда наступила тишина.

— Видал, — кинул Алька.

— То-то и оно... Раз шпалы висят, значит, хорошего не жди. Любой рельс лопнет.

— Позови бригаду, Василий Никитич, — сказал Алька и направился к стеллажу с запасным рельсом.

Старик прогудел в рожок, объявив тревогу, и поспешил вслед за Алькой.

Запасной рельс находился всего в пятидесяти метрах, но как его доставить на место?.. Все-таки солидный вес: тонна с четвертью. Алька вслух усомнился, сумеют ли они его перетаскать, но Василий Никитич успокоил его:

— Перетасчим. Всем-то миром осилим. Дело нехитрое. На концы шпал ломтики да лапы положим, и толкай по ним да толкай.

Приближалась бригада. Майдерон с инструментом вез Юрка. Следом за ним, под ручку, как на прогулке, шли Валя с Зиной и весело разговаривали. Позади всех с красным флажком плелся Сенька.

— Будем менять рельс, — сказал Алька, когда все подошли к нему.

— Трещина? — спросила Валя.

— Да.

— С чего бы это? — удивился Сенька. Ему уж очень не хотелось возиться с рельсом.

— Стык висит, — буркнул Алька и взялся за ручки ящика с инструментом. — Взяли!

Сенька подхватил ящик за ручки с другого конца, и они стащили его на обочину. Юрка снял с рельсов опустевший майдерон.

— Сначала поднимем стык, — сказал Алька.

После того как прошел очередной поезд, стык подняли домкратом и под провисающие шпалы подбили балласт. Под следующим поездом стык немного осел, как и должно быть, но шпалы теперь на балластной подушке лежали плотно.

Столкнув запасной рельс со стеллажа, бригада ломками взгромоздила один конец его на концы шпал без особого труда, а вот поднять весь рельс на шпалы оказалось делом сложным. Длинный рельс выгибался под натиском ломов и буравил балласт на обочине, упорно сопротивляясь человеческой силе. Люди устали и взмокли от пота, прежде чем удалось им взвалить рельс на шпалы.

— Ай да мы, спасибо нам! — вытирая помятой фуражкой мокрый лоб, сказал Василий Никитич. — Теперь и покурить не грех.

После короткого перекура бригада снова взялась за рельс. Подкладывая под него ломы и лапы для лучшего скольжения, ребята поддевали конец рельса ломом и изо всех сил толкали.

Сантиметр за сантиметром, метр за метром рельс подвигался вперед. Потребовался целый час, чтобы протащить его пятьдесят метров.

Пока бригада отдыхала, Алька думал о том, кого послать с сигналами для ограждения места работы. Конечно, можно бы послать Василия Никитича, поскольку в работе он уже не так проворен, как молодые, но Альке не хотелось отпускать его от себя. Рядом с опытным железнодорожником он чувствовал себя гораздо увереннее. Валю или Зину тоже не отправишь: их быстрые руки будут незаменимы при наживлении и закручивании гаек. Юрка же умеет здорово работать молотком. Оставался только меланхоличный Сенька. Хоть ленив и нерасторопен, но уж с этим-то делом справится.

— Давайте готовить рельс к замене, — сказал Алька, поднимаясь с обочины.

Когда рельс подготовили к замене, Алька подошел к Сеньке и сказал:

— Иди устанавливай сигналы. Только не забудь взять пертарды. Ну, а все остальные сигналы будешь устанавливать после прохода поезда в следующем порядке: желтый щит поставишь за тысячу двести пятьдесят метров. . .

— Да знаю я! — недовольно отмахнулся Сенька. — Нашел кого инструктировать.

Альке стало как-то стыдно оттого, что начал поучать Сеньку, будто и не сидели с ним за одним столом в училище.

— Рожок возьми, — напомнил Алька. — Ждем твоего сигнала.

Сенька не ответил. Он положил в карман брюк три пертарды, сунул за голенище сапога рожок и красный флажок, схватил желтый и красный щиты на длинных кольях и побрел по шпалам.

Потянулись томительные минуты ожидания.

Прошел поезд, но рожка не слышно было.

— А ведь Сенька сигналы-то будет устанавливать на прямой, — вдруг сказал Василий Никитич. — Там ему поезд будет виден у самого Черного Волока.

— Ну и что? — спросил Алька.

— Да так, ничего, — пожал плечами старик. — Но все-таки спокойнее, когда поезд увидишь вдальеке.

И тут донесся протяжный звук рожка. Все вопросительно посмотрели на Альку. Тот взял из ящика рожок и дал ответный сигнал.

— Начали! — скомандовал Алька. — Валя и Зина, садитесь на стыки. Все остальные — вытаскиваем костыли.

Работали молча и споро. Вот уже вытасчен последний костыль, откручена последняя гайка.

— Кантуем! — сказал Алька и взялся за лом. Пятью ломами рельс сняли с подкладок и откантовали на середину колеи. Новый рельс уложили на место дефектного. Валя и Зина сели к стыкам, приладили накладки и стали наживлять гайки. Алька, Василий Никитич и Юрка принялись забивать костыли. Но только они начали это делать, как вдруг из-за поворота, в пятистах метрах от них, на бешеной скорости выскочил поезд. Мгновенно все обернулись на его шум и оцепенели. У Юрки так и застыл над головой молоток. Сколько времени продолжалось это бездействие людей, никто сказать бы не мог.

— Никитич, останови! — вдруг очнулся Алька и с силой опустил молоток на шляпку костыля.

Василий Никитич бросил молоток, выхватил из своей сумки красный флажок и, размахивая им, кинулся навстречу поезду.

— Тика-а-ай! — истошно заорал Юрка и, выпустив из рук молоток, метнулся через междупутье, через нечетный путь, на обочину, а затем сбежал с двухметровой насыпи, остановившись в тридцати метрах от дороги.

Охваченные ужасом, подхлестнутые внезапным воплем Юрки, Валя с Зиной, видимо, поверили в этот миг в неизбежность крушения поезда и, бросив ключи, одна за другой кинулись с насыпи.

Алька уже ничего не видел, кроме костыля, по которому бил молотком. Наконец шляпка костыля коснулась подошвы рельса. Алька схватил следующий костыль и, наживив его, ударил молотком. Костыль вошел наполовину. Второй раз он ударить не успел. Ему пришлось отскочить на обочину от возникшего перед ним зеленого тепловоза.

В тот момент, когда тепловоз со свистом пронесся мимо, Алька успел заметить нескончаемый караван четырехосных платформ, груженных балластом. Алька бросился с молотком к незабитому костылю, хотел ударить по нему, но тут у него из рук выбило молоток пролетевшей буксой. Он снова схватил молоток и, упав на колени, почти без замаха ударил по костылю. Сделать же замах мешали низко свисающие рамы платформ и часто мелькавшие буксы. Но когда удавалось ударить, Алька радовался и твердил про себя: «Забить! Забить! Забить!..» Кажется, совсем некстати вспомнилось сейчас то далекое лето, когда он мальчишкой гостил в деревне у деда с бабкой. Любил он тогда гоняться во дворе за желтенькими цыплятами, стараясь поймать хотя бы одного. Но наседка всегда была начеку и не подпускала Альку к ним. Но вот однажды, когда он уже протянул было руку, чтобы схватить пушистый комочек, наседка сердито нахохлилась и кинулась к Альке. А он с перепугу замахал палкой и угодил ею по голове курицы. Наседка несколько раз трепыхнулась и затихла на земле. Такой оборот дела Альку ошеломил, и он будто пророс к месту, глядя на мертвую курицу, все медленнее открывающую и закрывающую клюв. И в это время во дворе появился дед. Он увидел безжизненно лежащую курицу, прячущихся под ее перья цыплят, палку в руках Альки и все понял. «Сиротами остались, — тихо сказал дед. — Туго теперь им без матки-то будет. Вишь, как к матери-то жмутся? А еще и не знают, глупые, что лишились ее. Худо, брат, если мы матерей

да батогоми лупить будем». И дед как-то уж очень грустно посмотрел на Альку, готового вот-вот расплакаться. На всю жизнь запомнил Алька этот случай. И теперь словно увидел снова скорбный взгляд деда, от которого запершило в горле. Но вдруг он вспомнил Ковалю, его напутственные слова, вспомнил отца с матерью, брата с сестренками, которым недавно написал письмо, где сообщил, что его назначили бригадиром. Теперь, наверно, уже получили его весточку, радуются за него, да только напрасно. Не оправдал он доверия Ковалю, рано похвастался своим назначением. Не получился из него бригадир, раз что-то сделал не так, какую-то совершил ошибку. Ох каким впредь нужно быть предусмотрительным! Только бы поскорее промелькнула последняя платформа!..

Все эти думы-воспоминания Альки пронеслись за какие-то мгновения, а ему казалось, что время еле-еле ползло, потому как не было еще видно той желанной последней платформы.

.. Миллиметр за миллиметром костыль оседал под легкими кивками молотка. Алька не знал, не видел, что гайки на обоих стыках, едва наживленные, сотрясаемые стуком колес, отвернулись, отчего накладки тотчас же разбегались. И вдруг из-под тормозных колодок прыснули пучки искр, состав содрогнулся, прогрохотав буферами, и в этот момент не пришитый костылями рельс выгнулся и опрокинулся набок. «Не успел», — мелькнуло в голове Альки. Он увидел отполированное колесо платформы, ошалело запрыгавшее по шпалам. Но вдруг платформа взвилась вверх, искорежив мощный автосцеп, неуклюже перевернулась в воздухе, выплеснув десятки тонн балласта, и рухнула на обочину, закрыв собою Альку.

Он уже не мог видеть, как еще семь платформ, натыкаясь друг на друга, вставали на дыбы и валялись под откос.

Когда поезд остановился, раздались тревожные гудки тепловоза и тут же смолкли.

Двое машинистов бежали по обочине к месту крушения. Навстречу им спешил перепуганный Василий Никитич.

— Вы что там, с ума посходили, кретины?! — еще издали закричал на старика грузный машинист лет сорока. Китель на нем был не застегнут, и под белой майкой заметно выпячивался живот. — Ослепли вы там, что ли?! В тюрьму захотели?!

Подбежав к старику, машинист от злости чуть не ударил его, но сдержался, еще громче прокричав:

— Чего вы там натворили, безмозглые?!

— Как чего?.. — еще не отдышавшись, едва проговорил Василий Никитич. — Рельс меняли.. Петарды поставлены, щиты поставлены... Чего ж вы не остановились?..

— Какие петарды?! Какие щиты?! Чего ты городишь?! — снова закричал толстяк, но уже без прежней уверенности в своей безгрешности. — Не морочь голову!

— Люди погибли! — осмелился прикрикнуть на машиниста Василий Никитич. — А ты тут руками размахиваешь без толку!

Толстяк будто костью подавился, испуганно уставившись на старика.

— Так какого черта ты тут стоишь? — пришел в себя машинист. — Где у вас селектор? Звони скорее в Дениславль дежурному и своему начальству!

Василий Никитич подчинился машинисту и устало побежал к дому, но тут же остановился и окликнул машинистов:

— Эй, механики!.. Дружки! Как же я от ребят-то уйду? Ведь завалило их... Может, еще живые...

— Беги скорее к селектору! — отмахнулся толстый машинист. — Мы посмотрим!

И он побежал вслед за своим напарником, молодым, длинным парнем.

Василий Никитич затрусил к жилью. Когда машинисты прибежали на место крушения, то увидели плачущую девушку, лихорадочно разрывающую голыми руками кучу балласта. Это была Зина. Увидев машинистов, она еще громче запричитала и ожесточеннее заработала руками. Машинисты все поняли без слов и присоединились к ней.

— А точно, что здесь?.. — на всякий случай спросил толстяк.

— Здесь... Мы почти рядом стояли... Меня только немного засыпало... А ее...

Зина говорила прерывисто, клацая зубами, будто ее вытащили из проруби.

— Да вот же, вот она! — закричал старший машинист, разгребая пятернями балласт.

Валя лежала ничком. Ее перевернули на спину, и толстяк приник ухом к ее груди.

— Живая! — воскликнул он.

Но остальные и без него поняли, что Валя жива. Ее лицо медленно оживало, покрываясь слабым румянцем. Вдруг Валя протяжно простонала и стала жадно хватать ртом воздух.

Вскоре она открыла глаза и недоумевающе оглядела склонившиеся над ней лица.

— Валя! Валечка! — кинулась к ней с поцелуями Зина, всхлипывая и смеясь одновременно.

— Ну вот и хорошо, — оживился толстяк. — Порядок! Значит, все живы?

— Ой! — вдруг воскликнула Зина. Лицо ее сделалось снова испуганным. — Алик же!.. Его тоже засыпало... Платформа... Я видела...

— Где? — быстро спросил машинист.

— Там... на обочине.

По кучам балласта машинисты взбежали на насыпь. Зина устремилась за ними. Валя тоже поднялась и, пошатываясь, пошла вслед за всеми.

— Вот здесь он был, — сказала Зина, остановившись у злополучного рельса.

Теперь тут на кучах мягкого желтого балласта, зарывшись в него бортами, покоилась громадная платформа вверх колесами.

— Черт бы побрал, — буркнул все тот же толстяк, отгребая руками балласт от борта платформы. Второй машинист еще не произнес ни слова. Он молча делал все то, что и его старший товарищ. — Лопата есть?

— Есть, — отозвалась Зина и кинулась искать ящик с инструментом. Он высовывался одним углом из кучи балласта. Зина отчаянно заработала руками и вскоре добралась до совковой лопаты.

Мужчины по очереди швыряли балласт лопатой, обнажая борт платформы.

— Есть, вот он, — тихо сказал молодой машинист, когда под лопатой показался кирзовый сапог...

Вдавленное в балласт бортом платформы тело Альки отрыли руками, отнесли под откос и положили на траву.

Прибежали Василий Никитич и Галя.

Старик молча снял фуражку и, стоя над Алькой, жмурился от слез, как от яркого солнца. А Галя, побледневшая и тихая, присела возле Альки и белым носовым платочком стала счищать песчинки с посиневшего Алькиного лица.

С обнаженными головами тут же нетерпеливо топтались машинисты.

— Беда бедой, батя, а дело не ждет, — вполголоса сказал

старший из них, тронув за локоть старика. — Тут уж ничего не поделаешь.

— А? — обернулся тот. — Да-да... Доложил я дежурному... Велено вам голову состава тащить в Дениславль. А за хвостом пришлют локомотив из Черного Волока.

— А что нечетный путь свободен, сказал?

— А как же. Он сам спросил.

— Добро, батя, — кивнул машинист. Он немного помедлил и добавил: — Ну, а в причине... начальство разберется. Не нам судить. Ну, пока. Ни пуха.

И машинисты заспешили к своему тепловозу.

Когда тепловоз увел часть состава в Дениславль, на месте крушения появился Сенька. Он дико таращился на громадные платформы, застывшие в разных местах, и беззвучно шевелил губами. Увидев лежащего на траве Альку и склонившихся над ним людей, он робко стал приближаться к ним. Навстречу ему шагнул Василий Никитич и, ни слова не говоря, наградил его звонкой оплеухой. Он, старый железнодорожник, давно уже разгадал, что Сенька является главным виновником крушения.

— Ты чего? — заскулил Сенька, плюхнувшись в песок и потирая ушибленную щеку. — Еще дерется... Я виноват, да? Я все сделал, как надо... Как учили...

Василий Никитич нервно чиркал спичками и все не мог прикурить сигарету. Наконец он прикурил, несколько раз жадно затянулся и заговорил:

— Ты какого дьявола дуешь в рожок, ежели у тебя не установлены сигналы? Выходит, ты нарочно пустил поезд-то под откос и Альку загубил? Ну-ка, скажи мне, я послушаю.

— Чего мелешь-то? — плаксиво отозвался Сенька. — «Нарочно»... Я и щиты поставил, и петарды... Иди посмотри...

— Видали?! — задохнулся старик. — Он поставил щиты! Так это после того, как поезд прошел! А в рожок-то ты зачем прогудел перед носом поезда? Вот что мне непонятно.

— Так я же дал сигнал бдительности, — захлопал глазами Сенька. — Один длинный, один короткий. Известил, что приближается поезд.

— Тьфу! Синовая твоя голова! — вконец разошелся старик. — Да разве ж был уговор о сигнале бдительности?! И речи не было! Сам-то тыобрази, можно ли услышать короткий сигнал за целый километр?... У тебя же получился не сигнал

бдительности, а просто оповестительный. Ведь мы-то слышали один длинный гудок. Спроси кого хошь... Вот теперь и кумекай, каких ты делов натворил...

Съездившись, Сенька сидел неподвижно на песке, не смея взглянуть в ту сторону, где лежал Алька. Только теперь до него дошло, что он совершил преступление. Дернул же его черт подать сигнал бдительности. А для чего, спрашивается? Хотел повыпендриваться, мол, вот я какой зоркий да бдительный? Вижу, мол, поезд, после прохода которого можете спокойно менять рельс? Но откуда ему было знать, что бригада не услышит короткого сигнала.

Но это раскаяние чуть копошилось в нем. Да и чего зря раскаиваться? Раскаянием сейчас ничего не изменишь. Да и Альке не поможешь. Конечно, жалко Альку, хороший был парень, но чего уж теперь забивать себе голову мыслями о мертвом?.. Все теперь на него, Сеньку, давить станут. Попробуй тут выкрутись.

Галя наконец поднялась на ноги, прощальным взглядом приласкала Альку, повернулась и с широко распахнутыми глазами и неживым лицом степенно направилась к жилью. Когда она проходила мимо домика ребят, то увидела Юрку. Тот сидел на скамейке крылечка, вытянув ноги и закинув голову на низкие перила. Услышав шаги, он встрепенулся, но больно кольнувший девичий взгляд заставил его застыть, и Юрка несколько секунд сидел в неловкой позе. Опомившись, он спрыгнул с крыльца и догнал девушку.

— Галка!.. Галка!.. Мне н-надо с тобой п-поговорить! — едва вымолвил Юрка, стараясь поймать девичью руку.

— Негодяй! — как плетью ожгла она своими глазами ненавистного парня.

Юрка остановился в растерянности, но тут же снова догнал девушку.

— Галка! Галочка! Поговорить надо... Хоть минуту...

— Подлец!

— Галочка!.. Прости... Я же люблю тебя... Слепая ты, что ли?

— Ненавижу! — вдруг вскричала она, повернувшись к Юрке. — Оставь ты меня в покое!

Глаза ее вдруг покраснели, прыснули слезы, и девушка, закрыв глаза ладонью, свернула с тропинки и бросилась к близкой опушке леса.

Со стороны Черного Волока на предельной скорости неслась съёмная дрезина ТД-5. Отвернувшись от сумасшедшего ветра, на ней сидели ревизор по безопасности движения поездов Сеничев, начальник дистанции Коваль, старший дорожный мастер Старовойтов, дорожный мастер Денисов и водитель, здоровенный дядька в защитных очках и брезентовом плаще.

Когда на обочине показался желтый щит, водитель немного сбавил скорость. Перед красным щитом, обернувшись к Ковалю, он крикнул:

— Красный!

— Остановись! — приказал Коваль.

Дрезина резко сбавила скорость и остановилась. Стало тихо. Ветер пропал. Люди ступили на шпалы размяться.

— Вы что-нибудь понимаете, Владимир Петрович? — оглядевшись по сторонам, спросил Сеничев у Ковалья.

— Признаться, ничего не понимаю, — ответил тот. — Но... Красный-то щит стоит. Можно сделать вывод, что машинист не заметил его... Вот и, пожалуйста, крушение.

У Ковалья появилась надежда, что в крушении поезда виноваты машинисты, то есть движенцы, а не его подчиненные — путейцы.

— Выводы делать рано, Владимир Петрович, — сказал ревизор. — Но сдаётся мне, что здесь что-то не то.

Сеничев потоптался в раздумье около щита и сказал Денисову:

— Уберите его, Степан Иванович. Он теперь ни к чему.

Денисов вытащил из земли кол, к которому был прибит красный щит, и положил его тут же, на обочину.

— Поехали, время дорого, — сказал Сеничев.

Только дрезина успела набрать приличную скорость, как под колесами ружейным выстрелом хлопнула петарда. Водитель нажал на тормоз, и дрезина на малой скорости наехала на вторую петарду, помяв ее.

— А это что за чудеса? — будто сам себя спросил удивленный ревизор. — Почему здесь стоят целехонькие петарды?

Все опять слезли с дрезины.

— Сам удивляюсь, — растерялся Денисов. — Кто ж их знает...

— Вот она, сердечная, — сказал водитель, подобрав помя-

тую петарду. — Не взорвалась: скорость мала... А вон и третья стоит... Снять?

— Снимите, — кивнул Сеничев.

Водитель побежал вперед по шпалам, где в тридцати метрах краснела на рельсе петарда.

— Сигналы установлены правильно, все честь по чести, однако крушение налицо, — вслух размышлял ревизор. — Как вы это объясните, Владимир Петрович?

— Пока я ничего не могу сказать, — заметно конфузясь, проговорил Коваль. — Надо поговорить с бригадой.

— Разумеется. С бригадой мы поговорим. Это особый разговор. Но вы сказали, что машинист не заметил красного сигнала. Допустим. Пусть он не увидел ни желтого, ни красного сигналов, то бишь щитов, но петарды?.. Уж взрывы-то петард он наверняка бы услышал. А они стоят целехонькие. Уж не хотите ли вы сказать, дорогой Владимир Петрович, что поезд их обошел стороной, обочиной?

Язвительность в словах ревизора не понравилась Ковалю, и он, поморщившись, сухо сказал:

— Вы слишком остроумны.

Сеничев сделал вид, что не слышал Ковалья, и, сев на дрезину, сказал подошедшему водителю:

— Поехали.

9

Когда вереницу платформ — хвост потерпевшего крушение поезда — примчавшийся тепловоз утащил в Черный Волок, на место крушения прибыл восстановительный поезд.

Заработали два восьмидесятитонных крана, снявшие с платформ тягачи — обыкновенные танки, но без башен. Тягачи шустро растащили груды изуродованных платформ, подтаскивая их к обочине, а краны стали грузить эти платформы на платформы восстановительного поезда. Три платформы, которые могли идти своим ходом, были поставлены на рельсы.

Альку решили отправить на восстановительном поезде в Комариху, куда должны были прибыть из областного центра его родители, извещенные о гибели сына срочной телеграммой. Сопроводжать Альку вызвались Василий Никитич и Валя.

Все время, пока был занят четный путь, на перегоне Дениславль — Черный Волок поезда, пережидая друг друга на станциях, выбиваясь из графика, шли по нечетному пути в обо-

их направлениях. Все стало на свои места, когда открыли четный путь.

Члены комиссии по расследованию причины крушения все еще стояли на месте гибели Альки, изредка обмениваясь несколькими словами, больше молчали, думали. Они успели поговорить только с Василием Никитичем, а остальных рабочих пока не допрашивали: что-то они им не попадались на глаза. Успеют еще всех прощупать, спешить некуда. Главное — восстановлено движение по четному пути.

Сославшись на сильное недомогание, Денисов пошел к домику ребят.

Сенька с Юркой томились дома. Они уже успели переговорить о страшном событии дня и теперь молчали, углубившись в свои тяжелые думы.

— Чайку горяченького не найдется? — с порога спросил Денисов.

Юрка включил электроплитку, налил в чайник два ковша воды и поставил кипятить.

Денисов бросил на койку фуражку и сел к столу. Его маленькое загорелое лицо, иссеченное морщинами, выражало усталость и тоску. Тонкая шея по-мальчишески торчала из широкого ворота кителя.

— Что о крушении думаете? — после долгого молчания спросил Денисов, не глядя на парней. — Как вы допустили такое?

— Допустишь тут, — не вдруг отозвался Юрка. — Рельс меняли. Новый еще пришить не успели, а тут поезд прет как угорелый. . . Вот и все.

— Все ли? — недоверчиво глянул мастер на Юрку.

— Все. А что еще?

— Добро. Значит, и виноватых нету?

— Если и есть виноватый, так это бригадир, — сердясь, буркнул Юрка.

— Бригадир? На мертвого легче всего вину свалить. Не выйдет! . .

Денисов хотел еще что-то сказать, но тут вошла Зина, и он замолчал, отвернулся. Зина робко села на стул, услужливо подвинутый Юркой, и уставилась в пол.

— А ты кого считаешь виноватым? — повернулся к ней Денисов.

Зина несмело взглянула на мастера и молча пожала плечами.

— Где чай-то у вас? Готов? — нетерпеливо спросил Денисов, видя, что Юрка долго возится с заваркой.

— Сейчас, сейчас, — пробормотал Юрка.

Когда чай был заварен, Денисов налил себе стакан, кинул в него два кусочка сахару и, помешивая ложечкой, покосился на Зину.

— Так что же у вас все-таки произошло? — спросил он.

Зина поняла, что мастер обращается к ней, и пошевелилась на стуле.

— Все это так ужасно, так страшно, — едва сдерживая слезы, тихо выдавила Зина. — Я не знаю, отчего все так случилось, но Василий Никитич сказал, что Сенька поставил сигналы после прохода поезда. А перед поездом прогудел в рожок. . .

— Мне это известно, — сказал Денисов.

— Может быть, мы с Валею успели бы до конца закрутить по одной гайке, но. . . В общем, Юрка закричал: «Тикай!» А мы растерялись. . . Поезд был уже так близко. . .

— Вот оно как? — Денисов кинул недобрый взгляд на Юрку. — Значит, в тебе заячья кровь взыграла? Первым в кусты бросился?! Ты же и других заразил своей трусостью!

— Я ни в чем не виноват! — вскричал Юрка. — Я действовал по инструкции! . . . Поезд был меньше чем за пятьсот метров от нас. Бригада должна была сойти на обочину.

— Бывают обстоятельства, когда надо нарушить инструкцию! Понятно?! Во имя человеческой жизни! . . .

Наступила жуткая тишина. Денисов вспомнил о стакане с чаем, сделал несколько глотков и закурил. Зина тоже достала сигарету и задымила.

— Ну и что дальше было? — глухо спросил мастер, повернувшись к Зине.

— Что дальше? — повторила Зина. — Дальше, кажется, Алик велел Василию Никитичу остановить поезд. . . Да, точно. Василий Никитич побежал навстречу поезду с красным флажком, а Алик стал забивать костыли.

— А вы, значит, сбежали?

— Мы сошли с откоса, — опустила глаза Зина.

— Понятно, — закричал Денисов. — Ну, а дальше что?

— А дальше. . . Алик отскочил от поезда, а потом снова стал забивать костыль. . .

— Как это? — не понял Денисов. — Поезд ведь шел.

— Да. И очень быстро. А Алик присел на корточки и все тюкал молотком и тюкал. . .

— Вот те на! — изумился мастер. И замолчал, не находя слов, настолько ошеломило его это сообщение.

Долго молчал Денисов, окутываясь сигаретным дымом, и наконец, ни на кого не глядя, тихо заговорил:

— Значит, он пытался предотвратить крушение до последнего своего вздоха... До последней возможности ударить по костылю. Как говорится, продолжая драться до последнего трона... Ох, Алька, Алька, жить бы тебе сотню лет!.. Какого человека погубили!..

Денисов облокотился на стол и горестно свесил голову. Опять стало тихо. Лишь беспокойно и жалобно поскрипывала койка под сидящими на ней Юркой и Сенькой.

— А потом... Как дело было? — наконец поднял голову мастер.

— А потом... Потом полетели платформы, — вполголоса заговорила Зина. — Я отвернулась... Глаза закрыла... Страшно так было... Тут нас с Валею ударило песком и засыпало. Правда, меня немного. А Валею совсем накрыло. Мы едва нашли ее. Она чуть не задохлась...

— Очухалась?

— Да. Она же с Аликом уехала. Правда, страх еще не прошел.

— Пройдет, — недовольно буркнул Денисов.

— Конечно, пройдет, — согласилась Зина, вытирая платком слезы.

Не везет в жизни Зине. Все какие-нибудь напасти и беды являются к ней. В детстве лишилась родителей, а когда окончила школу и стала работать продавцом в большом гастрономе, случилась недостача. И немалая. Директриса, пышная дама с невинными глазками, сумела повернуть дело так, будто в растрате виновна Зина. Уж слишком опытной пройдохой оказалась та директриса. От обиды, горя и возмущения Зина по молодости лет ничего не могла сказать тогда в свое оправдание и только твердила, глотая слезы: «Надо же!.. Надо же!..» Ей дали два года. Отбыв срок, она устроилась на работу в мостопоезд, где и подружилась с Валею, сбежавшей от мужа-алкоголика. А для Зины своя семья, но крепкая и счастливая, пока все еще остается мечтой. В общем, не милостива судьба к Зине, хоть ты тресни.

Денисов долго молчал, а потом, качая головой, тихо повторил:

— Какого человека погубили! — И вдруг, резко повернув-

шись к Юрке, повысил голос: — И девчат на тот свет чуть не отправили!

— А чего вы на меня-то взъелись? — ошетинился Юрка. — Сами они виноваты! Дуры они! Не могли сообразить, куда бежать. Дурак бы и тот понял, что поезд полетит вправо, под откос. Меняли же правый рельс. Так нет, рты разинули...

— Вон ты какой! — сверля Юрку презрительным взглядом, выговорил Денисов. — В такую-то минуту ты даже предусмотрел, куда повалится поезд! Ну не мерзавец ли?..

Денисов дрожащей рукой налил в стакан остывшего чаю и залпом выпил. Немного успокоившись, он заговорил снова:

— А ведь крушения могло и не быть. Если бы ты, Шмелев, не удрал и не нагнал бы страху на девчат, то худо-бедно ты бы три костыля успел всадить. А девчата наверняка бы закрутили накрепко по одной гайке. Этого бы хватило, чтобы пропустить один поезд.

Денисов помолчал и глухо продолжал:

— Да что теперь доказывать... Время назад не вернешь, Альку не воскресить... Приедут отец с матерью, сына живого с меня будут требовать. А я им что скажу?.. Но не обо мне речь сейчас. Я-то свою жизнь, считай, прожил. А вот вам должно быть пострашнее. Вы жизнь-то только начинаете, а репутацию уже подмочили... У меня вон дочка, например, о плетении кружев так с детства мечтала. А после школы аж в Вологду маханула. На «Снежинку» поступила. Вот где мастерицы-то! Во всем мире их кружева нарасхват... Так вот дочка-то и рассказывает, что настоящие мастерицы плетут кружева под песню. Плетут и поют, поют и плетут. А без песни и кружево получается мрачное... Хорошо, если бы всем работалось с песней... Хотя... в чужих санях не запоешь... Боюсь, что сегодня произошло крушение не только поезда. Вот ведь как дело поворачивается... Позор смить с себя потруднее, чем замараться...

Денисов тяжело поднялся, надел фуражку, помедлил немного и обронил:

— Судить вас будут, ребята.

— Судить? — подскочил Юрка. А у Сеньки обалдело запрыгали ресницы.

— Да, судить, — твердо сказал Денисов.

— Меня-то за что? — занервничал Юрка. — Сенька же дал ложный сигнал. Из-за него все! Размазня он! Ни рыба ни мясо!.. А Алька с Никитичем тоже хороши! За каким чертом они

решили остановить поезд? Ведь при всем желании он не мог остановиться до места нашей работы! Это было и ежу понятно. Дурачье! Если бы машинисты не пустили в ход тормоза, крушения бы не было. А поскольку поезд затормозил, то непришитый рельс сдвинуло, выгнуло и опрокинуло. Тут и дурак поймет, что именно так все и случилось. . .

Юрка забегал по комнате, кидая на всех ненавистные взгляды. Он понимал, что отныне его биография испорчена, хотя он и не нарушил ни закона, ни инструкции. От злобы на всех и вся ему так и хотелось пнуть Денисова в бок, расплющить чайник о Сенькину голову, выбить сапогом стул из-под Зины и вообще все ломать и крушить. Но он изо всех сил сдерживал ярость, понимая, что его буйство не простят и подавно.

— К черту! К черту все! — вдруг вскричал Юрка, шагнув к Денисову. — Ставь меня обратно бригадиром! Я докажу! Я докажу, как надо работать! Дашь бригаду?!

— Не мне решать, кого судить, кого миловать, кого бригадиром ставить, — не взглянув на Юрку, устало промолвил мастер. — Комиссия все обсудит. Вон она, легка на помине.

Как по команде, Юрка и Сенька метнулись к окну.

Во главе с Сеничевым члены комиссии по расследованию причины крушения поезда уже подходили к крыльцу. . .

РАБОТА

Лето пожить
Солнцу в угоду.
Мять языком
Холодную воду.

Пот и цемент
В речке смывая,
Запах глотать
Деревянного края

И топором
Разбрызгивать щепки,
Сосновые брусья
Сращивать крепко.

И в перерыве
Под дальние стуки
Раскладывать шире
Набухшие руки.

* * *

На Прачечном на взгорбленном мосту
Мы встретимся,

но чтоб начистоту

Сказать все — одного желанья мало.
Вот куст в росе, шиповник запоздалый,
Вот куст в росе,

не надо пьедестала,

Храпящий блеск,

он до корней умыт

Холодную, с небес осевшей влагой;

Он каждой клеткой чист,

малейшим шагом

Упругой ветки

точен, да и прост.

Он поднял горсть своих овальных ягод

И до песков подпочвенных пророс.

Вот куст бы мог поговорить с кустом,

И тот язык не чужд:

хоть не знаком,

Но что-то понимаешь из подтекста,

Когда неспешный ветер вдоль аллеи

Идет,

притихнет,

двинется скорей,

И разговор рождается из жеста.

Наталья Гуревич

* * *

Взошло одно из тысячи семян,
Один росток из ста достиг цветенья,
Икринок не считает океан,
Не уберечь зверят со дня рожденья.

Но как прекрасны круглые плоды
И рыбы, населяющие воды!
Понятия «напрасные труды»
Не существует в словаре природы.

* * *

В первый день на новой даче
Постучал ко мне спросонок
Пятилетний сын соседки
И спросил:

— Где ваш ребенок? —

Я смотрела удивленно.
Ждал ответа он упрямо,
Повторил потом иначе
Свой вопрос:

— А чья вы мама?

Мне играть, — сказал он, — не с кем,
Вы на мам других похожи. . . —

Я сказала:
— Я не мама. —
Он спросил тогда:
— А кто же?

* * *

Вы спросите: сколько денег
Нужно иметь для счастья?
Отвечу я: две копейки,
В крайнем случае — пять.

За две — в телефонной будке
Услышу желанный голос,
За пять — я письмо отправлю
И буду ответа ждать.

А если за эти деньги
Мне не дается счастье,
Знаю, что бесполезно
Цену ему набавлять.

Александр Орлов

ТРАССАМИ БАМа

ОЧЕРК

Если вы сегодня спросите, что такое «БАМ», на вас посмотрят с удивлением. БАМ знают все от мала до велика. БАМ — это будущие 4300 километров стального пути до Тихого океана с новыми городами, заводами, фабриками. Вся страна участвует в строительстве Великой магистрали. Но было время, когда это название носил небольшой разъезд и мало кому было известно значение этих букв. Северо-Байкальский вариант железной дороги впервые назвали Байкало-Амурской магистралью в 1932 году, когда первая советская экспедиция закончила рекогносцировочные изыскания в районе Советской Гавани.

Много сил, труда, времени нужно потратить, прежде чем будут уложены рельсы. Иногда проходят десятилетия, прежде чем желаемое становится действительным. И если отсчитывать время Байкало-Амурской магистрали, начать его можно и с 1887 года, когда было принято решение о строительстве железной дороги в Сибири, а для изыскания трассы организованы Среднесибирская, Южноуссурийская и Забайкальская экспедиции. Отсчет истории БАМа можно начать и с первых рекогносцировочных съемок в Северном Забайкалье, произведенных в 1889 году экспедицией Н. А. Волошинова. В 1906, 1907, 1911 годах Россия ищет выхода из дальневосточного кризиса, посылает в Забайкалье для натуральных обследований экспедиции Половникова, Пушечникова, Чмутова, Михайловского. Как и любое большое предприятие, строительство Байкало-Амурской магистрали имеет не только свое настоящее, но и прошлое. Не всякое прошлое приятно, но, не оглядываясь назад,

не увидишь пройденного, не сумеешь дать правильную оценку настоящему и понять будущее. Строительство железнодорожной магистрали в горах, в районе с вечной мерзлотой и сейсмическими явлениями, на бездорожье, в местности, испещренной паутиной рек и ручьев, осыпей, марей и болот, — дело чрезвычайно трудное и по плечу государству только богатому и сильному. Семь десятилетий Россия стремилась, но не имела сил начать это строительство.

Первая тысяча километров уже позади. Это и много и мало. Много потому, что только 240 километров трассы Хребтовая — Усть-Илим заставили поднять 12 миллионов кубометров скального грунта, возвести 245 искусственных сооружений, выстроить двадцать больших мостов. Мало потому, что любим торопить жизнь и не умеем успокаиваться.

Как-то в разговоре с журналистами главный инженер проекта БАМа М. Л. Рекс сказал: «От старого проекта осталось лишь направление — от Усть-Кута, станции Лена до Комсомольска-на-Амуре. Все остальное новое».

В 1932—1953 годах БАМ проектировали и строили как дорогу пионерную, однопутку, без тоннелей, с двойной тягой. Грузопоток планировали в десять—двенадцать раз меньше. И все-таки старое осталось, оно осталось не только в названиях станций: Кузнецовская, Литовко, Губерово, напоминающих нам о тех, кто не вернулся с трассы БАМа, но и в опыте молодого поколения инженеров-путейцев, который рождался на изысканиях тех лет. Экспедиция «Востизжелдора», как тогда называли «Бампроект», была первой крупной советской железнодорожной экспедицией в составе Ленгипротранса — Ленгипротранса. На БАМе впервые применяется аэрофотосъемка, а инженерно-геологические изыскания становятся частью железнодорожного трассирования. Сложный рельеф местности заставляет искать новые способы сооружения полотна дороги на прижимах и поймах рек, а станции и «развязки» проектировать с учетом энергии уклона. Это перечисление может быть очень длинным. Ничто не растет на пустом месте. В течение 1932—1953 годов был выполнен огромный объем работ по проектированию Байкало-Амурской магистрали, уложено 700 километров трассы Тайшет—Лена, 440 километров трассы Комсомольск—Советская Гавань, наполовину закончены работы на участке Комсомольск—Ургал. Наконец, было обосновано наиболее выгодное направление трассы, которое и сегодня осталось неизменным. А это немало.

БАМ тех лет — это большой кусок нашей истории, это биография многих сотен людей. На дорогах БАМа начиналась их молодость. И как здесь не вспомнить горячие юношеские слова: «Сейчас мы пробираемся по тайге, бьемся за каждый метр, нас мочит дождь, жарит солнце, кусает гнус, мы мало спим, едим насех — и только для того, чтобы через несколько лет люди смогли этих прелестей не испытывать, а ехать в мягком, тихо покачивающемся вагоне и, может быть, восторженно, а может, и безразлично глядеть в окно. Меньше всего мыслей, конечно, об изыскателях, пассажир думает и говорит о чем угодно, но не о них, он еще может буркнуть о строителях, но об изыскателях — никогда. А ведь они, только они были первыми». Эти строчки написаны на трассе БАМа в те неблизкие годы младшим техником-изыскателем Сергеем Ворониным. Сегодня Сергей Воронин известный писатель. Я листаю пожелтелые страницы его дневника с засохшей между листами мошкаррой, и передо мной оживает горячее и трудное время молодой Советской республики.

Не успела еще наша страна оправиться от интервенции и разрухи, как новые беды наваливаются на нее. 1929 год. Нападение на КВЖД и границы СССР. 1931 год. Снова столкновения на восточной границе. Япония нарушает Портсмутский мирный договор, оккупирует Маньчжурию. Транссибирская магистраль, связывающая Дальний Восток с центром России, пропускает только два поезда в сутки. Деревянные мосты и лотки, поставленные еще в предыдущем столетии, сгнили, сработавшиеся рельсы грозят крушением на поворотах, дорога требует серьезного капитального ремонта. Ее ахиллесова пята — близость к границе. Только строительство Северо-Байкальской дороги дает надежный тыл. Так начинается бамовская экспедиция 1932 года.

КРАТЧАЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Мы говорим с Петром Константиновичем Татаринцевым, старейшим изыскателем-путейцем, человеком удивительно емкой биографии. С именем Татаринцева связаны изыскания и строительство дорог в Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке, на Севере, на Сахалине. В годы войны он начальник экспедиций и автор проектов железных дорог Коноша—Вельск—Кот-

лас, Паньшино—Калач, Комсомольск—Советская Гавань, ро-
кадной дороги Сталинград—Саратов—Вольск. После войны
Татаринцев руководит Северной экспедицией, по проектам ко-
торой строилась широтная магистраль Воркута—Салехард—
Игарка. Много ярких страниц в жизни этого человека. Сейчас
ему восемьдесят пять, но он бодр, быстр в движениях и совер-
шенно не потерял той легкости и восприимчивости мысли, ко-
торая отличает молодость от старости.

— Что могу сказать о тридцать втором? — на минуту задумывается он. — Трудная была экспедиция. Формировалась с опозданием. Был конец мая, самый разгар полевых работ, а партии еще не получали наряды на продовольствие. Такая необходимая на изысканиях вещь, как сапоги, еще находилась в пути. Как только приехали на место, меня сразу же разыскал Мрачковский, начальник строительства.

— Откуда начнем? — спросил он.

— Партии еще не приехали, еще камеральные не начинали.

— Но ведь у меня люди простаивают. Ведь из Казахстана идет все — техника, материалы. . . Что же делать?

— Я не решаю. Есть специальные организации, — пожал я плечами.

— Черт знает что! — сокрушался он.

Положение его было тяжелым. Проектировать БАМ решено было прямо «под лопату». Экспедиция должна была дать и предварительные и окончательные изыскания, чтобы сразу же можно было начать строительство. Но Дальний Восток — это не Казахстан. На огромном полигоне изысканий не было такой точки, про которую с уверенностью можно было сказать: здесь пройдет трасса. И если строители могли сослаться на отсутствие фронта работ, то нам, изыскателям, сослаться было не на что: перед нами было «поле» — тысячи километров, которые предстояло «увязать». И каждый потерянный день усложнял эту задачу.

Работать должны были быстро. В три недели сделали камеральные, нужно было выезжать на окончательные изыскания. Из Москвы приехали руководители «Мостранспроекта» принимать работу, но ни денег, ни продовольствия, ни одежды не привезли.

— Как же работать? — спросил их. — Людям надо идти в тайгу. Сто пятьдесят человек не обуты, не одеты и есть что-то должны?

— Мы можем послать им вслед.

— А если не пошлем? Значит, обратно они не выйдут?

Говорить еще о чем-то было бесполезно, так же как и ждать, когда вопрос решится в Москве. Это было бы слишком поздно. Теперь мне пришлось идти к Мрачковскому. Он был хорошо знаком с Блюхером, который в то время командовал Особой дальневосточной армией. Мрачковский позволил ему:

— Василий Константинович! Это Мрачковский. У нас здесь неважно с обеспечением партий.

— Я знаю, — остановил его Блюхер.

— Нам нужно помочь.

— Пускай кто-нибудь подойдет к председателю крайкома Крутову.

На следующий день к вечеру Крутов собрал заседание крайкома. Кроме него на заседание пришел секретарь Хабаровского крайкома Лаврентьев, Блюхер, Дерibas и работники хозяйственного сектора. Я коротко доложил.

— Как же так получилось? — удивился Лаврентьев.

— Не знаю, но партиям не с чем идти. Ничего нет.

— Как нет? Даже денег нет?

— Да.

— А представитель газеты у нас есть? — неожиданно обратился он к залу.

— Мы из ТОЗ, — отозвался невысокий полнеющий мужчина, редактор «Тихоокеанской звезды».

— Вот они работают в тайге, можно сказать, героическая экспедиция. А где же вы? Где ваша газета?

— Нам не говорили. . .

— Они вам должны говорить, или вы должны говорить о них?

Редактор «Тихоокеанской звезды» молчал.

— Печатаете пустые заметки! — продолжал горячиться Лаврентьев. — Собираете комсомольцев в бесцветные походы за иконами. . .

— Мы примем к сведению, — покраснел редактор.

— А вас, — смягчаясь, обратился он к Крутову, — прошу проследить, чтобы хозяйственники срочно выдали все, что требуется. Сшейте ичиги, брезентовые куртки. . . в общем все.

— А как же деньги? — заволновались хозяйственники. — Как мы будем отчитываться?

— Возьмите с них расписки.

Петр Константинович замолчал, задумавшись о чем-то сво-

ем, видимо грустном, и вдруг, точно очнувшись от воспоминаний, тихо заговорил:

— Да, удивительные были люди. Лаврентьев, Крутов, Чернов. . . Все погибли, никого уже нет. Не щадили себя на работе. Думаю, Хабаровский крайком не только наши изыскательские партии, а и вся экспедиция вспоминает с благодарностью. Обеспечением экспедиции фактически занимался крайком. Блюхер, Лаврентьев, Крутов добровольно взяли на себя эту задачу.

Через три дня наши партии получили все и отправились вверх по Бурее. Редактор «Тихоокеанской звезды» явно переусердствовал: с каждой партией ушло по два комсомольца от газеты. Мучиться в тайге им было незачем, связи с газетой у них все равно не было. Три месяца, что шли изыскания, никаких известий от партий не поступало.

Утренники становились все злее. Река с каждым днем ленивее сгоняла шугу, вот-вот встанет — и тогда гибель. У меня голова разваливалась от худых мыслей. Как там? Что у них? Никогда позже я так не волновался, как в ту первую бамовскую экспедицию. И тем больше была радость, когда изыскатели выходили из тайги. Оборванные, в фуфайках, изрешеченных следами искр от костров, с осунувшимися потемневшими лицами.

Когда стали обрабатывать материалы экспедиции, выяснилось, что в ближайшие годы строителям на БАМе делать нечего. Дорога должна прокладываться по кратчайшему направлению. Но участки в верховьях Амгуни, по Бурее, Федоровский ход показали, что по кратчайшему пути не пройти, что строительство дороги может растянуться на десять, а то и пятнадцать лет. Хотя идея строительства Байкало-Амурской магистрали была заманчива, но нужно было решать задачи дня. Строители оставили БАМ и всю технику, все материалы перебросили на старую дорогу. Полностью восстановили ее от Читы до Уссурийска. Сделали ее двухпуткой. За пять лет подняли вагонный парк, службу депо. Она возродилась как феникс из пепла.

В те годы, — продолжал Петр Константинович, — шли к истине, как сейчас выражаются, методом проб и ошибок. Не совсем это верно, но есть доля правды в таком толковании. Торопила жизнь. Экспедицию 1932 года на БАМ тоже можно было бы назвать ошибкой: если говорить о планах экспедиции, то с поставленной задачей она не справилась — понадобилось

еще десять лет изысканий, лишь в сороковом году было установлено основное направление магистрали. Но экспедиция решила свои задачи, и решила их положительно. Начинать строительство БАМа в тридцать втором году было рискованно, и последующие экспедиции все больше и больше подтверждали это.

Строительство Байкало-Амурской магистрали — это непомерные затраты. А сегодня особенно. Где вчера предполагалось пройти верхом — прорубаются тоннели. Если вчера проектировали для линии БАМа паровоз с самоконденсацией пара, то сейчас — магистральный тепловоз, способный выдерживать высокие скорости. И все-таки неизведанного на БАМе очень много. Тут и повышенная температура внутри гор, и вечная мерзлота, и сейсмика, и чуть ли не ежегодно меняющиеся русла рек. Куда ни повернись, кругом на этом пути природа расставила капканы. Намного легче было бы строительство дороги за Становым хребтом, по Лене. Но преимущество Байкало-Амурской магистрали в том, что ее путь проходит по богатейшей кладовой: медь, железная руда, неисчислимые запасы каменного угля, нефть, газ, асбест, никель, молибден, вольфрам, слюда. А сколько полезных ископаемых, до которых еще не добрались? Если европейская часть нашей страны — это уже открытый сундук, Урал — изучен наполовину, то богатства сибирских и дальневосточных недр только начинают открываться нам. Здесь любопытно вспомнить Северную экспедицию Салехард—Игарка. Строителями были уложены семьсот километров пути, оставалось немного, чтобы выйти к Обской губе. Предполагалось построить там порт, который связал бы Западную Сибирь с морем. И вдруг решение — заморозить строительство. Двадцать лет ржавела дорога и все-таки не умерла, она стала проводником для геологов. Впоследствии все крупные газовые месторождения: Тюменское, Тазовское, Пурпейское, Медвежье, Рендгольское — все они легли вдоль ее полотна. Сегодня газовщики восстанавливают дорогу. Так что подчас и не знаем, что у нас под ногами. То же и на БАМе. Сколько открытий ждет еще нас!

Только сейчас, когда он кончил говорить, я подумал, что совсем забыл о разделяющих нашу жизнь годах. Нет, он действительно был молод в свои восемьдесят пять. Но было что-то не связанное с возрастом. Он обладал талантом горячо и страстно любить жизнь. И она щедро вознаграждала его,

сохранила в нем силу мечты и веры. Я искренне завидовал ему.

— Вот коротко, что могу сказать о БАМе, — поднялся он из-за стола. — А вообще о каждой трассе, о каждой бамовской партии говорить можно долго. Ведь искать дороги — это большая, интересная жизнь. Подготовьте вопросы и приходите.

Я не сказал ему, что эти вопросы у меня в кармане, что они мне не понадобились.

— Да, Петр Константинович, — вспомнил я. — Что это за «Федоровский ход», о котором вы говорили?

— Федоровский? Федорова! Изыскателя. Если смотрели карту, то, конечно, заметили отклонение у Усть-Нимана, такая загогулина вниз, на юг. Коль это вас интересует, подойдите к нему, он работает в ЛИИЖТе. Толковый, грамотный инженер. Подойдите к нему, он лучше расскажет.

ФЕДОРОВСКИЙ ХОД

Лишь только наступило утро, поехал к Федорову. Разговор долго не клеился. Отвечал он сжато и скупно, изучая меня колючими глазами из-за тяжелых роговых очков. Я уже задал больше десятка вопросов, напрасно утомляя его и себя.

— Могли бы вы быть конкретнее? — наконец не выдержал он. — О чем вы просите рассказать?

— Об экспедиции тридцать второго года.

— Но я могу рассказать только о работе нашей партии.

— Именно это интересует меня.

— Ну что же, экспедиция формировалась в Свободном, — начал он. — Приехали мы туда поздно вечером и с утра отправились за заданием. По составленной диспозиции наша партия должна была подняться по Бурее, выйти к Дуссе-Алиню и там встретиться с партией Гринцевича, который должен был добираться с востока. После встречи на хребте и выбора седла для его пересечения наши партии должны были разойтись в разные стороны, трассируя спуск: его партия — на восток, моя — на запад.

По рассказам, Дуссе-Алинь представлял собой высокий хребет с крутыми склонами и глубокими долинами. Вершины его покрывали гольцы, каменные россыпи. На карте все пространство от Буреи до Амгуни практически являлось белым.

пятном. О водоразделе и его склонах можно было судить, только разглядывая его в масштабе один к миллиону, где он был показан красивой отмывкой.

Прежде всего выяснилось, что попасть к месту работ очень тяжело. Хотя вьючных лошадей нам обещали, но пробираться по горной тайге к верховьям Буреи партией в тридцать человек было делом немыслимым. По подсчетам, за каждый день пути партия должна была съесть целый вьюк продовольствия и фуража. А надо было взять с собой еще снаряжение, инструменты, личные вещи. Если двигаться по воде, нужно было где-то достать лодки.

Вторая задача была еще сложнее. Идя друг другу навстречу, наши две партии должны были замкнуть изыскательский полигон в две тысячи километров, четыреста из них находились в горах, в необжитом районе. Как — не имея радиосвязи — можно встретиться на белом месте карты? А до встречи на хребте не могли начинать работу.

Обо всем этом я написал рапорт начальнику экспедиции Д. И. Джусю, предлагая превратить мою партию в рекогносцировочную, которая обследовала бы оба склона Дуссе-Алиньского хребта на участке двух партий. Гринцевича можно было бы перебросить на другой участок, а мы могли пересекать Дуссе-Алинь самостоятельно, не ожидая никого. Партия уменьшалась до шести-семи человек, становилась мобильной, а главное — вопрос ее снабжения значительно облегчался.

Джусь передал рапорт своему заместителю А. П. Смирнову. Тот встретил мое предложение в штыки.

— Трудности с транспортом на изысканиях — обычное дело, — возразил он. — А связь с Гринцевичем установите через проводников. На худой конец, поставьте вехи с флагами на вершинах.

— Но мы можем выбрать разные седла, может, в тридцати, а то и в пятидесяти километрах одно от другого. Вехи не всегда увидишь даже в гольцах. А искать проводников... Найдём ли мы их?

— Пока вы доберетесь, нам, вероятно, дадут самолет. Я облетаю хребет, выберу седло и скину вам записку, откуда начинать.

Возражать ему не стал, а опять пошел к Джусю.

— С самолетом действительно дело сомнительное, — наконец согласился он. — Придется принять ваше предложение. Раз уж пошел на то, чтобы вместо окончательных изысканий

делать предварительные, то уж пускай одна партия проведет рекогносцировочные.

Камень с груди свалился: организация упрощалась, работа предстояла интересная, а главное, судьба тридцати человек не лежала уже на моей совести.

В Свободном удалось получить лишь ящик пряников, бочонок селедки, ящик заплесневелого маргарина и полтора десятка банок мясных консервов. Пришлось рассылать людей по городам в поисках продовольствия. Муку получили в Комсомольске, растительное масло — в Благовещенске. Из-за хозяйственных неурядиц до Керби добрались через три недели. Лодок в Керби не было. Пришлось купить лес и просить начальника прииска помочь изготовить лодки. А время не ждало. С техниками Крестьянцевым и Реймерсом дежурили по очереди у реки. На пятый день, проходя по берегу, увидели бат с двумя эвенками. Оказалось, к верховьям Амгуни выезжала небольшая астрофизическая экспедиция, и теперь Николай с Христофором — так звали эвенков — возвращались в стойбище в устье Сонаха. О такой удаче можно было только мечтать. Лес уступили соседней партии и стали собираться. И хотя лето перевалило на осень, успокаивало, что наша партия удачнее других решила вопросы снабжения и, благодаря Христофору и Николаю, вырвалась вперед.

Семь дней, с раннего утра до вечерней зари, были в дороге. Остановились в нескольких километрах от стойбища эвенков. У них обычай поздно домой не приезжать. Пришлось и нам подчиниться национальной традиции. Пока мы подсчитывали мозоли, эвенки осмотрели следы ночевки. «Вчера ночевали три люди, — пояснили они. — Мой братка Егорка был. Везли двух сохатых».

Они не ошиблись. Дома их встретило угощение: разогретое в золе копыто сохатого, которого привез «братка Егорка». Эвенки поделились с нами сохатиной, угостили вяленным мясом и кетой.

На следующее утро двинулись дальше. Река все более мелела, сужалась, и, наконец, на третий день, упаковав имущество в буколы, мы отправились к устью Сонаха пешком. Шли вдоль русла.

Сначала уклон был невелик и подъем тропы не ощущался, но с каждым днем все круче и круче забирал вверх, вставая чуть ли не отвесной стеной. Ручей петлял, прятался в расще-

При этом вспоминали его заслуги: «Ведь это он в сорок втором предложил обойти волжские прижимы», «Сихотэ-Алиньский перевал его», «Это они с Татаринцевым в сорок третьем первыми прорвались к Сталинграду и начали укладку перегона между нашими войсками и группировкой Паулюса». Он разыскивал в тайге летчика Кривотулова, помогал вытащить из болота мотор самолета. Читать и слышать о нем приходилось много, но сам он — собеседник трудный. И не только потому, что он тяжело болен. Лишь только я завожу разговор о нем, он сразу же уводит его в сторону.

— Какой там самолет, — отнекивается он. — Что там хитрого?

— Все-таки... Разыскать человека в тайге...

— А-а, бросьте, — отмахивается он. — Конечно, было что-то в жизни. Ходит через Сихотэ-Алинь паровоз. Но разве я один?

— Но вы за это получили орден!

— Все получили.

— Но вы — за разработку перевала.

— Один, что ли, делал?.. Разработка, по сути, не моя, а коллектива. И если говорить о заслугах, то в первую очередь нужно вспомнить о Гвоздевском, который с тридцать восьмого года руководил всеми бамовскими изысканиями... Ведь не один я работал. Помню, Кузнецов тогда помог, натолкнул.

— Как натолкнул? — удивляюсь я.

— Работали рядом. Забирались с утра на косогор и целый день — по брюхо в снегу. Болтались наверху неделю, а путного ничего не приходило в голову. Вечером то он ко мне, то я к нему зайду. Обсуждали. Как-то пришел к нему. «Знаешь, кое-что есть, — встретил он. — Углубить выемку вот здесь, тогда можно будет развернуть трассу в сопку и по ней развивать спуск. Нужно только немножко додумать, как пораньше уйти с этого склона». С Сихотэ-Алиньского хребта трасса спускалась очень круто, и не было возможности развернуться, уйти в сторону. А сделать это нужно было потому, что внизу дорогу пересекали высокие, крутые холмы и глубокие лога и по этим волнам приходилось уходить от перевала. Долго мы с ним сидели, колдовали, но так ничего не придумали. Шел домой, а из головы не выходило: как изменить угол наклона трассы? И неожиданно подумал: а что, если расположить разъезд вдоль седла? Тогда еще наверху можно будет встать к склону боком.

линах, разбивался, теряя силу, обещая конец этому нескорому пути.

Открываясь с вершины Сонаха картина была величественной и удручающей. С узкого хребта круто, в отвес, падали каменистые склоны из сплошной осыпи обломков. На всем пространстве, что охватывал глаз, уходили за горизонт нагромождения гор. Если идти на север — придется пересекать уже два хребта: Дуссе-Алинь и Иткиль. Справа виден большой приток Амгуни — Умаки. В его бассейне можно было подойти к хребту Лан и с него подниматься на перевал. Но если идти по Умаки, приходилось увести трассу в сторону и значительно удлинить ее. Западная панорама была закрыта сопкой. Что там? По рассказам эвенков, за сопкой пряталось Эбканское седло, бывшее «маленько ниже». Насколько ниже? Пошли туда. Шли вдоль главного хребта, делая топографическую съемку, но через три километра инженер Егоров наотрез отказался идти дальше. Его одолел ревматизм. Легли пораньше спать. «Барометр» Егорова не ошибся: ночью пошел дождь, сменившийся к утру мокрым снегом, и три дня шел, не прекращаясь ни на минуту. Укутавшись в раскисшие полушубки, жались друг к другу. Сидеть было тоскливо и беспокойно: работы оставалось уйма, еда кончалась. Лишь только на небе открылись разрывы, полезли на сопку. Но и Эбканское седло не могло реально решить проблему спуска. Пора было сворачивать работы, уходить от хребта, но одолевала неуверенность. А что, если там, дальше, есть перевал? Не выдержал, решил успокоить совесть, рванул километров за двадцать пять. Грива медленно забирала вверх, и никаких признаков понижения. Сомнения были напрасными: пора было спускаться вниз.

Материалы изысканий должны были показать главному инженеру строительства Архангельскому.

— Слышал, у вас сложный участок? — встретил он меня. — Тут очень трудный у Тимофеева: на его участке трасса восемнадцать раз пересекала реку Бурею. Не знаем, как его и осиливать.

— У меня не легче, — я развернул кальку.

— Да, да! Какие большие работы! — склонился он.

Когда дошли до первых виадуков, Архангельский начал подсчитывать перепады высот.

— Какие работы! Какие большие работы!

Когда я развернул кальку дальше и открылся район главного хребта, Архангельский совсем расстроился.

- Как же улучшить?
- Перевальный тоннель... или идти на юг, искать там.
- Какой же длины тоннель?
- Десять километров. Лучше, конечно, еще длиннее, но тогда в тоннель попадает разъезд.
- Но его же долго строить! — возмутился он.
- Да, года четыре.
- Вот то-то!.. Мы всю дорогу должны построить за три с половиной года.
- Ну-у! За это время вы и к моему участку вряд ли подойдете.

В своих прогнозах я ошибся. Они были слишком оптимистичны. Строительство Дуссе-Алинского тоннеля закончилось только в пятьдесят первом году. Трасса ушла с нашего участка: сложность рельефа заставила искать перевал южнее. Для этого трасса от Усть-Нимана пошла вниз по Бурее к верховьям Амгуни и по ней поднялась на север. Удлинение получилось около ста километров, но работы оказались легче.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОМАНДИРОВКА

— Что рассказывать, — отмахивается он. — Двадцать лет было... Молод, глуп. Поехал за трудностями, за туманом, как сейчас говорят. Хотел сам испытать, что такое мошка, гнус, непроходимая тайга. И в тот же год, в партии Федорова, хлебнул полной чашей. Мокреца, мошки было столько, что кровь текла с лица. Мошка отъедала уши у лошадей, олени слепли. Голод. Забрались к черту на кулички, а еды всего, что принесли в рюкзаке. Две недели сидели с Крестьянцевым на сопке с полкружкой пшена на день без хлеба и соли. К концу отощали так, что ходили на четвереньках, и казалось, что так лучше, удобнее... Что тут вспоминать?.. Целыми днями с утра до вечера дождь. Палец разрубил на ноге. И в довершение всего свалился со скалы. Ехал домой, думал — все, хватит. Но к весне подостыло и потянуло опять...

С кем бы из старых изыскателей ни приходилось говорить о Викторе Игоревиче Реймерсе, все отзывались о нем с особенной теплотой и каждый находил в нем что-то свое. У одного он — прекрасный практик, другой называл его кристально чистым и прямодушным, у него золотые руки, говорил третий.

Утром опять прощупывали косогор, но уже с определенной целью. Мысль оказалась удачной: я расположил разъезд вдоль седла, трасса внизу вписалась в лог и по нему ушла от хребта. А Кузнецов сделал поперечный ход — разъезд расположился на склоне, и трасса внизу прошла по участку с большим перепадом высот. Отправили варианты на комиссию. Оставалось только ждать.

Был канун Ноябрьских праздников. Решил устроить себе выходной. Днем наловил хариусов, а вечером Кузнецов пришел ко мне в гости с женой. Достал припасенную бутылку спирта. Он выпил стопку и больше не захотел. Я не мог составить ему компанию: болели почки. Когда возвращались из-под Сталинграда, меня взрывной волной выбросило из кузова и сверху накрыло бочкой с бензином. Удар пришелся по пояснице. И хотя провалялся я тогда в госпитале полгода, почки не заживали. . . Засветили свечи и отдались воспоминаниям. Только что узнали о снятии блокады, гадали, живы ли наши, тосковали по дому. Из Ленинграда уехали в Дашкесанскую экспедицию и уже три года не были там. Мечтали о конце войны. Вспоминали, как застала она нас в Дашкесане на изысканиях.

Как в январе, в летнем обмундировании, зарывшись в сено, добирались по волжскому льду до Сталинграда. Как удивились, когда, возвращаясь в тыл, увидели вдоль дороги дома. Запорошенные снегом, они стояли, как украинские мазанки, вызывая желание остановить машину, зайти погреться и испить горячего чайку. Но это были штабеля из трупов. Пока мы гнали перегон, похоронные команды из пленных немцев успели соорудить их. Долго они обманывали нас. Но жизнь возвращалась, и эти аккуратно уложенные штабеля были доказательством нашей близкой победы. Все мы мечтали и жили для победы. Даже БАМ помогал в войну. Рельсы с участков БАМ — Тында и Ургал — Известковая вывезли под Сталинград. Эти рельсы помогли перегнать из сталинградского узла на Саратов скопившиеся из западных районов составы, а потом эти же рельсы поддерживали, помогали сжимать Сталинградское окружение. Не только люди, но и металл, рельсы торопили конец войны. . .

В тот вечер от жены Арсения, Кати, я узнал, что уже два месяца он ждет ответа на просьбу откомандировать его в действующую армию. Для меня это было неожиданно.

— Зачем тебе это? — удивлялся я. — Может быть, ты думаешь — там легче?

— Нет. Не в этом дело: легче или нет, — поморщился он. — Не знаю, поймешь ли меня? Я всю войну по тылам, все время рядом с фронтом. Можешь это назвать блажью, но я весь там. Вера какая-то во мне, что у меня там больше будет силы, хоть и трудно, но лучше, легче будет. Не понимаешь?

— Нет. Как-то туманно. Разве твоя вина, что ты здесь? Ты рассуждаешь как ребенок: здесь тоже фронт. Кто-то должен идти и за углем, и делать дороги. . .

— Вот именно, — горячо подхватил он. — Ты можешь так трезво рассуждать, а я не умею, не могу. Я не рисуюсь, но не умею рассуждать трезво. . .

— А кто делать будет, если не мы?

— Найдут. . .

Пора было спать. Я уговаривал их остаться, взял шубу, собираясь перебраться в барак к техникам, но он отказался: «Надо кое-что увязать. Завтра хочу пройтись». Он был совершенно неутомим. Все мы тогда спали по три-четыре часа, работали без выходных, целый день с утра до вечера в глубоком снегу, а он и в праздник не хотел отдыхать. Уходя, вспомнил о моей разработке перевала:

— Считаешь, нашел клад в моем огороде? Обскакал?

— Думаю, обскакал.

— Наверяд ли.

Я не предполагал, что это будут последние слова, которые услышу от него. Через три дня пришла его жена:

— Витя, Арсений умер.

Прилетел врач. Диагноз был прост: разрыв сердца на почве физического переутомления. И смерть его была проста: он вернулся с трассы, попросил чаю и через минуту умер. Это было десятого ноября 1944 года. А седьмого и восьмого, когда все мы отдыхали в бараках, он работал на трассе, ходил по Сихотэ-Алиню. Арсений был слишком требовательным к себе, и, видно, иначе не умел. Разъезд на вершине назвали в его честь — Кузнецовским. Он заслужил добрую память.

И моя командировка тогда затянулась. Назначили прорабом на перевале. В войну ведь сами проектировали и сами же строили. Потом Ургал—Комсомольск, Комсомольск—Мыс Лазарева. В Ленинград не тянуло: в блокаду не стало ни дома, ни родных. Вернулся туда только в пятьдесят четвертом, но уже усидеть на месте не смог. Весной опять собрался в дорогу,

и так до семьдесят второго. Если бы не эти чертовы почки!.. Там жизнь! Душе и телу простор! А здесь, — он огорченно махнул рукой. — Хоть раз были на большой стройке?.. Ну, тогда не поймете. . .

ВЫБОР ТРАССЫ

Николай Иванович Смолин — гидролог. Он побывал на всех бамовских изысканиях. Байкало-Амурская магистраль — это большой кусок его жизни. Говорят, что профессия накладывает отпечаток на внешность людей. Если это так, то Смолин действительно похож на кипящую и рокошущую дальневосточную реку.

— Знаете, — с нескрываемым воодушевлением гремит он, — кто впервые проезжает по БАМу, непременно обращает внимание на кажущуюся нелепость: сухое место — и громадный мостовой переход. Для чего? Можете объяснить? Кому понадобилось строить посуху мосты? Трудно ответить... Нас, побывавших впервые в районе реки Амгуни в 1934 году, удивило другое — реки. Дальневосточные реки сломали все наши прежние представления, перечеркнули все расчеты и выкладки, поставив перед мостовиками десятки задач. Весна. Европейские реки отяжелелись паводками, здесь же текут хилые ручейки. Хотя завалы и нагромождения леса по берегам, корчи — стволы деревьев, осевшие при спаде воды, и даже застрявшие в ветвях на десятиметровой высоте бревна — все говорит о том, что паводки здесь бывают просто страшные. Но вот прошли первые летние дожди — и вчерашний ручеек Керби закипел и разлился на семнадцать километров. К осени ждали катастрофы. Дождь льет с утра до вечера, а вода не поднимается ни на сантиметр. Опять загадка. И в чем, думаете, дело? — со свойственной прирожденным рассказчикам способностью он старался зажечь слушателя, не упустить его внимания. Оказывается, Баджалский хребет, откуда берет начало Амгунь, хотя и не поднимается в область вечных снегов, не имеет ледников, но снеготаяние на нем растягивается на все лето. Теплые дожди плавят снега, а вечная мерзлота, сковывающая долину, не дает впитываться влаге, вызывая летом на Амгуни и ее притоках исключительно высокие паводки. К осени мерзлота в поймах рек оттаивает, и земля и мох начинают забирать воду. Чтобы нагляднее могли представить себе, что это такое... с чем бы сравнить?.. Дальневосточные летние

реки — это вылитое ведро помоев. Катятся мутные водяные валы, выкорчевывают деревья, гремят валунами, а прошло пять-шесть часов — и опять смирный, неприметный ручеек. Поэтому выбор трассы в районе рек — дело кропотливое. Ведь здесь еще и богатейшее разнообразие ландшафта: болота и горы; река то вжимается в высокие скалистые берега, то растекается по заболоченной низменности; разветвленные, как борода Черномора, поймы и меняющиеся русла; места сползания снежных лавин и курумы — осыпи камней, которые под вашей ногой приходят в движение, — всего и не перечислишь. В этих условиях сложно было определить не только общее направление магистрали, но и отдельных участков. Поэтому поиск трассы в районе реки Амгуни растянулся на несколько десятилетий.

Первая экспедиция в этот район в 1934 году сумела лишь дойти до верховьев Амгуни и, застигнутая ледоставом, вынуждена была выходить к железной дороге через Баджальский хребет, пройдя по горной тайге триста километров, ночуя у костров, на подогретых в кострищах камнях. Не обошлось без курьезов, Смолин рассказывает:

— Когда изыскатели вышли к станции, их попросили пройти в милицию. Вид их был подозрителен: одежда висела ключьями, обросшие щетиной, с черными, невымытыми лицами. Попытки объяснить только больше настораживали двух молодых милиционеров. Пропущенный вперед для переговоров и пытавшийся держать себя солидно, начальник партии выглядел не менее странно, чем остальные: одна нога его была обута в валенок, другая — в сапог, который был явно с чужой ноги.

Учитывая неудачи первой экспедиции, изыскатели в 1937 году решили подниматься по Амгуни на батах — небольших долблених лодках. Но их застали летние паводки. Лодки опрокидывались, разбивались о камни, имущество и продовольствие шло на дно. К месту работ они добрались только во второй половине лета. И опять изыскателям, работавшим в отдаленных районах, пришлось испытать трудности: работы затянулись, еды не хватало. Особенно тяжелое положение сложилось в партии Н. И. Иванова, которая вынуждена была оставить имущество и снаряжение и без продовольствия выбираться из тайги.

Несмотря на это, экспедиция привезла богатый изыскательский материал. Были составлены детальные морфокарты всего левого берега Амгуни. По этому варианту трасса прохо-

дила поймой реки, затапливаемой в паводки, а где река прижималась к высоким скалам, полотно дороги должно было идти прямо по руслу реки. Для этого требовалось отсыпать водоотбойные буны и траверсы, а чтобы насыпь не размывало, валуны нужно было укладывать весом не менее тонны каждый. Конечно, приходилось учитывать, что со временем река найдет слабые места, как бы прочно ни было укреплено полотно. А поскольку протяженность скалистых берегов была большая, левобережный ход казался трудоемким и дорогим. Решено было снова вернуться к правобережному варианту. . .

— Извините, — не выдержал я, — меня удивляет: зачем было проделывать такую большую работу, когда итоги ее могли оказаться бесполезными? Вам не кажется, что это возвращение к правобережному варианту требует нравственного оправдания, не говоря уж о деньгах?

— Нет, — горячо возразил он, снисходительно улыбнувшись моей запальчивости. — Бесполезными они не оказались. Попытаюсь вас убедить цифрами: затраты на изыскания составляют всего около двух процентов от стоимости строительства. Ошибка изыскателя стоит во много раз дороже, чем сами изыскания.

И, словно пытаюсь замазать мой конфуз, он продолжал:

— Уже в следующем, тридцать восьмом году новая экспедиция обследовала правый берег Амгуни. Был составлен детальный план района. На плане обрисовался рельеф русла реки при выходе ее с гор, контуры полей торфяников, вечной мерзлоты и узких полос вдоль берега, где мерзлота растоплена. Более ровная местность, отсутствие мерзлоты, которую здесь растопили грунтовые воды, доступность для автотранспорта — все это выгодно отличало правобережный вариант от левобережного.

Но изыскания должны проверить все существующие возможности для строительства. Поэтому в тридцать девятом году был пройден третий — подгорный вариант. Он не обещал дать лучшего решения, местность была значительно выше. В профиле линия трассы должна была подниматься круто вверх и, обогнув русло реки в районе конуса-выноса, опуститься большим уклоном. К тому же для выхода к реке Ирунгде приходилось искусственно удлинять трассу.

Окончательное сравнение всех трех вариантов показало, что правобережный является самым экономичным. Он и был рекомендован к строительству в сороковом году.

Как видите, участок в верховьях Амгуни сложный, — говорит старейший сотрудник Ленгипротранса. — Но на БАМе ведь немало таких тяжелых участков. Строить БАМ трудно. Без современной высокопроизводительной техники и самой совершенной организации строительства на БАМе делать нечего. Строительство БАМа — проверка нашего роста. Зато и перспективы, которые открывает это строительство, значение этого края для экономики страны просто неоценимы.

Знаете, — мечтательно говорит он, — откроется линия Ургал — Березовка, возьму билет и поеду по БАМу. Ведь этого ждал сорок лет. Разве не замечательно посмотреть на дело своих рук? Это лучшее, что останется после нас.

Олег Левитан

БАЛЛАДА О ДУРНОЙ ПРИМЕТЕ

Он курчав и смугл. А румянец ал.
Гнать велел коней. «В Петербург!» — сказал.
Распирало грудь. Путал мысли ром.
Вдаль летел возок снежным севером.

А назад летел частокол из лип.
Лошадиный храп да полозьев скрип.
Ошибись, ямщик! Заверни в сугроб!
Остуди, снежок, воспаленный лоб!

В эту даль — нельзя! Там — черна гроза!
А седок вздохнул и закрыл глаза.
Видно, жизнь ему будто в горле ком —
что в тюрьме сырой, что в Михайловском...

«Там — мои друзья, мне без них невмочь!
Если битва там — я бы смог помочь!
Если ж прахом все и в крови родник
нашей Вольности — знать, и я должник!...»

А над ним летит та, чей голос тих,
та, что боль и грусть превращает в стих,
та, кому легко и его житье, —
и звучит над ним голосок ее...

«Ты — избранник мой, я — твоя судьба...
Я молю тебя — не губи себя...
Риск — удел друзей, а твоя корысть —
ночью свечи жечь, утром перья грызть...»

— «Нет, оставь, отстань! Не могу я так!
Или дружба — пыль, и ценой — в пятак?..»
— «Их пути трудны, а твои — трудней,
ты — должник судьбы, не забудь о ней...»

А глаза ее — как глаза Аннет.
А метельный снег замечает след.
И исчезла тень, повторив: «судьбы...»,
так, что кони вдруг встали на дыбы!

«Что там, брат ямщик?» А ямщик сквозь жуть:
«Да косою, видать, перебег нам путь!
Знать, охота, что ль, слышь — собачий лай?»
А седок кричит:
 «Заворачивай!..»

..И опять летит частокол из лип.
Лошадиный храп да полозьев скрип.
А метельный снег замечает след...

Замечает след. На десяток лет.

Валентин Бобрецов

ШТОРМ НА ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ

Ладога — не озеро, ладонь.
И гадай по линиям волны:
либо кверху дном, на валуны
Валаама, либо же — на дно.

Бьются брызги сотнями багров
о борта, а эхо — до глубин
озера, и помнится по гроб,
что закат на Ладоге багров:
будто не вода — гемоглобин!

* * *

Не надо незначащих слов.
Не надо судить и судачить.
Пусть будут — весна и весло.
И удочка, купно с удачей.

Пусть будут — огонь и табак,
Задачи — с исконными иксами.
Чтоб волосы ветру трепать —
простор...

И глядела б не искося!

Борис Мельников

ВАЖНЕЕ ПОБЕДЫ

РАССКАЗ

Ринг, ринг, ринг, ринг — резкие пронзительные звуки этого слова уже с утра звучали в нем. Как только проснулся, оно зашевелилось коротким твердым «р», скользящим, стелющимся «и», обрываясь приглушенно, но ясно.

Бой начался уже тогда, утром, когда Юра четко и быстро делал зарядку, четко и быстро прибирал комнату, собирался в институт. Четко и быстро, но не раньше того момента, который наметил Юра, иначе образуются пустота и неясность.

Не раньше и не позже подойдет трамвай, на котором он поедет в институт, не раньше и не позже начнутся и кончатся лекции, и он пообедаст, отдохнет, пойдет в спортклуб. Он знал, каким будет сегодня: улыбчивым, мягким, расслабленным. Самое главное расслабиться и быть собой, понять, что ты хочешь, что хочет твой организм.

Сегодня бой с Быковым, тем самым Быковым, который всегда спокоен, собран, о котором пишут в газетах и который признан настоящим боксером.

Быков давно и уверенно определился в жизни. А он? С детства уготован путь по стопам родителей в науку. Но зачем, для чего?

Год назад он боксировал с Быковым и проиграл. Проиграл еще до боя, смирившись с тем, что Быков сильнее, опытнее и ничья — корректный почетный проигрыш по очкам — вполне прилична и достаточна.

Ринг, ринг, ринг — шелкающее, быстрое английское слово росло, зрело, набухало. Но наполнить до краев, вырваться, вы-

плеснуться оно должно только на те девять минут боя, ради которых, которые. . .

Только бы в гардеробе не встретить какого-нибудь говорливого знакомого. Подняться в раздевалку с черного хода по скрипучей лестнице.

У раздевалки он увидел тренера, тот сразу встретился глазами с Юрой.

— Проходи, проходи, что стоишь?

Юра, невольно повинувшись жесту, быстро шагнул к двери, рванул на себя и вошел.

Запах мужских тел, сосредоточенность и деловитость ребят в раздевалке сразу создали в нем тот настрой, когда знаешь, что, как и почему надо делать.

Он переоделся, коротко переговариваясь с ребятами, все делал четко, в одно движение, и делал добротнo, уверенно. Обуть боксерки, затянуть шнурки так, чтобы нога была мягкой и цепкой, почувствовала пол, поправить трусы — и тугая, в три ряда, резинка не будет мешать дыханию.

Он пошел в зал на разминку.

Сначала бег. Ноги вроде бы легкие, но какие-то нервные. Он чутко вслушивался в свой организм. Каждую клеточку надо заставить трудиться. Все быстрее и быстрее упражнения.

Руки уже сильные, послушные и сами знают, что им делать. А корпус? Ниже, еще ниже нагнуться, вот так, вот так. И снова руки — быстрее, сильнее, еще быстрее, еще сильнее. Потянуть мышцы груди. Хватит.

Он взял плотно скатанные специальные эластичные бинты, внимательно осмотрел их, хотел положить на скамейку, но сунул их под мышку, несколько раз сжал и снова расслабил пальцы, потом начал бинтовать кисти рук. Начал с большого пальца: ровно и плотно обернул его, затем подтянул бинт к ладони и три раза обмотал ее так, чтобы прижать бинт, идущий от пальца, тогда плотная эластичная лента укрепит его, придаст уверенности, и он не будет выбит или растянут при ударе. Провел бинт через тыльную сторону ладони и два с половиной раза обмотал вокруг лучезапястного сустава.

Делал он все это с удовольствием, радуясь своему умению, уверенным движениям, тому, как красиво ложится лента, мягко, будто ребенка, укутывая руку.

Вновь перевел бинт на ладонь, особенно тщательно перебинтовал боевую площадку, пошевелил пальцами — не туго ли? Нет, все в порядке. Опять поднялся по ладони к суставу и сно-

ва спустил бинт на боевую площадку, конец его подсунул под бинты на ладони.

Руке было легко и приятно, «одежда» не стягивала ее, а только объединяла пальцы и ладонь во что-то новое, законченной формы — в кулак.

Потом Юре надели перчатки, спросили, удобно ли.

— Да, спасибо, удобно.

«К рингу! К рингу! К рингу!»

Зал смотрит из полутьмы, веет тысячеглазым вниманием, затаенное дыхание касается груди, плеч.

Юрий пролез под канаты, повернулся в свой угол, зажмурился, так как свет был слишком ярок, потом сразу открыл глаза и смотрел уже только на тренера.

Лицо тренера толстое, мускулистое, вырезаны лишь самые главные складки и черты, вырезаны глубоко, четко и определенно, между ними сильные, огрубевшие от ударов, собранные в тяжелые блоки мышцы. Глаза серые, способные понять, знающие твердо и определенно, безо всяких метаний, кто есть кто и на что способен.

Шум усилился, и опять что-то тысячеглазое колыхнуло из зала. Да, пришел Быков. Юра повернулся и одним взглядом увидел его всего. Увидел его широкую, с хорошо развитыми мышцами грудь, волосатые руки, чуть грузные бедра, приподнятые, будто от избытка сил, плечи, увидел уверенное, мужественное лицо.

Он представил, нет, наверняка знал, как Быков медленно, тягуче вставал по утрам, мылся, потом на завтрак ел кашу, да, да, Быков обязательно должен любить манную кашу. Медленно и обстоятельно говорил с женой, хотя она торопилась, а потом вставал из-за стола и оказывался очень подвижным, еще успевал помыть посуду, и делал это споро и весело, и становилось понятным, что его медлительность и сонливость только кажущиеся.

Когда судья позвал Юру в центр ринга и Юра пожал Быкову руки, глаза их встретились серьезно, настороженно, поискали слабинку, или растерянность, или зазнайство, или еще что, сказали: «Ты уж смотри, ты ведь знаешь...»

Юра был совсем спокоен — за эти несколько секунд волнение прошло, оставив ожидание начала боя, вкрадчивого звука гонга.

Юра начал бой на длинной дистанции. Легкие, быстрые удары в голову, в корпус, в голову. А что Быков? Снова в го-

лову, в голову, только левой, джеп-джеп. А Быков? Не подпускать, раздражить его этими ударами. Вся игра только левой, а правая у подбородка в засаде. Но Быков хладнокровно ловил удары в перчатки, искал брешь в защите, прощупывал редкими ударами, финтами.

«Хочет бить наверняка, наверное, уже видит лазейку в обороне?»

И когда очередная серия быстрых ударов кончилась и Юра должен был шагнуть назад, он толкнулся вперед носком правой ноги и замедленно, будто подчиняясь ритму какого-то неслышного и непонятого другим танца, ступил вперед, ступил так просто и естественно, неуловимо, что Быков не среагировал, не понял, что это шаг, будто Юра скользнул с одной невидимой волны на другую и вдруг оказался рядом.

Юра ударил левой в голову и сразу правой и левой по корпусу и неожиданно, будто у него не две, а одновременно десятков рук, понесся к цели.

Глаз не мог уследить конца одного удара и начала другого, и, казалось, Быков окружен белым крутящимся облаком, из которого неясно выделялись локоть, перчатка, снова исчезали и появлялись уже в другом месте этого облака.

Было очевидно, что руки человека не способны на такую точность и скорость. Казалось, это огромная пила, зубья которой сливаются в блестящее кольцо и вгрызаются, врезаются в защиту Быкова.

И вдруг облако опало. Юра сделал шаг назад, подтянул левую ногу, замер на мгновение, и оказалось, что правая рука все так же в засаде у подбородка.

Он провел взглядом по телу Быкова сверху вниз и потом опять вверх так плотно и жестко, что казалось, волоски на его руках и ногах прижмутся, как если бы по ним провели ладонью. Взгляд уперся в лицо и, видимо, нашел там то, что искал, потому что Юра опять сделал шаг вперед и еще что-то неуловимо быстрое, а потом повернулся спиной и, опустив голову, медленно пошел в угол.

Это было странно, и зрители, не понимая, следили за ним. Но потом оказалось, что Быков лежит на полу, а судья уже ведет счет. Зал не знал, как реагировать, и затих.

Юра поднял голову и нашел глаза тренера. Он прочел в этих серых под тяжелыми веками глазах поддержку.

Он снова встретился с Быковым в центре ринга и сразу

отступил. Быков сильнее. Начинается новый бой, то, что было, — только подготовка.

Уклониться, уклониться от удара и встретить Быкова. Резко вот так, в голову. Юра быстро, как бы не упустить начала атаки, взглянул в лицо Быкову, в светлые с затаенным металлическим блеском глаза, увидел, как они напряженно разглядывают, изучают, расчлняют его — Юру. Теперь уже трудно сосредоточиться, когда знаешь, как такой взгляд режет защиту, безжалостно, как на весах, без смягчений и недоговоренностей, диктуемых правилами приличий, разбирается в тебе, определяет, кто ты, что ты, что в тебе настоящего и где слабина.

Сейчас нокдаун только подхлестнул Быкова, сделал более серьезным, решительным, цепким. Он не бросился вперед, а методичными, точными, сильными ударами стал разрушать оборону, проникать в нее, искать брешь, чтобы ворваться, смять все то, что называл в себе Юра словом «боксер». Отступить и ударить, снова отступить.

Гонг. Раунд кончился.

В углу уже ждет тренер. Его полное лицо выглядит значительным. Он скажет самое важное, нужно только ловить и исполнять каждое слово. Нужно довериться полностью, больше, чем себе, и понять его за эти краткие секунды.

Но что будет во втором раунде, если бы хоть кто мог сказать?

— Отходи, но не уступай, не позволяй навязать ближний бой...

Гонг прервал тренера на полуслове, он хотел еще что-то добавить, но решил, что не успеет, только собьет с того, что уже внес, передал, и, взяв стул, который приносил для Юры, неуклюже, по-медвежьи спустился с ринга, обернулся к этому ярко освещенному, туго натянутому квадрату брезента.

Второй раунд.

Сразу в центр ринга. Левой, правой, нырком уйти от удара и коротко ответить в голову. Коротко, но не сильно. Правая в засаде для третьего раунда.

Его тонкое, по-кошачьи гибкое тело казалось неуловимым для правильных, спланированных атак противника. Казалось, уже пойман, загнан в угол, но вдруг быстрое движение плечами, бедрами, и уже ускользнул, уже в центре ринга, стройный и сухощавый.

Но Быков идет вперед, не торопяся, косолапо, безостаново-

вочно, неумолимо, будто машина, у которой ни усталости, ни людских сомнений, которая преследует, загоняет в угол.

Ты сам оставил Быкову только один путь: вести бой жестко, профессионально, с полной отдачей сил, как научили его первенство страны, международный ринг. Быков каждым четким, хлестким ударом подчиняет своей воле, стилю. Он в самом начале гасит твою атаку, доказывая, что ты дилетант, не способен, не достоин вести бой и должен сдаться, признать свою несостоятельность.

Юра видел, как Быков быстро и четко пресекает каждую его попытку импровизации легкого игрового боя, обрубают, занимает его часть пространства на ринге, оттесняет в угол к канатам. Юра понимал неотвратимость лобового столкновения, но оно подготавливалось Быковым не спеша, хладнокровно, будто все уже предрешено. Это подавляло и завораживало. Но ты должен не уступать беде, делать все честно, как положено: только так можно изменить судьбу, только так останешься верен себе. Только так! Не бояться, самому идти вперед!

И все равно Быков поймал, — он и должен был поймать. Он приучил Юру к приему «солнышко», перед боковым ударом делал круговые размашистые движения корпусом, будто ударит то с одной стороны, то с другой, но не атаковал, только пугал. А сейчас вдруг (Быков знал, когда должно наступить это «вдруг») он бросил всего себя в резкий боковой удар в голову, так, что перчатка ворвалась, впечаталась откуда-то сверху, где нет защиты. Потом перенес вес тела на правую ногу и развил атаку в ближнем бою — все правильно, красиво, элегантно. Легким, быстрым движением отодвинулся, и правая его рука ударила в узкий промежуток между их телами точно, математически изящно. Юре показалось, будто тяжелый, наполненный песком мешок тупо, но с огромной силой ударил откуда-то из темноты зала, а потом все дернулось, качнулось в одну сторону, затем еще сильнее, так, что уже еле удерживаешься на ногах, в другую, и кажется, ринг, зал, Быков, судья — все перевернется, и надо быстрее упасть, прижаться, прижаться к спасительному полу.

Но нет, нельзя, надо стоять, надо оттолкнуться от канатов, тяжело, медленно ступая, уйти в центр ринга и не опускать, не опускать рук! Иначе засчитают нокдаун.

Мелко, противно дрожат ноги. Ощущение тошнотворности, загнанности во всем теле, в мозгу, липкий пот катится между лопаток, тяжестью набухает в майке. Нужно симулировать

активность, не дать Быкову развить атаку, загонять по рингу, забить. Следить за ним, не пропустить короткий жалящий удар справа, иначе — уже не встать.

Но Быков идет вперед размеренно, целеустремленно, и под его сосредоточенностью, строгостью — как под прессом, как, наверное, под дулом револьвера, когда уже притягивается к твоему лбу темное, круглое пятнышко ствола, в котором прячутся и жизнь, и смерть, и судьба твоя, и может, все — конец, может, вот твой последний глоток воздуха, такой терпкий, такой сладкий, такой жгучий, и последний луч света, виденный тобой, ведь это грань, дальше — ничего, а то маленькое, загадочно темное отверстие ствола гипнотизирует, накатывает страхом, жутью.

Куда, куда уйти от него? Рвануться влево, вправо, обмануть, а потом... Что потом?

Не хватает одного совсем короткого мгновения, чтобы понять, что и как надо сделать, где спасение.

А удары прямые, сбоку, снизу сотрясают, пробивают защиту. Опять удар, еще, еще, еще, уже у самого подбородка, чуть ближе — и достанет, накроет, впечатается в лицо. Серии: одна, другая. Как остановить? Уже не успеть, не поймать их, только бросить тело влево, вправо, назад, уйти из-под атаки. Но Быков видит, знает, как ударить, чтобы сбить, смять, нокаутировать. И не спрятаться, не закрыться, только канаты за спиной.

Юра чувствовал в изменившемся ритме боя, в том, как перенес Быков вес тела на правую, находящуюся сзади ногу и готовит удар, видел в пластике и законченности движений, что цель уже намечена, пристреляна и только какой-то малости еще не хватает для удара последней атаки.

Опасность в каждом движении, взгляде, каждом непонятном и поэтому неожиданном изменении ситуации, в которой ты барахтаешься и которая несет и кружит тебя.

Вот, может, уже началось, и летит перчатка в том страшном, неожиданном, неизвестно откуда возникшем ударе, и очнешься лишь на полу с отупляющей, резкой болью в затылке, странным, как под наркозом, ощущением в челюсти, а ринг поплывет, поползет перед глазами, и не остановить, не собрать того, что было сознанием, честолюбием, Юрием. И никто, ничто не спасет тебя — ты один, за спиной лишь канаты.

«Нельзя бояться, — натужно, между вздохами, мысленно сказал себе Юра, — шире развернуть грудь, не сжиматься».

И тут — как нечто высшее, свободное от страстей, неоспоримое — раздался гонг.

Значит, пойти в угол. Тяжело опуститься на стул. Раскинуть руки на канаты. Вздохнуть полной грудью, на секунду закрыть глаза.

— Все хорошо, — заговорил тренер, — в конце ты остановил его. Не гонг спас — сам выстоял. Все правильно.

Он обтер губкой лицо Юры. Во рту Юры был горький, полынный привкус и во всем теле ощущение исхлестанности, боли, разочарования.

Юра встал и покачался на носках. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, ощутил, что тело его состоит из мельчайших мышц-волокон, оно раздроблено и каждая частица живет сама по себе. Каждая готова к бою, напрягается, пульсирует, и Юра понимает, чувствует любую, самую маленькую из них, но они — каждая сама по себе и поэтому разбивают, пронизывают тело нервной дрожью, и не собрать, не объединить их.

Ему показалось странным, что вот он, в майке, в трусах, стоит на белом квадрате ринга под жгучим светом ламп, под взглядами людей. Он не думал о зрителях, но сейчас посмотрел в зал на лица, которые показались ему неясными пятнами, удивился этому и побежал глазами по этим бледным теням, не понимая, зачем нужен бой, схватка, он сам праздно расслабленным, отдыхающим людям. Глаза его перескакивали с одного ряда на другой все выше и выше и не знали, куда же им деться, и вдруг взгляд его споткнулся и сразу глубоко вошел, будто провалился, в чьи-то глаза. Это были блестящие, манящие женские глаза. Юра на таком расстоянии в полутьме не мог разобрать черт лица, но совершенно отчетливо представил разрез чувственных губ, черные, собранные в тугую блестящий узел волосы.

Он никогда не думал о женщинах ни во время боя, ни перед его началом: это мешало боксу и, самое главное, казалось второстепенным. Но сейчас острый женский взгляд перевернул все его чувства и представления.

И когда раздался гонг, он, становясь плотно всей ступней, пошел в центр ринга. Быков шагнул вперед мгновением позже. Одним сильным уверенным движением он поднялся со стула, распрямился и подался вперед. Еще в движении он разглядел, как скосолапила уставшая левая нога Юры, и глаза Быкова царапнули по этой ноге.

И сразу же — тата-тата-та-та-та — прозвучали отрывисто, как автоматная очередь, удары Быкова. Сильные прямые удары с обеих рук должны были отбросить Юру и решить исход боя. Но Юра не ушел в сторону, не уклонился, а сам — с ударом — шагнул вперед.

Люди, далекие от бокса, часто полагают, что боксер хочет изувечить, изуродовать соперника, что здесь проявляются темные, звериные инстинкты. На самом деле спортсмен не испытывает злобы или желания сделать что-либо обидное, оскорбительное, просто ринг имеет свои законы. Противник не является человеком, на которого распространяется «жалко» или «не жалко». Он — это второй «ты»: ему тоже необходимо выйти на ринг, он, как и ты, не может без этого и, осознанно, полностью представляя опасность и риск, готовился к бою, хотел и хочет борьбы, победы.

Иди вперед, резко брось кулак, потянись, достань, ну достань же его подбородок! И снова вперед, та-та-та-та, та-та-та — звучат удары перчаток.

Юра не знал и не думал, каким будет удар, — уже захватила, повела интуиция, когда не знаешь, отчего и почему надо сделать именно так, но это надо сделать, и управляет тобой какое-то непонятное чувство уверенности, правильности.

Надо ввести руки между перчаток Быкова и работать, работать по корпусу так, будто не стонут, не дрожат от усталости мускулы.

Как стремятся к тем единственно верным мыслям, словам, отыскать которые, осознать бывает мучительно трудно, так, неосознанно, интуитивно подчиняясь этому стремлению, Юрий искал то движение, атаку, то большее, что он не мог назвать словами и что нельзя предугадать.

Но как тяжело идти вперед! Дрожат ноги, сдавила грудь майка, и уже нет легкости в руках. В обороне Быкова брешь, и, значит, атаковать, прорваться в нее — влечет, командует, гонит вперед чувство боя. Желание, страсть победы не дает отдыха, вперед изо всех сил!

И Юра нашел то движение, ту неожиданность, которая должна была появиться. Он готовил атаку правой, она была в засаде, и Быков видел ее и стерег. Но когда атака уже была готова и должна была резко и жестко вылететь перчатка, Юрий вдруг, сам не зная почему, подчиняясь какому-то неведомому приказу, по-кошачьи гибко и пружинисто шагнул в сторону, будто выскочил из заряженного пространства их проти-

воборства, левая рука его поднялась и метнулась по дуге сверху, сбоку, вылетела к челюсти и накрыла ее, и вот теперь он почувствовал будто взрыв в мышцах правой руки, и она выстрелила кулаком в перчатки Быкова, пробила, прошла через них.

Юра видел удивленные, ставшие отрешенными глаза Быкова, словно тот силился решить какой-то вопрос и — не мог. Юра хотел атаковать, но Быков прижал его руки, снова прижал их, судья сделал замечание.

Раздался гонг. Они оттолкнулись друг от друга и мгновение стояли, не зная, что теперь делать. Потом Юра увидел, что у канатов его уже ждет тренер, и пошел к нему.

— Ну вот... — тяжело, прерываясь на вдохе, сказал Юра, — важнее, чем даже победа... — Он хотел сказать, что же важнее, но сбился, получалось путано, нескладно, и он замолчал.

— Да, да, — тренер, деловито теребя руку, снимал перчатку.

— Ведь так?.. — снова начал Юра, но уже позвали в центр ринга, и судья властно сжал его руку, поднял ее вверх, а Юра все хотел повернуться к тренеру и услышать от него или сам сказать, что понимает: Быков сильнее и победа во многом — аванс за молодость, но не победа важна, а то, какой бокс, вернее, не сам бокс, а... нет, не сказать точно, надо потом подумать, сейчас не сосредоточиться.

Может, это понял и скажет тренер?

Но когда Юра подошел к нему, тот притянул его к себе, прижал с силой — щека к щеке, но ничего не сказал и пошел вниз с ринга.

Юра обернулся назад, к Быкову. Нельзя же так просто расстаться. Когда еще увидят друг друга? Он хотел пойти за Быковым, но Быков уже пролез под канаты и спускался вниз.

И не побежишь, не крикнешь: «Быков, Быков, стой!» — нетактично, и, верно, другое у него на душе.

Быков ушел, исчез за хлопнувшей половинкой двери. Уже его как будто и не было в зале.

Юра остался один на ринге и, значит, тоже должен уйти — готовится следующая пара. Он пошел за тренером по проходу, между зрителями, еще ощущая остатки их внимания к себе.

У выхода из зала он остановился и стал смотреть в ту сторону, где сидела та женщина. Она, конечно, захочет встретиться с ним, ведь она почувствовала то необычайное, что воз-

никло между ними и связало их. Но почему-то нигде не видно ее черных, без полутонов волос, азартных блестящих глаз.

Под душем Юра задрал голову, хотел сказать, прокричать в тугие, рвущие тело, горячие струи воды о боксе, о том, что испытал он, но звуки, невнятно пробурлив где-то в горле, так и не родили слов. Может, нечего сказать из-за того, что победа нужна была только ему и она — лишь самоутверждение некоего Юрия. Если бы люди были благодарны за его победу и нуждались в ней, то не возникли бы сейчас сомнения и неопределенность. И может ли вообще появиться от любого триумфа на ринге чувство уверенности в его необходимости, обязательности для других людей? Может ли возникнуть ощущение, что он вложил все свои силы, весь свой дух в дело достойное, настоящее и совершил все, на что способен? Значит, пора романтики прошла? И бокс был только этапом? И нужно научиться не удивлять людей, а научиться жить среди них. И должно быть что-то более важное, чем победа?

Юрий Решетников

ОСЕНЬ

По лесам бродит русская осень,
Шелестит пожелтевшей листвою.
Чуть поблекла небесная просинь,
Птицы к югу летят надо мной.

Все вокруг приумолкло, заснуло,
Чище воздух, прозрачней леса.
Что-то рыжее там промелькнуло...
Может, осень, а может, лиса.

Виктор Менухов

ВЕЧЕРНЕЕ

Протру окно
и гляну на дорогу,
до сумерек плутавшую в лесу,
надену сапоги на босу ногу
и дров для печки русской принесу.
Они подсохнут за ночь...
На повети
угомонились куры — спать пора!
И даже ветер,
деревенский ветер,
пропал, как пес бездомный,
до утра...

* * *

Обнимались,
в шутку целовались
на крыльце, к перилам прислонясь,
и, догадываясь, не скрывали,
что дороги разные у нас.
Где-то за околицей сознания
в памяти ты все-таки живешь,
и во снах приходишь на свиданье,
и шумишь,
как на закате рожь...

* * *

Опавшие листья считая,
шуршат за окошком дожди.
Береза, от ветра шатаясь,
скворечник прижала к груди.
Кусты похудевшей сирени
висят на руках у плетней. . .
И верит всем сердцем деревня
в способности солнечных дней.

Лариса Сидоровская

* * *

Во мне таилось, мучилось, росло
простейших слов незримое тепло.
Как боль растет, себя перерастая,
и как надежда теплится во мне!
Комок золы в душе моей оставив,
гори, несовершенное, в огне!

Гори, несовершенное, пылай!
Какой же я доверчивой была!
Как я ждала, когда придет живое,
родится слово с первой травой,
придет весна, в апрель стучится май!
Гори, несовершенное, пылай!

* * *

Я — как твое отражение,
Как тень, что крадется следом.
Кто ты — мое поражение
Или моя победа?

Хочу головокружения
Я всю полноту изведать!
Кто ты — мое поражение
Или моя победа?

Любовь — это притяжение,
И радости в ней, и беды!
Кто ты — мое поражение
Или моя победа?

А в мае весны брожение,
И май закружил нас где-то...
Ты — все мое поражение!
И все-таки ты — победа!

КТО ДРУГ, КТО ВРАГ

РАССКАЗ

Он свернул с дороги и шел по болоту, как цирковая лошадь, высоко вскидывая колени. Так он привык ходить, — будто сотня голосов кричит ему со всех сторон: «Не наступи! Не раздави!» Он раздвигал голубичник, и ни одна ягода не падала с ветки от прикосновения его сапог. Егерская эмблема, как и солнце над лесом, искрилась у него на фуражке странным сиреневым светом.

«Почему такое солнце? — думал он. — К дождю или к заморозкам? Пора бы докосить овес, а здесь такое ЧП. Чего доброго, останутся из-за этой Старухи глухари на зиму без подкормки».

Рысь напала на двенадцатилетнюю девочку. Девочка вместе с матерью собирала на болоте голубику. Вот здесь, у этой сосны, она наклонилась и...

Значит, Старуха затаилась вот на этом суку.

Женщине удалось отбить у рыси свою дочку. Она действовала палкой. Лесник Сенька отвез пострадавших на телеге в больницу.

— Ты, Михеич, ее не жалея! — говорит Сенька. — Ты ее пристреди. Раз уж начала баловать — все, сладу не будет.

Егерь сам воспитал эту рысь и назвал ее Старухой за то, что она еще котенком по-старушечьи морщила нос. Он вспоминал, как она мурлыкала и терлась о его сапоги, и было трудно представить ее разъяренной.

Егерь поднял палку и осмотрел. Это была давно срубленная кем-то молодая сосенка с облупившейся корой, совершенно

гладкая. Михеич бросил палку и стал осматривать след. Между отпечатками лап Старухи по черной торфяной плешине тянулась кровавая полоса.

— Ранена палкой? — удивился он.

Запах багульника дурманил голову, и мысли путались. Он поймал себя на том, что ему все еще жалко Старуху. Жалко больше, чем ту девочку, которая будет жить, а Старуха должна умереть, потому что теперь она вне закона.

— Даже если ты ранена, все равно ты озлобилась не против ружья, а против человека, и я должен тебя найти, — успокаивал Михеич свою совесть.

А сердце протестовало против убийства, и мозг тщетно искал оправдывающие Старуху обстоятельства. Он думал даже, что вот приведет Старуху домой, закроет и больше не выпустит в лес. И тогда звучал Сенькин голос: «Ты, Михеич, ее не жалея. Ты ее пристрелил». Нет, он не мог взять на себя ответственность за Старуху.

Михеич вспоминал свою жизнь и думал:

«С каких пор я, егерь, стал жалеть зверей? Когда произошел во мне этот перелом? Когда увидел, что люди — сытые, имеющие вдоволь и хлеба, и мяса — идут в лес убивать и радуются агонии маленького рябчика, крови, брызнувшей из лосиного бока. А я, егерь, должен вносить в этот спорт законность и порядок...»

В прошлом году такие мысли привели Михеича к тому, что он решил бросить свою работу. Он уже написал было рапорт начальству, но в районном центре, просматривая газету, увидел: «...отстрелять по области пятьсот лосей». Цифра была явно преувеличена. Его участок был самым богатым в области, а насчитывал стадо всего в четырнадцать лосей. Но Михеич знал, что такие решения никто и никогда не меняет. Завтра хлынут в лес толпы спортсменов с бесчисленными лицензиями. А лосей надо спасать. Не заходя к начальству, Михеич вернулся в лес. Оставалась одна надежда на благоразумие старого вожака лосиного стада Буяна.

Посреди Хлюпова болота есть неприметное сухое место, куда Михеич решил заманить лосей на временную стоянку. Взял он мешок соли и понес к Хлюпову болоту лосиными тропами, присыпая время от времени солью свои следы. Пройдя километров пять, Михеич сбросил с плеч мешок и влез на сосну, с которой открывался широкий обзор местности. Огляделся и обрадовался: все лосиное стадо пересекло новую просеку,

вырубленную для электрокабеля. Впереди вышагивал Буян: покручивая огромными рогами, он вылизывал соль и принимался к давно знакомому запаху егерского следа.

На островке Михеич рассыпал соль по кормушкам и двинулся к дому, огибая свой собственный путь, чтобы не потревожить лосей. А когда убедился, что стадо уже позади, вернулся на тропу, соорудил метлу из раkitника и больше километра шел, замечая лосиные следы опавшими листьями, чтобы придать им вид давнишних.

Утром ни свет ни заря нагрянули охотники. Михеич показал им свежий след Буяна, уходящий в молодой березник. Рожицу обошли вокруг и убедились, что выходного следа нет. Все было сделано по правилам: расставлены номера, и пошли аукаться загонщики.

— Молодых не стрелять, — поучал Михеич, — только старого.

Он оглянулся, и сердце болезненно сжалось: прямо от избушки к нему шел Буян, раздувая ноздри и покручивая рогами. Михеич отвернулся, сделал два шага в сторону и, не снимая с плеча ружья, взвел украдкой курок. Выстрел грохнул неожиданно даже для него самого. И оглушил.

— Что? Что такое? — забеспокоились стрелки.

— Ядреный корень! — выругался Михеич. — Правду говорят, что ружье раз в год само стреляет...

Он оглянулся украдкой — нет Буяна.

Чертыхаясь, подошли усталые загонщики.

— Ничего, ничего! — успокаивал охотников Михеич. — Завтра мы его как следует обложим. — И с радостью думал, что этого завтра не будет — Буян уведет стадо на Хлюпово болото.

И вдруг всполошились люди, захлопали выстрелы. Буян вместе со стадом бежал по диагонали через поляну, высоко подняв гордую голову.

— Не стрелять, не стрелять! — закричал Михеич.

— Почему? — удивились охотники.

— Молодой еще, — пояснил Михеич.

— Какой же молодой? Ты посмотри на его рога!

— Да что мне сегодня все мерещится! — пожаловался Михеич. — Давай, давай, пали!

А лоси были уже вне досягаемости.

Буяна убили на другой день браконьеры. Егерь застал их в тот момент, когда они собрались разделять тушу. Он подошел спокойно, будто так и надо, похвалил удачу, вытер

платком прозрачную слезинку в уголке выпуклого лосиного глаза и сказал:

— Ваши документы!

— Вася! — улыбнулся охотник, обращаясь к напарнику. — Покажи товарищу документы.

— Сейчас выдам! — так же весело откликнулся другой.

Михеич повернулся к нему, и тогда удар прикладом обрушился на него.

И разделить бы Михеичу участь Буяна, если бы не Сенька-лесник. Обходил он в этот день участок и спугнул преступников. Рассказывал Сенька, что была у них своя машина на дороге оставлена, а номера он не разглядел — грязью был заляпан.

Вспоминая свою жизнь, Михеич вышел на берег лампушки. Сюда должна прийти Старуха на водопой.

Озеро отражало закат. Поверхность рябило от чуть заметного ветерка. Михеич нагнулся и плеснул пригоршнями сиреневую рябь себе в разгоряченное лицо. Вода была теплой и пахла гнилью.

На первый взгляд лампушка кажется совсем мелкой. Илистое дно видно в полуметре под поверхностью воды. Но это обман. Не вздумай, человек, ступить в эту теплую воду! Развернется многометровый слой ила, простынет твой след.

Михеич хотел сесть на высокую торфяную кочку и увидел, как с нее прыгнул перепуганный лягушонок и накололся на острый сучок.

— Дурак пучеглазый, — сказал Михеич, — умирать надо с пользой. . . Шура! Шура! — позвал он.

Тотчас зашелестела осока, и метровая гадюка выползла и свернулась у его ног, вопросительно поднимая голову.

— На, ешь! — сказал Михеич.

Змея небрежно ткнула лягушонка своим «двойником». Михеич отвернулся. Процесс заглядывания всегда неприятен. «Да! — вздохнул он, возвращаясь к своим мыслям. — Сколько уже построено на моем участке асфальтовых дорог! Сколько земли сковано, сколько вырубок леса, высоковольтных линий, кабелей, геодезических просек! А ведь человек не любит обходных путей. Ведь и я такой же! Значит, будут новые дороги, новые и новые прямые между двумя точками. Где же прятаться бедному зверю? Вот женщины идут по ягоды, и горе тому волку или медведю, который попадется на их пути или оставит свой след. Они придут домой и скажут мужьям, что в лесу

хищный зверь, что он чуть не напал на них и они случайно оказались живы. И встанут рассерженные мужчины, и зарядят ружья. Тогда твой голос в защиту зверя покажется таким же нахальством, как и появление самого зверя-людоеда».

— И я такой же! — повторил Михеич.

Он вспомнил свою первую встречу с Шурой, здесь же, на этом месте. Гадюка грелась на солнце и предупреждающе зашипела, когда Михеич подошел совсем близко.

— Ш-шу-р-ра! — явственно выговаривала она.

Михеич сразу же решил ее убить — это так естественно для человека: убить за то, что она змея, за то, что укус ее ядовит, и за то, что греется она на людской тропинке. Обутый в болотные сапоги, Михеич смело прыгнул на сверкающие бронзой кольца, но змея мгновенно ускользнула под корягу и через две-три секунды шипела уже позади Михеича:

— Ш-шу-р-ра!

— Ох ты какая шустрая! — удивился Михеич и снова прыгнул.

Но гадюка ускользнула и на этот раз. Здесь когда-то выгорел торф, и под верхним слоем осталось много пустот. Через них и убежала змея.

— Ш-шу-р-ра! — шипела она совсем с другой стороны, укоризненно, казалось, глядя на Михеича.

— Ты, значит, Шура? — опять удивился он. И захохотал.

Решение не убивать пришло само собой. И гадюка как-то догадалась об этом решении. Она смело выползла на солнце и свернулась в кольца, поглядывая на егеря вполне доброжелательно. Так началась эта странная дружба на много лет.

Михеич сел на кочку и опять углубился в свои мысли. Не знал он, что справа, из мрачного ельника, злые глаза следят за каждым его движением.

— Слышь, Васька! Кажись, тот самый. Жив, значит, мент поганый! Слышь, этот нас все равно вынюхает. Васька, я это озеро хорошо знаю, слышь, подтолкнуть бы его чуток. Да сапоги-то разуй, чтоб без шуму.

Какое чутье заставило Михеича взглянуть вправо? Он вскинул ружье. Серая тень скользила по наклонному стволу упавшей, но задержанной елками сосны. А под сосной стоял человек с ружьем.

Старуха приготовилась к прыжку.

Михеич выстрелил. Рысь оглянулась на Михеича, узнала, но все-таки прыгнула и полоснула охотника по шее ужасными

когтями задних лап. Это была уже агония, они упали вместе. И только теперь Михеич увидел за спиной другого охотника. Босой человек исполнял пляску ужаса на кольцах извивающейся Шуры. Но вот он помчался прочь, и на тропинке остались шевелиться куски растоптанной Шуры.

— Стойте! Куда же вы? Вас укусила змея! — кричал Михеич.

Охотник побежал еще быстрее.

Михеич вспомнил эту приземистую фигуру и страшный удар прикладом в челюсть.

— Вот ведь как бывает! — вздохнул он и зашагал по следу охотника, высоко, как цирковая лошадь, вскидывая колени.

Мимоходом он видел, как оса парализовала кобылку и хотела унести в гнездо, но опустилась отдохнуть на траву, и злая трава росянка поймала обеих и обволокла прозрачной клейкой жидкостью.

А на другой день, когда дело браконьеров расследовала уже милиция, он разыскал в ельнике двух крошечных рысят и принес за пазухой в свою избушку.

Дмитрий Баханцев

О ДРУЗЬЯХ МЕНЬШИХ

КОРОТКИЕ
РАССКАЗЫ

Я давно привык к пернатым гостям. Считаю их своими друзьями. В меру сил стараюсь облегчить им жизнь.

Замечаю их повадки, привычки, сметку, приспособляемость и даже благодарность за заботу.

Вот несколько черточек из их жизни.

ХИТРОСТЬ

Над высоким деревом, росшим на границе садовых участков, с самого утра носилась стая скворцов и так верещала, что прохожие поднимали головы, стараясь понять, что же там произошло. Причина переполоха оказалась простой.

Вернувшаяся из теплых краев пара скворцов застала свой домик занятым. И кем? Обыкновенным серым воробьем, который наотрез отказался добровольно освободить чужое жилье. Потерпевшие позвали на помощь собратьев. И вот уже второй день они всей компанией гнали самоуправца, а он не улетал. А зачем, если здесь так хорошо и он чувствует себя как в крепости?

Скворцы, видимо, поняли, что серый так, за здорово живешь, не покинет домик, и после безуспешных попыток взять воробья измором изменили тактику. Всей стаей уселись на другом дереве — будто совещаются, а двое остались у сквореч-

ника, продолжая доказывать свое право на прошлогоднее жилье.

Воробей осмелел. «Умные речи приятно слушать», — сказал он, вступая в беседу, и высунулся наполовину из своего убежища. Но он не мог видеть, что в засаде на крыше домика оставлен третий скворец, который только того и ждал: прыгнул на него сверху и отрезал путь к отступлению. А двое скворцов, сидевшие на ветке напротив, схватили воробьишку клювами за грудки и, упершись лапками в скворечник, под громкое ликование прилетевшей стаи, как бы скандировавшей: «Раз, два! Взяли!», вытащили его вон и сами заняли домик.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

На березе послышалось громкое, по-мальчишески задорное чириканье. словно кого-то дразня, вокруг скворечника кружил воробей, пытаясь узнать, что делается внутри этого уютного деревянного домика. Но, видимо, воробьишка трусил. Потом расхрабрился, сел на полочку скворечника и полез внутрь. И тут-то все и произошло. Откуда-то сверху молнией свалился на него скворец, не долго думая, схватил любопытного за хвост, вытащил из домика и задал такую трепку, что у того перья полетели. Теперь вместо задорного чириканья — панический вопль: «Караул! Убивают! Спасите!»

Когда скворец отпустил потрепанного воробья, тот как ни в чем не бывало взлетел на самую верхушку дерева, отряхнулся и, лукаво поглядывая на сторожившего свое жилье скворца, весело зачирикал: «Не робей, воробей, держись орлом. Чик-чирик!»

ЖЕСТОКОСТЬ

На первый взгляд отношения между скворцами и воробьями предельно просты и хорошо всем известны.

Скворцы — птицы перелетные. Каждую весну возвращаются в родные края и по возможности занимают старые гнезда. Выводят потомство, вскармливают его и, как только у птенцов окрепнут крылья, улетают с ними в места, обильные кормом. Осенью, перед отлетом в теплые края, посещают свои гнезда и, усевшись на ветках над скворечней, самозабвенно поют.

Ну, а воробьи? Этот веселый народ, любопытный и вороватый, пользуется всеми средствами, чтобы поддержать свое существование. Им все равно, где и за счет кого поживиться, кого обмануть. Скворцы смотрят на воробьев как на неизбежное зло и по большей части бывают к ним снисходительны. А когда те становятся несносными — колотят их. Но бывают случаи, когда скворцы проявляют жестокость сверх меры, особенно к тем, кто переступает грани дозволенного: в их отсутствие забирается в гнезда к скворчатам.

Однажды я услышал необычный шум. Кричали скворцы и воробьи. Внутри зеленой кроны березы, где был прибит скворечник, происходила жестокая борьба. Вскоре оттуда на землю упал шевелящийся комок сплетенных тел. Сначала очнулся один скворец. Шатаясь, отошел немного в сторону, отдышался и тяжело взлетел на дерево. Затем пришел в себя второй, но вместо того, чтобы улететь, с новой яростью накинулся на лежащего воробья. И когда второй скворец тоже улетел, воробей был мертв.

СИЛА ДОЛГА

Как-то я заметил, что стоит мне отойти от вскапываемой грядки, как на нее тотчас садится скворчиха и торопливо подбирает вывернутых наверх червяков, а при моем приближении улетает. Скворец, живший с ней в одном домике, улетал за пищей в другое место. И вот в самую горячую пору, когда из скворечника слышался требовательный писк голодного потомства и оба скворца только и делали, что летали за кормом да назад, со скворцом произошла какая-то драма. Скворчихе одной пришлось кормить птенцов. А это было нелегко. Дождя давно не было. Земля высохла, и черви зарылись глубоко в землю. Теперь она садилась на грядку даже тогда, когда я копал. Дрожа от страха, быстро набивала зоб и летела в скворечник. Раньше, когда я бросал ей жирного червя, она испуганно вспархивала и улетала, а теперь, когда птенцам требовалось все больше и больше корма, она все ближе подходила ко мне; здесь было много еще не зарывшихся в землю червяков. И уже не улетала, если я бросал ей червя, а, наоборот, когда их не было, широко раскрывала розовый клюв и жалобно пищала, требуя еды.

И потом, когда пищи было уже вдоволь, стоило ей заметить

меня, как она сразу же садилась рядом и ждала, когда я начну работать. Лезла под лопату и даже с рук брала корм.

В этом году она не прилетела, и в ее домике поселились другие скворцы.

ВСЕ ЗА ОДНОГО

Лето в полном разгаре, но погода в те дни засентябрила. Южный ветер сменился северным и нагнал тучи. Вторые сутки шел мелкий холодный дождь.

Еще с утра с соседнего участка слышались тревожные голоса скворцов. Обычно такие звуки они издают при виде пробегающих мимо кошек.

Вскоре стала известна причина тревоги. Над деревом, где был скворечник, летала сорока. Вначале эти полеты казались случайными, но постепенно намерения лесной сплетницы стали более определенными. Круги над деревьями становились все уже и уже. Теперь двое скворцов, живших в этом скворечнике, при приближении сороки к гнезду уже не отставали от нее, а она не обращала на них внимания. Все летала и летала. Садилась на ветки дерева и с вождением смотрела на круглое отверстие птичьего домика, откуда слышался писк скворчат. Наконец уселась у самого лаза, сунула голову в скворечник, вытащила оттуда маленького, еще не оперившегося скворчонка и, держа его в клюве, полетела в лес. Скворцы, видимо, не ждали такого финала и с жалобными криками заматались вокруг дерева. Вскоре сорока появилась снова и уже без разведки, подлетев к скворечнику, засунула в него голову. Теперь в крике скворцов появились панические ноты. Даже непосвященному было понятно, что они звали на помощь. И только сорока, выудив второго малыша, направилась в лес, как на нее черной тучей набросилась поспешившая на сигнал бедствия большая стая скворцов. Они атаковали разбойницу с таким остервенением, что вскоре она потерялась среди их черных тел. Только перья летели на землю.

Сначала, пытаясь спастись, сорока заматалась: сворачивала вправо, влево, взмывала вверх, пикировала вниз, но всюду натыкалась на острые, как жала, клювы скворцов. Едва долетев до кромки леса, стая свалилась вниз. Вначале я подумал, что это очередная уловка белобокой, попытавшейся спасти жизнь в густых зарослях кустарника. Но, судя по победным крикам скворцов, возвращавшихся из леса, понял, что с со-

рокой покончено. И я подумал: «Ведь знала рябая, что в беде сороки, если дружны, гуся съедят, а вот что скворцы при тех же обстоятельствах не только ее, но и ястреба забьют, забыла. Ну что ж, на ершах, как говорится, и щуки давятся».

По-прежнему моросил дождь. Вернувшаяся из погони пара скворцов занялась обычным делом. Один сторожил домик, второй носил малышам корм.

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ

На двух березах по скворечнику. На одной скворцы живут каждое лето, а на другой — через год. Но в это лето оба домика были заняты. Когда на свет появились малыши и из скворечников послышался их еще слабый писк, я начал замечать прилеты к этим семьям чужого скворца.

Сначала обе пары гнали его прочь, но он все-таки прилетал и, когда поблизости не было взрослых скворцов, кормил малышей то на одном, то на другом дереве. Вскоре к нему привыкли, и он уже и в присутствии хозяев кормил их детишек.

Что за феномен? То ли у этого чужака разорили гнездо и он по привычке носил корм пусть даже чужим птенцам, то ли это холостяк, не сумевший обзавестись собственной семьей?

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

В начале июня в скворечниках начинается новая фаза жизни. Подросшее потомство много ест, а в свободное от этого занятия время каждый борется за место возле светлого круглого отверстия, из которого виден незнакомый мир.

Самый сильный отталкивает более слабых, высовывается в лаз и смотрит. . . Родители ему первому набивают зоб и снова улетают за кормом. А у него перед глазами волшебная картина: рядом шелестит зеленая листва, вокруг порхают серые птички, внизу парят разноцветные бабочки и мельтешит мошара. Он осторожно вылезает из скворечника, взбирается на толстую ветку и пытается взлететь. Но у него почему-то дрожат лапки, а крылья словно приклеены. Однажды он все-таки решился. Расправил крылья, глубоко вздохнул: «Эх, была не была, пока молодо-зелено, погулять велено!» Подпрыгнул и. . . скользя по веткам, свалился в траву. Попробовал взлететь, но не тут-то было. Поднял голову и увидел высоко на дереве ма-

ленький серый ящик, бывший свой домик. Прилетевшая мама кормила оставшихся малышей. «Сейчас она меня увидит и покормит», — подумал смельчак и громко пискнул. Но она его не услышала. Не заметил и отец, прилетевший вслед за нею. Не знал храбрец, что глупа та птица, которой свое гнездо не мило. Там хоть и тесно, зато все вместе.

Садилось солнце. Стало неудобно и страшно. В густой траве он нашел ямку и затаился до утра.

Удивила меня его беспечность. Иду к нему, а он сидит и не шелохнется. Нагнулся, чтобы взять в руки, — он побежал, да так проворно, будто всю жизнь только этим и занимался. «Дурашка, съедят тебя кошки. Уж лучше бы дался в руки, я доставил бы тебя в гнездо, откуда ты выпал».

А на следующее утро увидел прямо-таки невероятное: двое взрослых скворцов по очереди кормили третьего, не уступавшего им в росте, — моего вчерашнего знакомого. Он широко раскрывал клюв и требовал еды еще и еще.

После кормежки один из взрослых взмахнул крыльями и поскакал вперед, приглашая за собою молодого. Но тот не двигался. Так было во второй и в третий раз. Затем взрослые скворцы поменялись местами. А когда молодой не побежал и за новым ведущим, то находившийся сзади больно клюнул упряма в спину. Потом еще и еще. Молодой начал проворно убегать, но догонявший настигал его и клевал все больше. Не видя выхода, молодой подпрыгнул, отчаянно замахал крыльями, оторвался от земли и сразу очутился на самой верхушке дерева. Но, видимо, сел на слишком тоненькую ветку и, чтобы снова не свалиться, полетел дальше. За ним полетели учителя.

Вечером, перед заходом солнца, они втроем сидели на дереве, на котором висел их скворечник. Вскоре примеру первого птенца последовали остальные, и уютный домик опустел.

ПИЧУГА

Как-то летом во время обеда за окном послышалась веселая птичья песенка. Мы слушали ее несколько дней. Наконец наш второклассник Юра заметил птичку и даже заплясал от радости. На верхушке сирени, что росла против окна, на прутике тоньше спички, сидела она — вся светло-серая, а головка и животик оливковые. Сидит с закрытыми глазами и, качаясь на ветке, самозабвенно поет что-то веселое. Время от времени замолкает и ныряет в зеленый куст, в свое гнездо. Заметив,

что за ней наблюдают, испуганно прижалась к гнезду и, казалось, просила: «Не трогайте меня, мне нельзя отсюда улететь. У меня маленькие».

Мы просили Юру не трогать ее и никому не показывать гнездо. Но, видимо, он еще не научился молчать. Через неделю гнездо было пустым. Изредка прилетала наша пичужка, опускалась на зеленый куст и как ошпаренная, с тревожным писком улетала от разоренного гнезда.

Осенью, когда задувший с севера ветер гонялся за опавшей яблонево́й листво́й, трепал красные кусты черноплодной рябины и раскачивал березы, на верхушках которых коротали время скворцы, я услышал знакомый посвист. На голой ветке сирени, где весной было гнездо, одиноко сидела знакомая птичка и пела так жалостно, что у меня сердце зашло.

Что потянуло ее на родное пепелище? Вот уж воистину, любовь не волос — скоро не вырвешь. И как было жаль, что эту грустную картину не увидел мальчик, разоривший гнездо.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Весна начинается с прилета скворцов. И чем бы ни был занят в это время садовник, он принимается за ремонт старого или изготовление нового скворечника. Потом садовод ухаживает за садом, а скворцы выращивают потомство. Один раз в сезон, во второй половине сентября, они конфликтуют. Перед отлетом в теплые края скворцы, как и дрозды, набрасываются на поспевающую к тому времени черноплодную рябину. Но это не перечеркивает всего хорошего, что накопилось между ними за весну и лето.

В конце сентября или начале октября каждая пара скворцов прилетает со своим выводком к родным пенатам и отдает им дань. Самое почетное место занимает глава семейства. Он сидит выше всех. Сейчас его не узнать. Отъелся. Раздобрел. Вырос чуть ли не с голубя. Перья на грудке побурели. Распевает во весь голос мотивы, которые слышал от других и запомнил. Чуть пониже сидит хозяйка большого семейства, которое расположилось тут же рядом.

Особенно хорошо поют скворцы утром и вечером, когда далекое солнце золотит верхушку их дерева. В песне — благодарность людям за добро и заботу, за домик, где было тепло и уютно, где выросли их малыши.

Юрий Ростовцев

И ЗА КАЖДОЙ СТРОКОЙ — СУДЬБА

О ПЕРВЫХ КНИГАХ
МОЛОДЫХ ПРОЗАИКОВ

1

Сам по себе литературный талант — только условие творчества. Основой же его, как это было еще раз точно определено в одной недавней дискуссии, «являются личность писателя, масштаб этой личности, напряжение его гражданской совести, глубина и мощь его гуманистических идей». И, конечно, судьба писателя, общественно значимая, полная переживаний и боли за все происходящее в мире, тесно связанная с судьбами своего и предшествующих поколений. Тогда ему не приходится жить в ожидании темы и всегда есть о чем поведать читателю-современнику.

Знакомство с дебютантами 1976 года, молодыми ленинградскими прозаиками Николаем Кузьминым, Алексеем Ларионовым, Борисом Роциным, Валентином Соболевым, Вячеславом Усовым убеждает нас в том, что в своих произведениях они идут от жизни, стремятся запечатлеть в слове ситуации, конфликты, характеры, замеченные и выхваченные ими из нашей повседневной реальности. Почти у каждого есть яркие и самобытные герои, увлеченно живущие в водовороте буден.

Касаясь тем производственных, начинающие писатели не стремятся к буквальному, репортажному отражению трудовых процессов. Для них важна не только тема, но и судьба человека, его духовный мир, внутренняя наполненность личности.

Практически все рассказанное молодыми литераторами на страницах первых книг связано с их собственным житейским опытом, является отражением лично выстраданного, познанного, обдуманного. Хотя не редки, к сожалению, среди них и «плоды недолгой муки» — произведения чуждые и не интересные читателю. Каковы же могут и должны быть критерии осмысления критиком сочинений дебютантов? Стремление оценивать труд писателя по законам, им самим для себя определенным, верно лишь по отношению к талантам зрелым, состоявшимся. Здесь оно не подходит. И это понятно. Автору еще слишком нравится «просто сочинять», он только на пути к себе, пробует писать так и эдак. Вот почему столь часто у начинающих рядом с удачным, подлинно художественным произведением сосуществует вещь убогая, бледная. Значит, и задача критика в таком случае не столько «ругать», сколько помочь автору во множестве «я» найти подлинное лицо, тщательно и осторожно отделить зерно от плевел.

2

Свою первую книгу Алексей Ларионов назвал «Золотые ракиты»¹ в память о тех могучих «райдах» (как называют кусты ракиты на Вологодчине), что росли возле родимого дома. «Двенадцати лет я собрал котомку и пошел по белу свету. Я ходил так долго, видел и слышал так много, что даже забыл само слово «райда» и, когда вспоминал светящееся чудо на задворках отчего дома, не знал, как его назвать: ива, верба, ветла, ракита? Тусклые, казалось мне, неточные слова, а того забытого звонкого слова и в словарях я найти не мог!»

И собственно, вся книга рассказывает о стремлении человека доискаться «до сущности протекших дней». Особенно удачна в этом смысле первая часть книги — «Кипень из глубины». Она состоит из цикла новелл, порой всего трех-, четырехстраничных, воспроизводящих сцены детства и отрочества лирического героя. Повествование строится не на сюжетной основе, не в длину, а как бы расходится от центра, которым является сам рассказчик, по спирали вширь. Поначалу воспринимаешь эти зарисовки, сами по себе очень живые и цельные, как случайные, не связанные между собой эпизоды. Но так только кажется. Их сцепляет в единое целое своеобразный

¹ А. Ларионов, Золотые ракиты, «Советский писатель», Л., 1976.

внутренний авторский монолог. Такой способ творческого мышления очень точно характеризовал В. Амлинский: автор «как бы порвал движение времени, смонтировал сегодняшнее с вчерашним, заставил лирического героя с обостренной силой взглянуть в самого себя, а через себя во множество других людей, оставшихся навсегда в памяти или незримо исчезнувших».

Рядом с героем повести «Кипень из глубины» живут и действуют его отец и мать, братья и сестры, друзья, односельчане. Особенно убедительно выписан образ сестры — деревенской комсомолки Лиды. Автор легко соединяет времена, так что чуть ли не с первых страниц мы узнаем о преждевременной гибели девушки в годы блокады, но она продолжает жить. Не только на всех последующих страницах книги, но и в нашем читательском сознании, ведь для добрых дел нет забвения. Автор убеждает нас в этом.

В самом деле, как забыть человека, который помог почувствовать тепло родной земли («Чем солнышко пахнет») и рассказал о революции («Вечерние демонстрации»), раскрыл тайну знаний («1 мая 1185 года») и отыскал «прародительницу» своей семьи («Подарение бабушки из неолита»). Лида воплощает в себе самые светлые, самые высокие черты личности — твердой, целеустремленной, жизнестойкой, — и в то же время она выписана удивительно живо и зримо, без хрестоматийного глянца. Это, пожалуй, наиболее запоминающийся герой на всем протяжении книги. Вот она совсем еще девочка, разыскивает следы древнего человека; вот — в осажденном Ленинграде, сражаясь с голодом и бомбежками, находит силы на письма брату, полные мужества и оптимизма.

Вся первая часть книги написана сочным, естественно-простонародным языком. В некоторых новеллах автор поражает нас своим умением коротко сказать о многом. Так, в четырехстраничной миниатюре «Небо над Большим лугом» он органично соединил, казалось бы, несоединимые эпохи. Рассказывая об игре деревенских ребятшек в Куликовскую битву, вдруг приводит читателя на подлинное поле брани. В нескольких очень точных абзацах дает выпуклое, по-хорошему кинематографическое изображение одного из мгновений великой битвы у реки Непрядвы. Затем без каких бы то ни было пояснений возвращается к «потешному» сражению. «Белозерская дружина в лице одного черноусого Мишки отбивалась от трех десятков татар. В ливне стрел черной молнией сверкала Мишкина голова». Но вот он все же повержен. Однако, благодаря

его упорству, односельчане, выскочившие из засады, погнали противника — ребят из соседнего села — в поле. Победенный, по условиям игры, должен лежать. Сознание автора пронзает боль за Мишку, он ведь знает, что произойдет несколько лет спустя. «Я думаю о своем брате Михаиле, удалом белозерце. Где, в каком бою, на каком поле, играючи, разметал он свору фашистов и сам упал, порезанный пулей? И что ему виделось в его последний час? Не высокое ли небо над Большим лугом?»

Меня поразило умение А. Ларионова сплести время в такой тугой узел: день нынешний и минувший, хотя бы на мгновение увидеть Куликовскую битву и — пусть на единый миг — Великую Отечественную войну.

Большим содержанием насыщена и другая новелла — «Подарение бабушки из неолита». В ней повествуется о том, как ученые раскопали наподолеку от родной деревни рассказчика поселение древнего человека, по найденному черепу реконструировали портрет первобытной женщины.

В деревне и находка, и портрет вызвали интерес. И вот Лида — опять она, живая душа! — приносит от учителя фотографию с портрета «модлонской» красавицы. Все домочадцы с удивлением признают ее сходство с бабушкой: «Природа — вся наша! Знамо дело — сродница!» Чтобы иметь в доме портрет «прародительницы», мать не без колебаний отдает бумажную иконку, на обороте которой дочь срисовывает фотографию.

Лида и ее брат увлеклись археологией, начали самодеятельные раскопки. Однажды они нашли черепок, в котором было несколько семян льна. Ребята вырастили их, дождались цветения, хотя в деревне никто не верил в древнее происхождение «лазоревых» цветочков. Но оказывается, и ученые находили в их краях семена льна, тоже пытались вырастить, как бы мимоходом сообщает автор и завершает новеллу такими словами: «Как цвел древний лен, видели только мы. Бабушка из неолита проявила к нам большую доброжелательность. Видно, и впрямь она — наша сродница». Что и говорить, очень точная и эффектная концовка.

Я так подробно говорил об этих двух новеллах потому, что в них нашли воплощение все самые сильные стороны дарования Ларионова-рассказчика: богатство языка и мастерское владение формой. Можно было бы назвать еще целый ряд удачных миниатюр, и среди них: «Одноглазый мукомол» и

«Голубое поле», «Полюстровские источники» и «Заветное желание». Но они все же уступают по содержанию и художественному впечатлению двум рассмотренным мною новеллам.

Вторая часть книги — «Степной пожар» — рассказывает о том, как одно из подразделений железнодорожных войск прокладывает у восточных рубежей страны узкоколейку. В повести запечатлены важные черты быта военных лет. С интересом следишь за судьбой главного героя, его товарищей — сержанта Василия Лебедева и ефрейтора Проньки Осипова. Вместе с ними вслушиваешься в тревожные сводки Совинформбюро, радуешься письмам родных, грустишь над похоронками. . . И все-таки нет в ней того художественного проникновения, которым наполнены лучшие страницы первой части книги. Пожалуй, одна из причин в том, что «Степной пожар» сделан как дневник — в форме не только традиционной, но и в известном смысле «сухой», предполагающей лишь фиксацию происходящего.

Третья часть — «Над Шексною белы снеги» — хоть и написана неплохо, резко выпадает из общего строя книги и представляется вовсе лишней. Если в первых двух повестях А. Ларионов сумел выразить свою любовь к родному краю, то здесь он как бы решил проиллюстрировать некоторые свои задушевные думы на современном материале. Писатель дает нам примеры того, как вологодская земля «привораживает» к себе приезжих. Сама по себе эта мысль не чужда истине и правдомерна, но «иллюстрации» банальны, лубочны. Герой одной из картинок, южанин Валерка, как ни любит «чистенький родительский дом» под Краснодаром, к тому же «пропахший сухеными фруктами», все же отдает предпочтение «кособокой избушке» на Вологодчине.

Другой — Вадька — родился и вырос в городе. Мать и отец «старательно оберегали» его от влияния бабушки, «чтоб не набирался он от нее деревенских речений». Но он, конечно, делает все наоборот. Более того, едет в родные места своих предков. Едва он зашел в один из домов деревни, как «появилась в брючном костюме Ленка — тоненькая длинноногая вологодская Ярославна с иконописным лицом». Вскоре «образовалось застолье, и после первого глотка рябиновой настойки Вадька почувствовал себя своим в этой деревенской компании и, когда пришло время, лихо отплясывал «барыню» с Ярославной, а под вечер вместе со всей молодежью ходил вдоль деревни, пел

под гармошку озорные частушки...». Трудно здесь понять автора. И поверить, что этой «развесистой клюквой» он хотел подкрепить и без того ярко выраженное в первых частях книги святое чувство преданности Родине.

3

Тем не менее мысль о «земле обетованной» показалась чрезвычайно привлекательной и другому дебютанту — Николаю Кузьмину. Герой его повести «Житейское»¹ Павел Бухалов много странствовал по свету, «но нигде, ни в каких причудливых и привольных землях, не находила покоя его отпетая натура, не екало сердце эхом на гостеприимный зов тех земель». Но вот завернул Павел в Карелию, «только песни ради», и вдруг понял, что уезжать отсюда не хочет. Почему так получилось? Что же заставляло его бродить по белу свету, а потом неожиданно почувствовать себя дома в далеком леспромхозовском поселке? К сожалению, автор не дает нам даже намека на объяснение. А жаль. Проблема миграции населения одна из важнейших сегодня, она-то и могла стать подлинным центром повести. Впрочем, Н. Кузьмину еще остается возможность отличиться. Его герой знакомится в поселке с мальчуганом, полностью брошенным на произвол судьбы его нерадивой матерью.

Между Бухаловым и шестилетним Кораблевым возникает дружба. И хотя в этом уже есть известная натяжка — особенно она очевидна, когда узнаешь содержание их бесед, — ее можно простить, принимая во внимание серьезность и актуальность темы. Ведь «безотцовщина» — воистину наболевшая проблема времени. Сколько мальчишек и девчонок страдает без отеческой ласки, сколько одиноких женщин мечтает создать полноценную семью! Но автор как будто сам пугается серьезности ситуации, тут же отступает, переводит все в мелодраму. Нежданно-негаданно в дом Кораблевых возвращается беглый муж и отец. Павел больше не нужен. И опять он, неприкаянный, бежит от себя.

Вообще для повестей Н. Кузьмина чрезвычайно характерна фигура неприкаянного героя. Такова и водитель автолавки Валентина, с которой мы знакомимся на страницах повести «Ее дорога». Эта женщина, как и Павел Бухалов, тяжело стра-

¹ Н. Кузьмин, Первый курс, Лениздат, 1976.

дает от выпавшего на ее долю одиночества. Но в то же время она боится продешевить. Ее мечта — «первосортные люди», к которым она причисляет лишь генералов, актеров, ученых. И вот долгожданная встреча состоялась, Валя без утайки рассказала профессору Николаю Тихоновичу свою жизнь. Ученый муж «слушал вдумчиво», с пониманием, а потом заговорил сам:

«— Да, парадокс... То есть я хочу вам напомнить, Валя, что подавляющее число явлений и понятий нашего мира — палка о двух концах. Жизнь, понимаете ли, неистожима на такие... э-э... фокусы. Собственно говоря, чего вы требуете? Безмятежного счастья? Покоя? Нет, Валя! Невозможно вообразить палку с одним концом, это — точка. А жизнь, как вы знаете, — движение, бесконечная совокупность точек. И потому... э-э...»

Он подхватился с места, стал разгуливать по комнате, энергично размахивая руками. Валентину даже ошеломил этакий бурный перескок из внимательного слушателя в бойкого пропагандиста. Улыбаясь про себя, она зорко следила, как он ловит в дыму нужные слова, как рискованно пробегает допустимые размером комнаты четыре шага. Однако ничего не грохнулось, не разбилось, и сам профессор не стукнулся ни обо что... На всякий случай Валентина все же отодвинула подальше от края стола его очки...

Когда разговор перекинулся от всеобщего к более конкретным вещам, профессор и тут не подкачал, не уронил достигнутого в ее глазах могущества. Валентина пожаловалась, что хамоватая шоферня беззастенчиво при ней сквернословит, вообще охальничает напропалую, мешая жить в чистоте. И на это услышала:

— Простите, Валя, но... э-э... каждый получает то, чего он заслуживает».

Если бы автор стремился разоблачить мещанское представление Вали о счастье, о «первосортных людях», то все вышесказанное профессором — проповедником «палочной теории» — можно было бы принять за пародию. Но вся беда в том, что Н. Кузьмин сохраняет серьезность. Приведенный отрывок позволяет не только почувствовать известную ущербность героев молодого прозаика, но и неумелое обращение со словом. Воистину: язык мой — враг мой.

Не избегал художественных просчетов Н. Кузьмин и в своей главной повести «Первый курс», давшей название всей

книге. Поначалу читатель будет весьма удивлен тем обстоятельством, что Виктора, героя повести, приехавшего работать в леспромхоз, жители с ходу приняли за тунеядца. Ведь сам-то он говорит всем, что хочет просто на квартиру заработать. Вместе с тем, присмотревшись к нему, приобщившись к его думам, соглашаешься с общественным мнением. Да, это произведение, написанное, кстати сказать, от первого лица, не что иное, как исповедь бывшего тунеядца, история его трудового перевоспитания.

Впрочем, судите сами. В первый же выходной он, единственный из всей бригады, напивается. Он постоянно всем хамит, всех презирает. Об одном из новых товарищей, который обеспечивал едой, сушил мокрую одежду, всячески оберегал его, новичка, Виктор цинично говорит: «Однако общение с ним не льстило самолюбию, принижало...» А вот еще несколько откровений героя Н. Кузьмина:

«Где те мудрые, кряжистые таежники, соль земли, которых я надеялся встретить? Нету их. Все одинаково краснорожи, сутулы, невыразительны, все — точно доски в заборе, друг от друга не отличишь».

«Хоть один здесь не дурак!..»

«Передо мной стояли трое, родные братья плакатных: мордастые, косолапые, только не синей, а бурой окраски».

«Посетил библиотеку, где несколько худосочных энтузиастов копошились в небогатом фонде, выискивая что-то неординарное. Заглянул еще в две комнаты. В одной из них окаменевшие от усердия девицы распевали: «Ой, Днипро, Днипро...» В другой комнате «трое дюжих парней воистину рвали на части казенные гармошки...»

Добавлять к этим выпискам нечего. Они достаточно полно раскрывают внутренний мир Виктора. И вот это бездуховное, ничтожное существо с болезненным самомнением попадает на лесоповал. Читатель может легко догадаться о том, сколько проклятий этому тяжелому труду сыплется из уст героя, сколько раз он порывается отсюда бежать. Из-за того, что автор самоустранился, обо всем происходящем с Виктором мы можем судить только с его слов. И поэтому уже никогда не узнаем, что же произвело переворот в его сознании. Под влиянием ли товарищей по бригаде, любви, тяжелого мужского труда в душе парня начинается пересмотр жизненной позиции. Медленно «оттаивает» эгоистическое сердце Виктора. И посте-

ленно он приходит к более трезвой оценке самого себя, начинает уважать окружающих его людей.

Я не буду пересказывать всего содержания этой повести, скажу только о том, что в конце концов, набравшись ума-разума, герой Н. Кузьмина становится хорошим работником. Трудный хлеб не согнул его, а помог выпрямиться, стать человеком.

Несмотря на оптимистический финал повести, читатель может спросить писателя: почему он дает право голоса такому персонажу, именно от его лица ведет рассказ? Нам ли, людям 70-х годов, умиляться тому, что какой-то отщепенец снизошел до «труда со всеми сообща»? Пожалуй, в этом упреке есть доля истины. Хотя нельзя забывать и о том, что Виктор, как бы плох он ни был, — наш современник. И поэтому его судьба не может быть нам безразлична. Больше того, писатель как бы доказывает нам, что он не потерян для общества, его можно и нужно поддержать, помочь стать другим.

Иное дело — и здесь Н. Кузьмин заслуживает сурового упрека, — что он слишком много места отдал рассуждениям своего героя, которые оскорбительны для рабочего человека, что в повести не нашла отражения собственная авторская позиция, из-за чего и произошло некоторое смещение акцентов. И это в свою очередь отразилось на художественной убедительности произведения.

4

О Борисе Рошине как о многообещающем прозаике заговорили сразу после его успешного дебюта в периодике. Повести «Грузчики», «Тревога» с первого прочтения привлекали прямотой авторской позиции и глубоким знанием изображаемой действительности.

В прошлом году молодой литератор выпустил сразу две книги.¹ Одна из них — «По родному краю с миноискателем и фотоаппаратом» — не что иное, как бесхитростные записки былого человека, другая — «Мужские будни» — сборник художественных произведений. Сюда вошли уже названные повести и большой цикл «Рассказы сапера».

Разговор о творчестве Б. Рошина стоит начать с книги «По

¹ Б. Рошин, По родному краю с миноискателем и фотоаппаратом, Лениздат, 1976; Б. Рошин, Мужские будни, «Современник», 1976.

родному краю с миноискателем и фотоаппаратом». Она возникла из очерков, корреспонденций, заметок, опубликованных в армейских «дивизионках» в те годы, когда их автор был еще военнослужащим. Собранные вместе, обработанные и дополненные уже не сапером, не журналистом, а писателем — хоть и начинающим, — они стали динамичным, связным повествованием о благородной работе подвижной группы разминирования. Ведь и сегодня, как тридцать лет назад, саперы на передовой. Они сражаются за спокойную, безопасную жизнь своих сограждан: выявляют и обезвреживают «ржавую смерть», как называет автор неразорвавшиеся мины, бомбы, снаряды...

Не поугать, а привлечь читателя к высоким и важным нравственным проблемам — вот задача Б. Рощина. Буквально в каждом рассказанном эпизоде он еще и еще раз напоминает об ответственности человека за содеянное, требует от читателя общественной активности.

С большой теплотой и уважением рассказывает Б. Рощина о своих бывших сослуживцах, которые с риском для себя, добросовестно и бесстрашно выполняют поставленную задачу. Он показывает нелегкий труд сапера с большой тонкостью, даже скрупулезностью, как бы стараясь во всей полноте запечатлеть каждодневный подвиг простых двадцатилетних парней, рядовых Советской Армии. И нельзя не согласиться с мнением писателя Василия Субботина: эти записки «содержат единственные в своем роде подробности труда и жизни сапера».

Но не только этим, не одной лишь остротой материала интересна книга «По родному краю...». На ее документальных страницах зафиксирован тот мир, который стал для начинающего прозаика первоосновой творчества, фундаментом его будущих произведений. «Все это должно было стать частью собственной биографии, прежде чем сделаться единым художественным целым, воплотиться в литературные образы». Вот почему именно от «записок» теперь уже легко протянуть нить к «Рассказам сапера», нашедшим свое заметное место во второй книге Б. Рощина.

Лейтенант Юрий Ткачик после окончания военного училища прибывает на место службы. Такова завязка «Рассказов сапера». О его вхождении в полковой коллектив, о трудностях и радостях армейской жизни говорит молодой прозаик. Юный комвзвода попадает в «штрафное» подразделение, как в шутку однополчане называют саперов из-за суровости их начальника.

капитана Селиванова. Да и сам Ткачик сначала так считает. Многое ему кажется странным и непонятным, а то и просто чудачеством в первом своем командире. Например, то, что капитан «коллекционирует биографии своих солдат». Лишь годы службы убеждают Юрия в правильности поступков Селиванова. Тогда он начинает понимать главное: чтобы командовать взводом, надо любить и уважать каждого солдата, знать его внутренний мир и даже биографию.

Все миниатюры написаны динамично, увлекательно читаются. Б. Рошин знает материал, и потому в книге почти не встречается надуманных ситуаций, где бы писателю изменили вкус и чувство меры. В «Рассказах сапера» нет эпизодов, которые бы повторяли документальную книгу, но связь между ними несомненна. Тот же тон повествования — очень доверительный, полный человеческого тепла.

Видимо, кому-то больше понравятся те новеллы, где даны подробности армейского быта сегодняшних молодых солдат («Письмоносец», «Урок воспитания»). Другим — окрашенные в светлые, порой даже с юмористическим и авантюрным оттенком, «Первый спуск» и «Тайна раскрыта», рассказы о курьезном разминировании разорвавшейся тридцать лет назад бомбы. Мне показался наиболее ярким и удачным «Старый марш». Рассказ написан очень просто, сжато и вместе с тем крепко берет за сердце. Здесь нет головокружительного сюжета, речь идет о том, как саперы капитана Селиванова участвуют в полковом смотре. Много ли можно сказать о тех минутах, когда, печатая шаг, маршируют на плацу солдаты? Но «рыдающие» звуки «Прощания славянки», под которые шагают саперы, наводят автора на лирические размышления о солдатских строевых песнях, позволяют рассказать о судьбе старого генерала, инспектирующего полк. Б. Рошину удалось передать высокое чувство гордости советского человека за нашу армию, ее боевое прошлое. Я думаю, «Старый марш» никого не оставит равнодушным, он стал своеобразной кульминацией «Рассказов сапера».

Повесть «Тревога» тоже об армии, но в ней молодой прозаик поднимает другую проблему. Он говорит о необходимости соответствия человека занимаемой должности.

В тот день, когда мы знакомимся с капитаном Варфоломеевым, он узнает, что в штаб пришла телефонограмма о его увольнении в запас. Давно уже с тревогой в сердце ждал и готовился к этому часу Всеякий Варфоломеев. И все же тя-

жело. Вместе с ним мы переживаем это известие, нам даже кажется оно несправедливым. Так думает и автор. Он любит своего героя и пытается его защищать. И все же, верный жизненной правде, Б. Рощин, сам, может быть, того не желая, доказывает, почему капитан должен уйти.

Писатель ставит очень важный вопрос о соответствии человека интересам дела и всем развитием образа Варфоломеева доказывает бесспорность этого требования жизни: несмотря на прошлые заслуги и огромное желание быть в строю, Варфоломеев в силу причин, от него уже не зависящих, угнаться за временем не может. По-человечески жаль расставаться с Василием, но это неизбежно. Он найдет себе новое поприще, не менее нужное людям. Найдет сам, ибо человек он крепкий. Вот почему кажется несколько поспешным поиск самим автором счастливого конца. Открытый финал более точно определил бы ситуацию, заставил бы читателя глубже воспринять логику событий, соотнести опыт жизни Варфоломеева с собственным.

«Чувство локтя» — важнейшее правило жизни не только армии, но и всего нашего общества. Вот почему Б. Рощин так много внимания уделяет взаимоотношениям людей в коллективе, воинском подразделении или бригаде, с удовольствием пишет о крепкой мужской дружбе. Все герои его произведений не только сослуживцы, между собой их связывают, как правило, и духовные узы. Другой характерной особенностью повестей Б. Рощина является атмосфера деловитости, увлечения своим ремеслом практически каждого персонажа. Перед нами — галерея тружеников, людей, верно служащих избранному делу.

Вот и герои повести «Грузчики» показаны прежде всего в горячке буден, в работе. И как показаны! Никогда бы не подумал, что можно так вдохновенно рассказать о столь обычном, рядовом, казалось бы, труде: разгрузке вагонов! Но как ловко, с каким азартом работают Антоныч и его товарищи по бригаде и как это красочно сумел запечатлеть в слове Б. Рощин.

«Уже после десятой ходки Антоныч почувствовал, как теплом задышала спина, заиграла колючими мурашками, будто в парной с холоду. Он перенес тяжесть тройников на правый бок, ускорил шаг, потом на левый, пошел быстрее. Так, разминаясь, бригадир не забывал поглядывать за новичком. Пока новичок ничем не выделялся среди грузчиков. Пристроился он за бригадиром, не отставал ни на шаг. И еще заметил Анто-

ныч, что Рыжий в точности копирует его приемы в работе. То на животе тройник несет, то на боку тащит. . .

Бригадир вдруг пружинисто присел, легко рванул тройник на плечо и побежал. И сразу оторвался от Рыжего. Обгоняя бригадира, держа, как и он, ящики на плече, помчался по эстакаде Пряник, Степа и даже мешковатый Кулик-Ремезов. Грузчики начали шустрить.

Рыжий растерялся. Он попробовал бежать, но тройник сполз у него с живота на колени, бежать не давал. Рыжий попытался взять его на плечо, но ящики вдруг стали рассыпаться, заломили ему руку, поползли за спину. . .

В вагоне, когда наклонился Рыжий за грузом, бригадир буркнул: «На плечо бери» — и шлепком поправил его руку на ящиках. Затем у штабеля посоветовал: «Наверх с тройника бросай. Подложь, подложь, говорю, тройник-то под ноги-то».

Несколько ходок, и, под присмотром бригадира, новичок выправился, догнал Антоныча, пошел за ним след в след».

Столь точного описания труда не может быть у того, кто только со стороны знает работу грузчика. Б. Рошин сам постигал эту науку, когда был заочником Литературного института.

Но описание, пусть даже очень удачное, не главное в повести. Ее основа — серьезный нравственный конфликт. Грузчики помогли Саше Михееву приобрести навыки работы, а он преподал им урок иного порядка. После ночи разгрузки платформы с мерзлым песком он отказывается от заработанных денег, бросает их в лицо проходимцу, «тянувшему с рабочих по пятерке» за выгодный наряд. Назвав вещи своими именами, Рыжий уходит из бригады.

Грузчики понимают теперь оскорбительность своего смирения и пытаются доискаться до причин этого аморального положения, в силу которого они безропотно подчиняются прихоти жулика. Причины оказываются в них самих. Чтобы быть гордыми каждый день, как говорит один из них, иметь смелость отказаться от наглых притязаний, надо и самим подтянуться — не опаздывать и не прогуливать, не мелочиться, не стремиться только к выгодным нарядам.

Центральная фигура повести — Антоныч, бригадир грузчиков. Это человек трудной судьбы. В прежние времена он не всегда мог удержаться на высоте, но все же в конце концов отстоял себя. Он любит свою работу, и это помогает ему в са-

мых сложных, критических ситуациях. Образ Антоныча чрезвычайно привлекателен. Мы буквально видим этого человека. На наших глазах он развивается, движется. Ему не безразлично, с кем завтра придется бок о бок трудиться. Вот почему, подхлестнутый «уроком» Рыжего, он вступает в борьбу за своих товарищей, и это в свою очередь помогает ему преодолеть слабость в самом себе.

Знакомство с героями повестей Б. Рощина помогает нам войти в круг важных нравственных проблем, стоящих перед сегодняшними людьми в быту и на производстве. И то, как решает их автор, сочувствие и вера в добрые силы своих героев не оставляют читателя равнодушным.

5

В одном обзоре нет возможности рассмотреть все первые книги молодых, вышедшие из печати в 1976 году. Коротко скажу еще о двух дебютах.

Валентин Соболев выпустил добротную книгу¹ о моряках торгового флота. В повести есть определенный накал страстей и событий, увлекательная интрига. С первых глав становится очевидным, что писатель обладает подлинным знанием материала. Именно поэтому с интересом следишь за судьбой капитана Загорина. Вызывает симпатию его твердый, подлинно мужской характер. И то, что этот волевой человек, неожиданно став капитаном, преодолевает все сложности необычного для него рейса, воспринимаешь как должное.

Постепенно перед читателем раскрывается сложный духовный мир Загорина, его житейские дела. Случилось так, что этот щепетильный в вопросах чести человек вторгся в чужую семью, полюбил замужнюю женщину. Чувство оказалось подлинным и взаимным. И потому вместе с радостью оно принесло непереносимую муку лжи. Надо сделать решительный шаг, но это нелегко. Ведь развод может отразиться на служебном положении Загорина, бросить тень на его репутацию. И это теперь, после первого долгожданного самостоятельного рейса. Ситуация сложная, но очень жизненная и поучительная. А с точки зрения литературной весьма выигрышная, потому что дает автору возможность с достоверностью и глубиной обнажить характеры. Но В. Соболев, как и Н. Кузьмин в своих

¹ В. Соболев, Вахты в сезон туманов, Лениздат, 1976.

повестях, словно испугавшись за своего героя, сам начинает распутывать этот болезненный узел. Вот почему заседание парткома, где решалась судьба Загорина — эта своеобразная кульминация повести, — передано скороговоркой, сбивчиво. Жаль, материал повести давал ее автору большие возможности для художественного воплощения действительности.

Но если произведение В. Соболева сделано умело и читается с интересом, то повесть Вячеслава Усова «Вид с холма»¹ написана излишне сухо, полна напускной многозначительности. Неумение автора глубоко проникать в суть явлений приводит к тому, что он излишне сгущает краски, окружает свои персонажи монбланом псевдопроблем. Когда читаешь эту повесть, кажется, что время остановилось. С трудом пробираешься сквозь умозаключения инженера Игоря Барскова, который все никак не может решить, чью сторону занять в служебном конфликте, как держаться, чтобы привлечь к себе и внимание, и расположение руководства института. Произведение В. Усова перенасыщено мелочами, чаще всего чисто производственными, ничем не дополняющими облик героя. Кроме того, встречается много неестественных, даже просто нелепых ситуаций. Особенно в изображении взаимоотношений Игоря и Вероники. Поражает умозрительность и рассудочность молодого автора и его героя Барскова.

Читая «Вид с холма», не сомневаешься в подлинности материала, легшего в основу повести, но при этом лишний раз убеждаешься, что факт жизни, даже и значительный, далеко не всегда становится явлением литературным. Когда-нибудь — хочется верить, — овладев профессиональным мастерством, «расписавшись», В. Усов еще возвратится к этому произведению, художественно его переосмыслит.

В связи с этим вспоминается эпизод из творческой биографии Сергея Воронина. Он также, по горячим следам своей работы на изысканиях, засел за роман. Но сколько ни мучился, роман не получился. Восемь экспедиционных лет, двадцать тетрадок дневника работали вхолостую. Но прошли годы, материал «отлежался», очистился временем от мелочей и стал основой широко известного теперь романа «Две жизни».

Из небольших произведений В. Усова заслуживает особого внимания рассказ «Кактусы». Он написан удивительно хоро-

¹ В. Усов, Вид с холма, Лениздат, 1976.

шо, с блеском. Автор не только сумел увидеть в жизни бухгалтера Евдокию Порфирьевну, он дал ее подлинно художественный портрет. Изображая ее мелочные козни, нашел точные слова и создал емкий, врезающийся в память образ.

Закончить разговор о первых книгах молодых ленинградских прозаиков хочу одним общим замечанием.

Вполне естественно, что каждый из них пишет о том, что ему ближе, лично его задевает и волнует. Но порой, вчитываясь в иные «откровения» и даже находя в том или ином произведении удачные эпизоды и верные наблюдения, все же приходишь к мысли о том, что автор преподносит по сути азбучные истины. Хотелось бы, чтобы молодые писатели более строго относились к отобранному материалу, не забывали и не боялись время от времени задать себе вопрос: а так ли ново то, что я решил рассказать читателю?

В одной из своих новелл Алексей Ларионов рассказывает о родниках, которые не давали строителям возводить дом, ибо сколько бы те ни «перекрывали жилу», родники столько же раз прорывались и заливали округу своей светлой водой. Эта подлинная история похожа на притчу о силе подлинного таланта. Верю в то, что родники души каждого из дебютировавших прозаиков еще не раз неожиданно и мощно запюют, заявят о себе на страницах новых произведений.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Шуманов. Жаркое лето. <i>Повесть.</i>	5
Поэль Герман. Студенческая бригада. <i>Стихи.</i>	76
Сергей Кобысов. В Мраморном ущелье, Сон Байкала. <i>Стихи.</i>	77
Владимир Насущенко. Приезд на родину. <i>Рассказ.</i>	79
Анатолий Рошин. Сад моего детства. <i>Рассказ.</i>	91
Олег Стрижан. Стихи, пришедшие в разлуке, Спасатели, Почти серьезно. <i>Стихи.</i>	102
Наталья Гранцева. Демон, Елка. <i>Стихи.</i>	106
Алексей Любегин. Моей жене, На выставке в ПТУ-111, Снежинки, Древо жизни. <i>Стихи.</i>	108
Дина Макарова. Долгий месяц. <i>Записки молодой женщины.</i>	110
Александр Милых. „Над Россией ветры древние...“, „Грачи вернулись...“. <i>Стихи.</i>	146
Лариса Дианова. Мираж на Ладого, Дорога жизни, На родине А. Прокофьева, Бабка Настя, Утро, На току. <i>Стихи.</i>	148
Виктория Петрова. „Еще я голос слышу твой...“, „Я невниманье прощу...“. <i>Стихи.</i>	152
Юрий Леушев. В двух шагах от экватора. <i>Рассказ.</i>	154
Римма Цветковская. Десятый вариант. <i>Рассказ.</i>	165
Виктор Андреев. Конец августа, „Здравствуй, мир. Я живу в неизменной...“. <i>Стихи.</i>	171
Валентин Костылев. Белое море. <i>Стихи.</i>	172
Виктория Вартан. Привет от бабушки, Свет твоим глазам! <i>Рассказы.</i> 173	
Валерий Скобло. „Все то, чем я связан с тобой...“, „На мосту, продуваемом ветром...“, „Тебе показалось, что ты одинок...“. <i>Стихи.</i>	190
Сергей Далматов. Голубая лошадь, Старуха, Ларек, Цветы жизни. <i>Рассказы.</i>	192
Ирина Знаменская. „Давай объяснимся пейзажем...“. <i>Стихи.</i>	200
Ольга Бешенковская. „Глухонемые говорят...“, „До обидного прост и недолог...“, „Каким ты будешь, будущий язык?...“. <i>Стихи.</i>	201
Николай Ивановский. Попутного ветра, Сашка! <i>Рассказ.</i>	203
Инна Макашова. Наша арифметика, „Надену клетчатую куртку...“. <i>Стихи.</i>	216
Галина Губанова. „Октябрь. Недавно сжатые поля...“, „Иного не было и нет...“. <i>Стихи.</i>	217
Елена Дунаевская. Каменный остров. <i>Стихи.</i>	218
Александр Воронцов. Крик чибиса. <i>Повесть.</i>	219

Владимир Пидгаевский. На учениях, На родине. <i>Стихи.</i>	259
Виталий Иванов. В кино. <i>Стихи.</i>	261
Владимир Скородумов. Командующий. <i>Рассказ.</i>	262
Виталий Горбатов. Из невыдуманных рассказов.	272
Анатолий Храмутичев. „Воркута. Воркующее слово...“, „Займища, рощи, урочища...“. <i>Стихи.</i>	279
Евгений Александров. „Мне дали место у станка...“. <i>Стихи.</i>	281
Анатолий Жульков. „Иду сквозь полумрак густой...“, „Просыпался рано на заре...“. <i>Стихи.</i>	282
Николай Пудиков. На таежном перегоне. <i>Повесть.</i>	284
Юрий Нешитов. Работа, „На Прачечном на взгорбленном мосту...“ <i>Стихи.</i>	326
Наталья Гуревич. „Взошло одно из тысячи семян...“, „В первый день на новой даче...“, „Вы спросите: сколько денег...“. <i>Стихи.</i>	328
Александр Орлов. Трассами БАМа. <i>Очерк.</i>	330
Олег Левитан. Баллада о дурной примете. <i>Стихи.</i>	349
Валентин Бобрецов. Шторм на Ладожском озере, „Не надо незна- чаших слов...“, Над словом, „Что было вначале?..“. <i>Стихи.</i>	351
Борис Мельников. Важнее победы. <i>Рассказ.</i>	353
Юрий Решетников. Осень. <i>Стихи.</i>	364
Виктор Менухов. Вечернее, „Обнимались, в шутку целовались...“, „Опавшие листья считая...“. <i>Стихи.</i>	365
Лариса Сидоровская. „Во мне таилось, мучилось, росло...“, „Я—как твое отражение...“. <i>Стихи.</i>	367
Сергей Зимин. Кто друг, кто враг. <i>Рассказ.</i>	369
Дмитрий Баханцев. О друзьях меньших. <i>Короткие рассказы.</i>	375
Юрий Ростовцев. И за каждой строкой — судьба. <i>О первых книгах молодых прозаиков.</i>	382

**МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД**
977

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977, 400 стр.
План выпуска 1977 г. № 42. Редактор Т. Д. Зубкова. Художник Л. А. Яценко. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор З. Г. Игнатьева. Корректор П. М. Вихман.

ИБ № 506. Сдано в набор 27/V 1977 г. Подписано к печати 7/IX 1977 г. М 11653. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печ. л. 25,0. Усл. печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 20,81. Тираж 30 000 экз. Заказ № 571. Цена 1 р. 60 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.